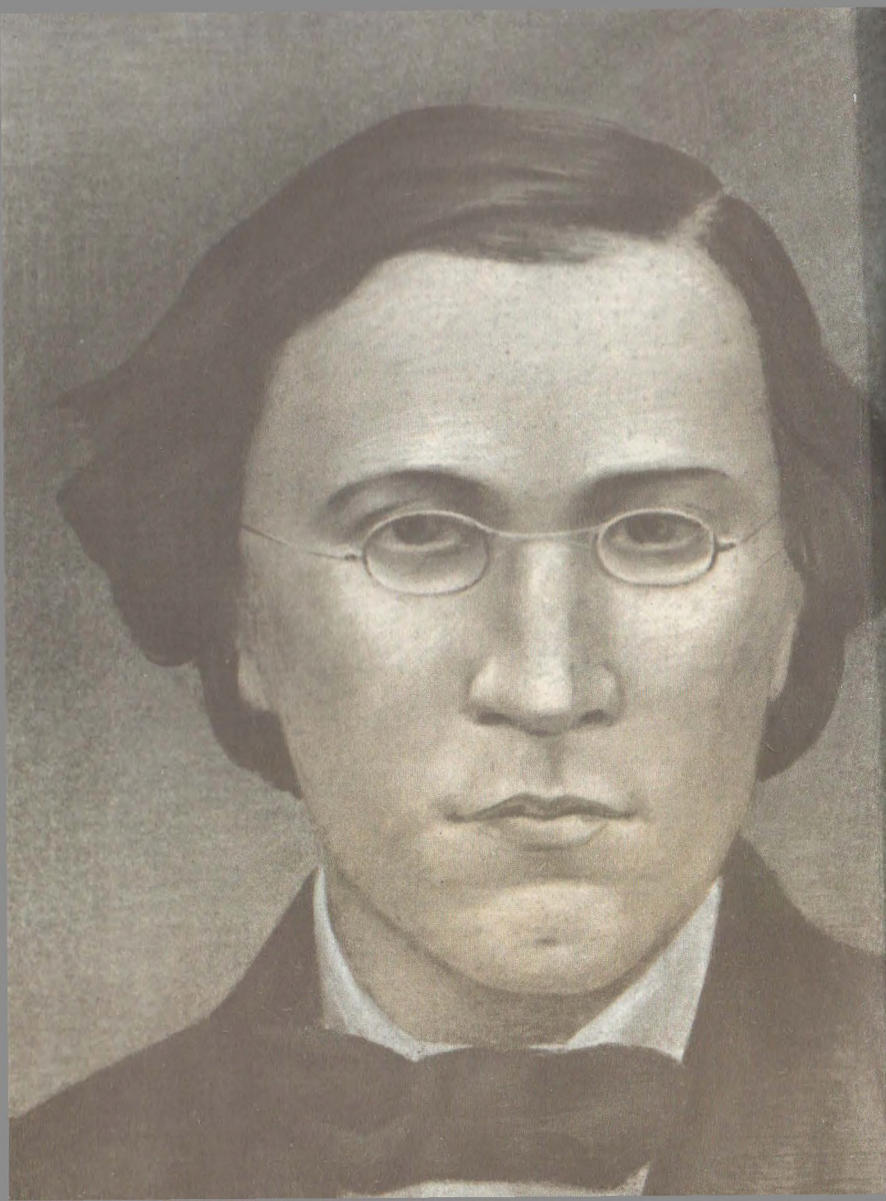
Властью разума

ВЛАДИМИР САВЧЕНКО



СЕРИЯ • ПЛАМЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

Владимир Савченко

ВЛАСТЬЮ РАЗУМА

ПОВЕСТЬ
О НИКОЛАЕ ЧЕРНЫШЕВСКОМ

Р2
С13

Владимир Савченко — прозаик, автор повестей, пьесы «Эксперимент», многих рассказов, кино- и телесценариев, очерков, критических статей.

Писателя особенно привлекает тема становления человека как социально активной и нравственной личности. Углубляясь в эту тему, он обратился к истории, начал работать в историческом жанре. Первой его книгой в этом жанре была повесть о народовольце Николае Клеточникове «Тайна клеенчатой тетради», изданная в серии «Пламенные революционеры».

Интерес В. Савченко к первоисточнику, к архивным изысканиям проявился в его работе над повестью «Властью разума», посвященной Н. Г. Чернышевскому, великому русскому революционеру-демократу, мыслителю, писателю. По-новому прочитаны многие страницы биографии этого необыкновенного человека. Действие повести охватывает два года, начиная со дня обнародования царского манифеста 19 февраля 1861 года. Особое место в книге занимает история создания прокламаций, в том числе воззвания «Барским крестьянам». Читатель узнает о том, как готовился царским правительством провокационный процесс над Чернышевским, как в стенах Петропавловской крепости был написан знаменитый роман «Что делать?»

С $\frac{0202000000-021}{079(02)-82}$ 234—82

© ПОЛИТИЗДАТ, 1982 г.

Глава первая

Голос батюшки порою звенел и срывался, в церкви на миг устанавливалась патетическая тишина и делались слышны тяжелое дыхание мужиков и хруст бумаги, которую батюшка держал перед собою в вытянутых руках.

— «...Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащия им земли,— читал батюшка, постепенно повышая голос,— предоставляют крестьянам, за установленныя повинности, в постоянное пользование усадебную их оседлость, и сверх того...»

Мужики, будто сговорившись, вдруг все разом повернулись к выходу и молча и тихо, стараясь не шаркать подошвами сапог, потекли вон из церкви.

Пристав Василий Ильич Стабровский, стоявший в передней части храма, на почетном месте рядом с вотчинным управляющим и старостой, не сразу понял, что произошло. Он зачарованно слушал батюшку, совсем еще молодого человека с редкой белесой бородкой и узким бескровным лицом, читавшего царский манифест с неподдельным волнением, и когда уловил за спиной движение крестьян, принял это движение за одобрительный гул. Василий Ильич уже раз пять или шесть в последние дни слышал чтение манифеста в разных церквах своего и соседних станов, раз пять или шесть сам лично читал манифест перед народом, можно сказать, выучил

текст царского указа наизусть, но здешний священник заставил его вновь слушать так, как будто он слушал впервые, ловить каждое слово, вникая в смысл документа с невольным замиранием сердца, с веселым ужасом, поражаясь смелости нового государя, поворотившего Россию на неведомую дорогу...

— «...И сверх того, для обеспечения быта их и исполнения обязанностей их пред правительством, определенное в положениях количество полевой земли...» — опустив бумагу, батюшка с диким выражением стал смотреть поверх головы пристава, в глубь церкви, на крестьянскую толпу. Спросил стесненным голосом, беспомощно: — Куда же вы?

Пристав обернулся назад, тотчас все понял и возмутился... Он так и думал, отправляясь в Заяшню, что здешние мужики выкинут что-нибудь в этом роде. Намеренно не спешил он в эту деревню, получив из Луги, из уезда, экземпляры царского манифеста и Положений о воле, которые должен был раздать по приходам и лично прочесть их при собрании народа или хотя бы проследить, правильно ли будут читать и объяснять священники. Сперва проехал по деревням, в которых никогда не замечалось никаких беспорядков, рассчитывая, что слухи об объявленной им здесь воле и о том благорасположении, с каким примут царский указ смирные жители этих селений, пойдут впереди него и приготовят к его приезду, настроят благодушно и жителей неспокойных селений вроде Заяшни или соседних с ней Острова, Колошиц, Вашкова. В Заяшне и подобных ей деревнях на протяжении нескольких лет, по крайней мере с тех пор, как из Петербурга впервые пришла весть о готовящейся крестьянской реформе, а молва разнесла эту весть повсюду, постоянно возникали недоразумения между крестьянами и их владельцами, иногда дело доходило до открытого неповиновения властям. как было два года назад, когда кресть-

ние этих деревень сговорились не выходить на работу на барские поля под тем предлогом, что скоро, мол, будет воля и они уже теперь вольны работать или не работать на барина, никакие уговоры и разъяснения на них не действовали. Василия Ильича, пытавшегося арестовать в одной из деревень главных смутьянов и зачинщиков возмущения, разъяренная толпа мужиков прогнала из деревни, а сопровождавших его сотских поколотила, пришлось вызывать из Луги солдат, пороть не только зачинщиков. Дух неповиновения, однако, продолжал жить в крестьянах этих селений и вот проявился теперь в Заяшне... Конечно, и жители тех селений, которые Василий Ильич уже проехал, не являли собою образца кротости и благоразумия, и с ними при объявлении манифеста приходилось быть настороже, всякое могло случиться, совсем не просто было безграмотному мужику разобраться в существе нового законоположения, но они по крайней мере с доверием выслушивали разъяснения, соглашались, что царский указ вызван заботою правительства об улучшении их быта, и, отправив господу богу благодарственное молебствие, умиротворенные, возвращались к своим обыденным делам. Эти же, уходившие из церкви с демонстративным равнодушием к манифесту, явно бросали Василию Ильичу и в его лице всей высшей власти дерзкий вызов, эти явно замышляли бунтовать...

— Куда же вы? — машинально повторил пристав бесполезный вопрос священника. Мужики продолжали молча, подталкивая друг друга, двигаться к выходу.

— Стой! Власов! Отвечай, что это значит?

Мужик, которого пристав назвал по имени, благообразный ликом, стройный, в черном овчинном полушубке, сильно поношенном, но аккуратно залатанном, и в черных высоких, как и большинство этих справных мужиков, кожаных сапогах, приостановился, спокойно посмотрел в лицо приставу, но отвечать не спешил.

— Что молчишь? Почему уходите? Батюшка еще не кончил читать. Ну, отвечай!

— А не хочем слушать.

— Царский указ не хотите слушать? Хор-ро-ши! Государь им волю дарует, а они слушать не хотят! Так-то вы отвечаете на заботы его величества.

— Это не царский указ,— возразил Власов сдержанно и оглянулся на мужиков. Несколько мужиков из тех, что были ближе к нему и приставу, тоже приостановились, прислушиваясь, ожидая, что ответит на эти слова пристав.

— Как — не царский? — изумился пристав.— Что ты мелешь? Какой же?

— Известно какой. Господский да поповский, а царский еще будет,— произнес Власов бойчее, чувствуя за спиной молчаливую поддержку односельчан.

— Да ты в своем уме, Власов? Ты что это говоришь? Я этот указ сам лично получил в Луге из рук полковника Квитницкого, адъютанта петербургского генерал-губернатора. Господина полковника прислали к нам в уезд с этим указом из Петербурга. Ты что, мне не веришь?

— Веришь, не веришь, а только это не тот указ.

— Да как не тот? Я, что ли, его подменил? Или полковник Квитницкий?

— Это мы не знаем, как и что, а только не тот указ. В нем воли нет. В людях пришла воля, а у нас нет. Вот в Новгородской губернии пришла воля, и они теперь вольны...

— Опять за прежнее, Власов? Забыл, где побывал?

— Я ничего не забыл,— ровно ответил Власов.

— Что с им разговаривать! — закричал, перебивая Власова, какой-то худой старик, на миг высунувшийся из толпы и снова спрятавшийся за спины товарищей.— Нечего разговаривать. Наш один сказ: не хочем! Нас привели еще на два года закабалить. А есть чистая воля!

Не подавай! А не дашь — не надо, прощай, Василий Ильич! Пошли, крестьяне.

— Пошли, пошли,— загалдели мужики и снова двинулись к выходу. Власов поспешил отойти от пристава, внимание которого было отвлечено стариком, и затесался в толпу.

— Стой! Куда? — вскипел пристав, обнаружив, что Власов исчез.

Между приставом и толпой мужиков быстро увеличивалось пустое пространство, бо́льшая часть толпы уже вылилась из церкви. Пристав с неожиданной резвостью подскочил к толпе и дернул к себе попавшегося под руку мужичонку в зеленом армяке:

— Ты куда? Стой на месте! Как тебя звать? Уйдешь из храма — будешь отвечать по всей строгости! Стойте! И вы стойте! — пытался он загородить руками путь другим мужикам, но они шарахались от него, пускались трусцой к выходной двери. Зеленый мужичок тоже пустился было бежать, но пристав ухватил его за рукав армяка.— Куда? Сказано тебе: ответишь по всей строгости! Говори сейчас, чего бежишь?

— Куда мир, туда и я, мне от мира прочь нельзя, Христос страдал, а нам отчего не пострадать, верно, посылается нам за грехи наши,— невнятной скороговоркой проговорил мужичонка, вытянул назад рукав своего армяка и устремился следом за всеми мужиками.

В церкви остались из мужиков лишь сотские два человека да староста. Пристав в гневе повернулся к старосте:

— Кто тот старик, что кричал? И этот, который убежал? Запомни их, потом накажешь обоих. А с тобою, видно, придется мне говорить особенно, Прокопич. Кто-то замутил у вас народ, а ты этого не знаешь. Или, хуже, знаешь, да молчишь. По роже вижу, что знаешь. Тогда почему не поставил меня в известность? Давеча, как со-

шлись, перед литургией, почему не доложил? Отвечай прямо, не виляй, дело серьезное, и если, не дай бог, что у вас будет, с тебя первого спущу шкуру. Ты это понимаешь?

Большой, громоздкий, гвардейской статью и вытянутым усатым лицом похожий на покойного императора Николая, пристав грозно наступал на старосту. Старосте хотелось бы отодвинуться от него, да некуда было, он стоял у столба, спиной к столбу, и невольно сжимался по мере приближения офицера, но страха не было на его круглом, как блин, безволосом скопческом лице.

— Как не понимать, понимаем, что ж. Народ, известно, какой. Шумели, известно. Да что ж? Пошумят, перестанут. Что докладывать? А был ли уговор не слушать царскую волю, так уговору не было, точно. Уговору такого не было.

— Не было, точно,— поддержали старосту сотские.

— Должно, в церкви столковались.

— Должно, уж в церкви,— закивали сотские.

— Откуда они взяли этот вздор, будто манифест не тот? — спросил пристав. Он был озадачен, встревожен.

— Да кто ж знает? — продолжал держать ответ староста.— Мало ли? Толковали, известно. Приходили тоже из Острова и Вашкова. Судили-рядили о воле, какую объявляют, мол, хороша ли воля. Мол, царь дал настоящую волю, а ее прячут, вместо нее читают не ту бумагу. Мало ли...

— Что ж ты, голова, об этом-то не доложил! — возмутился пристав, снова напускаясь на старосту.— Ты обязан был немедля донести, как прослышал про такие разговоры! Хорош начальник, нечего сказать! Гнать тебя надо с должности, вот что. Ты, по крайней мере, знаешь ли, кто это болтал? Кто приходил из других деревень и к кому? Держи их на заметке. Ну, голова!

— Виноваты,— ответил староста. Но вид у него был нисколько не виноватый, скорее снисходительный, он как бы с чувством превосходства смотрел на пристава, не разделяя его беспокойства по поводу мужицких разговоров. Напол, дескать, о чем переживать. Вот что мужики ушли из церкви, не дослушав манифеста, это был непорядок, да. Это было дерзостью, за которую следовало бы строго наказать некоторых. Но староста тут ни при чем. Никакого предварительного сговора у мужиков, конечно, не было, если бы сговор был, он, староста, знал бы об этом и уж конечно предупредил бы полицию. А разговоры — экая важность. Власть не знает мужика, потому и боится его, а он, староста, очень хорошо знает.

— А вы, господа, знали об этих разговорах мужиков? —обратился пристав к управляющему и священнику.

— Как сказать? — с подавленным видом ответил батюшка.— Ко мне приходили заяшнявские, спрашивали, какая будет объявлена воля. Я объяснял, что и как. Кто бы мог думать, что они этак повернут.

— Я только третьего дня приехал, был в другом имении, Витебской губернии,— с видимой неохотой ответил управляющий.— Вчера, однако, наряжал подводных, вызывал некоторых в контору, но они ничего такого не высказывали. Впрочем, что же удивительного в этих разговорах? Они же мечтают о такой воле, чтобы и землю всю получить, и податей никаких не платить.

Снаружи, с площади, доносились крики и гомон большой толпы, собравшейся перед церковью.

— Надо выйти к народу,— сказал пристав.— А вы, батюшка, не ходите,— остановил он собравшегося было идти за ним священника.— Чего доброго, решат, что власть вышла их уговаривать. С ними надобно строго разговаривать. Я, господа, сам помещик и либерал, мужика понимаю и ему сочувствую, всегда готов ему помочь в нужде, своих крестьян, скажу вам, я два года назад пере-

вел на оброк с такою чувствительною потерею для себя, что вынужден на склоне лет служить. Но что меня всегда в нем поражало, так вот эта его шаткость в мыслях. Самую дикую фантазию он готов принять за откровение, ежли возьмет в голову, что это к его пользе. В подобных случаях надобно его спасать от него самого. Тут только одно средство годится: строгость. Идемте.

Пристав, управляющий и староста с сотскими вышли на паперть, слегка припорошенную снежком, с проторенной от двери узкой стежкой. При их появлении гомон толпы, заполнившей довольно большое пространство между церковью и крестьянскими избами, несколько поутих, но не прекратился вовсе, толпа как бы не желала показывать начальству, что замечает его. Пристав медленно сошел с крыльца, пошел прямо на толпу, перед ним расступались, умолкая, он вошел в центр и, останавливаясь взглядом на особенно разгоряченных лицах, заговорил с укоризной:

— Ну что, мужики? И не стыдно вам? Поверили вздорному слуху. Да как это может быть, чтобы начальство и духовенство читало какую-то фальшивую бумагу? Когда же это бывало такое? У нас ничего не делается без позволения высшего начальства. Вот я вижу среди вас старых служивых. Спросите их, они порядки знают...

Но его перебили.

— Ты, Василий Ильич, нас не стыди! Нечаго! Лучше прямо скажи: вольны мы али нет? По царскому слову, а не по бумаге? — закричал высокий голос из-за спин.

Василий Ильич решил было, что это голос старика, кричавшего в церкви, но тут же и увидел старика — прямо перед собой — и рядом с ним увидел Власова, они оба были разгорячены, но не они теперь кричали. Неподалеку был и мужичок в зеленом армяке, озиравшийся с видом паблюдателя-молчуна.

— Кто это говорит? Выйди вперед,— потребовал Василий Ильич строго. И тут же понял, что сделал ошибку.

Сразу несколько голосов возмущенно закричали:

— Ишь, чего захотел! Выйди! Как же, выйди! Выйди, тебя и накажут...

— Не выдавай, крестьяне!

— Ты отвечай, а не требуй!

— Хорошо, я отвечу,— согласился пристав.— И по царскому слову, и по манифесту, который и есть царское слово, вы будете вольны, но не сразу, а через определенное время. Манифест и новые крестьянские Положения и определяют условия постепенного выхода на волю...

И опять его перебили возмущенные голоса:

— Манифест твой нам не надо, ты волю подай, она у тебя, врешь! Ты с барина подарки взял!

— Все неправда! Есть другой указ, который вы, начальство, скрываете от нас!

— Царя тут нету, а вы делаете, что хотите.

Пристав поднял руку, стараясь унять шум:

— Еще раз говорю: никакого другого указа нет ни у меня, ни у батюшки, ни у кого из начальства. Вас ввели в заблуждение, мужики. Есть только один высочайший манифест 19 февраля нынешнего восемьсот шестьдесят первого года. По манифесту...

— Нет, ты скажи,— перебил его прежний высокий голос, и все стихли, слушая.— Ты скажи, по скольку будет назначено нам податей на душу?

— В течение двух лет вы должны нести те же повинности, какие платили прежде...— начал было объяснять пристав, и вновь его оборвал невидимый голос.

— Ты говоришь неправду! Не может быть, чтобы царь, давая волю, не отменил всех повинностей! Мы теперь вольны, стало быть, как государственные крестьяне будем платить только царю!

— Окромя оброку никакие другие работы не согласны сполнять! — подхватили в толпе.

— Хотим одного оброку для всех, без барщины и других повинностей! Особливо подводной...

— В питерский обоз подвод не дадим!..

— За помещиком быть не хотим, хотим платить оброк царю!

— А земля-то? С землей-то как будет?..

Теперь кричали все, и те, кто был подальше, и те, кто стоял лицом к лицу с приставом,— и худой старик, и Власов, и мужичок в зеленом армяке, и какая-то молодая конопатая баба, просунувшаяся вперед.

— Ты, Василий Ильич, к нам не ходи зря! Мы теперь вольные и сами разберем, как и что. Мир — велик! — это прокричал худой старик.

Бесполезно было теперь продолжать разговор, надо было уходить, но уйти надо было с достоинством, оставив за собой последнее слово, и пристав выжидал, когда сможет сказать это последнее слово.

— Что еще за питерский обоз? — спросил он управляющего, стоявшего рядом с похвальной невозмутимостью, спросил намеренно громко, чтобы услышали мужики и смекнули, что власть не прочь вникнуть в их частные нужды.

— Назавтра назначены в обоз пятнадцать подвод, из усадьбы вывозим в Питер мебель и разную утварь. Молодой барин вздумал на месте усадьбы устроить лесопильный завод. Им же выгода, да не возьмут в толк,— показав на мужиков, ответил управляющий тоже громко, с тем же расчетом на мужицкие уши.

Когда шум поутих, пристав сказал внушительно, рискуя вновь вызвать гнев толпы:

— Советую, мужики, не упрямиться понапрасну. Вы должны ожидать с доверием постепенного устройства вашего быта. Будете противиться порядку, ничего хороше-

го из этого не выйдет. Вспомните позапрошлый год. Я говорю вам это, потому что добра вам желаю. Сейчас расходитесь по домам, а завтра в это же время соберитесь, и поредам новые Положения тому из вас, кого вы сами укажете, из грамотных, вы сами будете читать. Теперь расходитесь, с богом.

Пристав и управляющий пошли назад к церкви, староста и сотские присоединились к ним.

— Наша взяла! — обрадованно загалдели мужики, когда начальство удалилось.

— Будем стоять, крестьяне!

— Подвод не давать! Мы теперь вольные.

— Напишем к государю!

— Пошлем наших человеков от мира к государю и до их возвращения повиноваться не будем...

— Зотова пошлем! И Власова...

— Староста и сотские пусть оставят свои должности! — пробился через все голоса высокий голос крестьянина без шапки, с рыжими кудрями и сильно рыжей бородой. Это он не давал говорить приставу, сбивал его своими вопросами.— Выберем новых начальников!

— А земля-то, крестьяне? С землей-то как?

— Не выдавать друг друга! Дадим клятву пред святою иконою! — овладел общим вниманием худой старик.— Все до единого! Пойдем в церковь!

— Пойдем в церковь!.. В церковь!..

— В церковь, крестьяне! И в контору! Пусть нам покажут мирскую кассу...

— Одумайтесь, крестьяне...

— В церковь! Пошли в церковь!..

Но никто не двигался с места. Все смотрели друг на друга, ждали, что кто-то пойдет первым, и тогда за ним потянулись бы остальные. Но первый не объявлялся. Ни старик, предложивший идти в церковь, ни Власов, ни ры-

жий крестьянин, которого мужики называли Зотовым и к голосу которого особенно прислушивались, никто из них не решался взять на себя роль вожака, зачинщика действия, сомнительного по возможным последствиям. Возбуждение толпы стало ослабевать. Это почувствовал Власов и решительно заявил:

— Теперь никуда не пойдем. Подождем еще. Вот почитаем завтра бумагу, какую становой доставит. А повинности сполнять не будем! Подводные, которые назавтра наряжены, оставайтеся дома...

На том и порешили и стали расходиться.

Власов шел рядом с мужичком в зеленом армяке, им было по пути, мимо церковного сада, потом барского сада, в глубине которого стояла каменная усадьба, мимо барской мельницы на реке, к мосту через реку, их дома были у моста.

— А ловко ты, Михеев, срезал станового в церквито,— неожиданно сказал Власов, когда они уже подходили к мосту.— Я слышал. Ловко.

Михеев смутился от неожиданной похвалы и промолчал, сразу не нашелся, что ответить.

— Ты назначен в обоз, Михеев?

— Назначен.

— Что ж, не жалеешь, что мир отменил обоз?

— А что жалеть?

— Да что, тебе-то, верно, не в убыток было погостить в Питере? Поездить по Питеру? Небось намечал наездить рубликов десять? — спрашивал Власов с добродушной иронией.

Михеев ответил строго:

— Теперь до того ли?

— Верно, брат,— с удивлением посмотрел на него Власов и попрощался со всей сердечностью.— Будь здоров, Федор. До завтра, значит.

— До завтра.

Ночью в окно к Михеевым постучали, и чей-то неясный голос позвал:

— Михеев, выйди!

Серафима, жена, вскинулась первая, села на краю полатей, как бы загораживая дорогу, зашептала сердито:

— Не ходи! Это Ванька Зотов с Ванькой Власовым. Мало им всыпали в запрошлом годе, хочут опять в этап и других подбивают.

— Пусти! — сердито отстранил жену Михеев.— Это не они...

Это был староста, голос у него был осипший, оттого Серафима и не признала его. Он сказал без всяких церемоний, строго, когда Михеев вышел к нему на улицу:

— Все обозные едут, и ты сбирайся, ежели не желаешь попасть в список. Ты, Федор, нынче отличился в церкви-то, и тебя велено взять на заметку. Так что сбирайся и с богом.

— С питерским обозом?

— В Питер, а куда ж?

— А мир как жа? Мир постановил не ехать,— возразил Михеев, но не больно уверенно, чувствуя, что ссылка на мир теперь неуместна.

Староста рассердился:

— Мир постановил! Не знаю никакого постановления. Сходка была незаконная. А у тебя своя голова на плечах есть. Соображай, голова! Я свое сказал, а ты решай, как знаешь. Не поедешь — другого кого пошлю. Поедешь — выезжай до рассвету к мельнице, там скажу, чего грузить. А разговаривать мне с тобой некогда.

Староста повернулся и сгинул во мгле. Михеев вернулся в избу.

Перед рассветом он подъехал на телеге к мельнице, совсем неразличимой в тумане, сгустившемся к утру; у ворот его встретил староста, будто выплыл из тумана, ног старосты было совсем не видать, только круглая скопческая ряшка плыла вдоль крупа михеевой лошади; узнав Михеева, староста удовлетворенно кивнул ему, бросил в его телегу несколько рогож и велел ехать к усадьбе.

У барского дома стояли в очереди подводы, на первые, невидимые в тумане, слышно было, грузили мебель, там распоряжался управляющий. Михеев встал в хвост очереди, за подводой старика, того самого, что больше всех кричал вчера на сходке, а теперь, сутулясь, недвижно сидел, ожидая своей очереди грузиться; на Михеева он и не взглянул.

Глава вторая

1

«Милостивый государь Николай Гаврилович! Нам необходимо повидаться. Я должна Вам сообщить нечто о предмете, который Вас близко касается. В четверг 16 марта в 3 ч. пополудни я буду ожидать Вас на углу Невского и Садовой у Гостиного двора. А. Ф.»

Николай Гаврилович отложил письмо и взял в руки конверт, осмотрел его — письмо было послано по городской почте, на конверте был только его адрес, написанный тонким, округлым, натурально женским почерком. Он снова перечитал письмо. Потом скомкал и выкинул его в корзину: «Какая чепуха!» — и постарался забыть о нем.

Но забыть не удавалось. Просматривая остальную почту, торопясь, потому что сейчас должна была войти Ольга Сократовна и позвать его в зал, откуда уже порядочно давно доносились то бурные аккорды фортепьяно и веселые выкрики Михайлова (или Студенского, не разобрать), то взрывы хохота — верно, там развлекал гостей Михайлов,— Николай Гаврилович подумывал о письме.

Никакого сомнения не было в том, что неизвестная А. Ф. желала что-то ему сообщить об Ольге Сократовне. В последнее время ему уже выражали такого рода поже-

лания разные знакомые и незнакомые люди, его доброжелатели, конечно. Они заботились о его добром имени, более того, о его чести. Они негодовали на Ольгу Сократовну, которая, по их убеждению, вполне искреннему, своими оригинальными отношениями с некоторыми лицами (одни намекали на военного, другие — на грузинского князя-студента) давала повод для сплетен, и это тем более было недопустимо, что его, Николая Гавриловича, имя теперь,— не только его частное имя, но в некотором роде знамя, объединяющее все передовое, все мыслящее и молодое в России. Его известность растет от номера к номеру «Современника», и было бы неблагоразумием не заботиться о том, чтобы эту реальную силу не подкашивала какая-то чепуха...

Все это было бы смешно, когда бы не было во всем этом чего-то, что и в самом деле надо было обдумать. Самое грустное было то, что Николай Гаврилович сам с некоторых пор стал ощущать неудобство положения, в которое они с Ольгой Сократовной давно поставили себя в семье и в среде близких и друзей. Дело, разумеется, не в оригинальных отношениях Ольги Сократовны с какими-то лицами. Совсем не в этом дело. Однако было над чем подумать.

А эта А. Ф., должно быть, совсем юная особа, должно быть, раз-другой они виделись у кого-нибудь на чтениях, скорее всего у Шелгуновых, сказали друг другу десяток фраз, и вот пылкая начитанная девица считает себя вправе учить, как приличествует держать себя в миру уважаемому писателю, первому среди нынешних светских журналистов, как огласило его недавно «Православное обозрение». И потом — что за язык? Если под «предметом» разумеется человек, фраза звучит двусмысленно. И эта фамильярность...

Вошла Ольга Сократовна:

— Что же ты, Канашечка? Неудобно, пошли. Все

тебя ждут. Михайлов привел этого поэта-москвича, улана.. Да верно ли, что его фамилия Костомаров?

— Костомаров.

— Он не родственник ли нашему Николаю Ивановичу?

— Не знаю. Не думаю. Впрочем, надо будет у него спросить.

— Ничего, приятный мальчик. Скромный. Сидит себе в уголке. Так ты идешь?

— Да, сейчас приду.

Ольга Сократовна подошла к столу, поворошила конверты и газеты на подносе — эту почту она еще не видела, ее принял сам Николай Гаврилович от швейцара,— не нашла для себя ничего интересного (конверт А. Ф., который мог бы остановить ее внимание и вызвать расспросы, Николай Гаврилович выбросил вслед за письмом), оглядела костюм Николая Гавриловича, подтянула его галстук, слегка распустившийся, и вышла.

Да, Ольга Сократовна. Оленька... Коротко дело заключается в том, что, когда восемь лет тому назад, весной 1853 года, некто Николай Гаврилович Чернышевский, старший учитель словесности Саратовской гимназии, предлагал руку и сердце дочери врача дворянке Ольге Сократовне Васильевой, он не должен был этого делать...

Нет, не то, это неправда! Не с этого надо начинать. Надо быть справедливым: этому событию он многим обязан. Если бы не эта женитьба, если бы не встреча с Ольгой Сократовной, он не был бы тем, что он есть теперь. Ей он обязан многим, многим!

Он сватался к ней с совершенной уверенностью, что никакая девушка не пожелает выйти за него замуж. Кто же, в самом деле, станет любить человека, скучного совершенною неспособностью принимать участие в каких бы то ни было развлечениях? И что же было бы с ним, если бы она отказала? Его жизнь была бы тусклой и

бездейственной. Он не напечатал бы ни одной строки, только лежал бы и читал, не излагая на бумаге того, что считал честным и полезным. Такой и была его жизнь до встречи с Ольгой Сократовной... Нет, дело не в женитьбе! Или, скорее, не в самой женитьбе. Дело в другом. В чем?

Три года прошло после свадьбы, прежде чем Ольга Сократовна нашла лишним обижать его, наказывать презрительными насмешками, шпыняя за малейший промах в манерах ли, в исполнении семейных обязанностей или без всякого повода,— ей доставляло странное наслаждение мучить его. Да, странное наслаждение мучить. И мучила. Целых три года. Так... Но что из этого следует? Ровным счетом ничего не следует и из этого. Прошли эти три года, и насмешки сами собой прекратились. Правда, понадобилось еще два года, прежде чем она разобралась в том, как же она расположена к нему, дурно или хорошо,— это случилось во время родов, перед минутою рождения их третьего сына, Михаила. Роды были трудные, она думала, что умирает, и тогда, ночью, прощаясь с ним, плача, сказала, что из всех людей на земле нет у нее человека ближе и роднее, чем он,— не отец с матерью, не дети ее, а он, Николай Гаврилович, самый дорогой для нее человек. Потом уж больше не слышал он от нее подобных слов, не говоря уже о словах любви; «я понимаю, что ты хороший человек» — вот все, и больше ничего, никогда. Но уж потом и не смеялась над ним, не шпыняла, как в первые годы.

И почему ей было не шпынять его в первые годы? Могла ли она не смеяться над ним, терпеливым, нетребовательным, принимающим с покорностию любые ее причуды, безгранично преданным ей и бесконечно благодарным за один факт соединения с ним,— могла ли не смеяться, она, существо резвое, своенравное, насмешливое?

Она выходила за него не по любви. Зачем выходила? Ей хотелось вырваться из дому, где самодурствовала мать, барыня старинного покроя. Как жених он ее вполне устраивал, во всяком случае, устраивал не меньше, чем другие ее женихи, числом двадцать шесть, как считала она. Николай Гаврилович был двадцать седьмым. Ее привлекали, это она сама ему говорила, его мягкий характер, ум, которым он резко, даже слишком резко выделялся из массы окружавших ее людей, привлекала его мечта о Петербурге, куда он рвался из Саратова и где надеялся сделать научную или литературную карьеру, и она не сомневалась, что сделает; между образованными саратовцами, об этом она слышала от многих, не было ни одного, кто бы равнялся с ним познаниями, кроме, может быть, историка Николая Ивановича Костомарова, который жил тогда в Саратове в ссылке и был в дружбе с Николаем Гавриловичем. Привлекало и то, что́ он говорил о себе, его понятия о жизни, то, как он хотел устроить их брак. «Я в вашей власти,— говорил он ей,— делайте, что хотите. Быть решительно в вашем распоряжении никогда не перестану». И объяснял это не своим характером и не любовью к ней, вовсе нет, а своим пониманием положения женщины в обществе и в семье, ее зависимостью и неравенством. «Женщина должна быть равной мужчине,— говорил он.— Но когда палка была долго искривлена на одну сторону, чтобы выпрямить ее, должно много перегнуть на другую сторону. Каждый порядочный человек обязан, по моим понятиям, ставить свою жену выше себя — этот временный перевес необходим для будущего равенства».

Да и внешностью своею он ее отнюдь не отталкивал, напротив, она считала его пригожим, сама объясняла ему, чем он в ее глазах привлекателен: высокий, крепкий, с широкими плечами, с густыми и длинными каштановыми волосами. Лицом он не был красавец, было что-то

монгольское в его выступающих скулах и крепком подбородке, но, говорила она, к чему мужчине красивое лицо, было бы мужественным и умным. Манерами не блистал, не говорил по-французски, хотя и знал язык, неважно играл на фортепьяно, неважно танцевал. Но что манеры, им можно выучиться, и выучился же он танцевать всего за десять уроков, когда за несколько месяцев до знакомства с Ольгой Сократовной пустился в свет, решив выбрать себе невесту,— и ничего, пусть неважно, но танцевал. Он сам объяснил ей насчет своих манер: «Я с девяти лет уже решил, что не буду салонным молодым человеком. Не согласился учиться петь. Не согласился учиться играть на рояли, рисовать, танцевать. Не захотел учиться ни ездить верхом, ни даже править лошадьми. К чему мне это было? Я хотел быть ученым и не мог позволить себе тратить на эти пустяки время, надобное мне для приобретения знаний. Скажете, это односторонность? Да, я хотел быть односторонне развитым человеком. Гении — всегда люди односторонние, у них слишком — если хотите, ненормально — развита одна сторона натуры, только поэтому им удается сделать в науке или искусстве то, чего другие люди сделать физически не способны. Не хочу сказать, что я стремился быть гением, нет, но мне хотелось быть в науке открывателем нового...» Одно смущало Ольгу Сократовну в женихе: не дворянин; кто же будут ее дети? Но, с другой стороны, кто же теперь на дворянство смотрит? А кроме того, будет служить — выслужит и дворянство. Нет, был жених вполне пригоден!

Правда, странность его понятий и заявлений, непонятная ей, какая-то мальчишеская восторженность и экзальтация, с какими он рисовал фантастическое будущее, и это в человеке уже взрослом, намеревающемся вступить в брак могло бы насторожить и отпугнуть любую невесту, и отпугнуло же шестнадцатилетнюю Катеньку Кобылину,

дочь председателя казенной палаты, когда к ней было уже решился свататься Николай Гаврилович. Но Ольгу Сократовну это не могло отпугнуть. Она сама отличалась оригинальностью, буйной живостью и независимостью характера, о ее шалостях и развлечениях, рискованных для репутации барышни, много судачили саратовские кумушки. Притом она понимала, что странности и экзальтация, так украшающие молодость, со временем проходят, и ее будущая жизнь с будущим мужем-ученым рисовалась ей в спокойных тонах, текущей обычным порядком, как у людей. И уже выйдя за него, шпыняя его, она как бы мстила ему за его экзальтацию, понуждая скорее оставить юношеские фантазии, и негодовала, раздражалась, видя, что он не меняется. Потом она смирилась с этим.

Как было не смириться? Не все же она его шпыняла. Она любила поговорить. Каждый день раз по двадцати приходила к нему в кабинет, садилась и пересказывала все, что ей говорили, что она кому говорила, что делала, все, до мельчайших подробностей. Он всегда знал все, что она думает, говорит, делает,— все, все, и тотчас же, если, по ее мнению, стоило оторвать его от работы. Что делать, надобно же говорить, хочется. И так годами. Поневоле привыкнешь к человеку. И уже начинала брезжить мысль, но это уже после той кошмарной прощальной ночи, что все его странные посулы, все обещания, которые казались когда-то такими фантастическими, книжными, все это, может быть, и не экзальтация, и в самом деле так и дано жить некоторым людям, таким, как он и она,— да и сбывались же его посулы, сбывались! Главное, он действительно ставил ее выше себя. Во всем, что не относилось до его работы, он полностью полагался на ее решения. Какую выбрать квартиру? Ту, какая ей покажется более подходящей. Ехать ли летом на дачу или оставаться в городе? Это как она сочтет нужным.

«Ты, голубочка, умнее меня,— говорил он,— и потому решай, как знаешь».

И он действительно считал, что все, что она делает, она делает лучше, чем он, судит обо всем умнее, чем он. Она была главою дома, распоряжалась семейным бюджетом в полной мере, по собственному усмотрению, и не было за все эти годы случая, чтобы он хотя намеком выразил сомнение в ее расчетах, раскладках и предположениях или неудовольствие ими. Даже если она ошибалась, делала очевидный промах, такой, что и сама сокрушалась по этому поводу, она слышала от него в утешение неизменное: «Ты иначе не могла поступить, голубочка. Я на твоем месте не мог бы лучше распорядиться. Что бы ты ни сделала, мне всегда будет казаться наилучшим именно то, что ты сделаешь. Почему? Потому что ты лучше меня можешь судить, как и что надобно сделать. Ты у меня золотая умница».

Во всем, во всем она была вольна, во всем он был готов ей уступить, всем поступиться,— всем, кроме своих фантазий, понятно. Но если принять эти фантазии как неизбежность, если смириться с ними, махнуть рукой — мало ли какие у кого из нас могут быть фантазии, кому какой от них может быть вред? — если смириться с этим, как она и рассудила позднее (и это было очевидным и особенно важным в его глазах проявлением ее ума и здравомыслия), то все остальное, все, что мог дать брак сильной и полной жизни молодой женщине, все было в ее распоряжении! И даже то, что́ он говорил о праве сердца быть всегда свободным, даже это, она была уверена, исполнилось бы, если бы у нее тогда же явилось желание осуществить это право. Он говорил ей: «Я допускаю, что у моей жены могут быть увлечения, может даже возникнуть серьезная страсть к кому-то другому. Я готов и на это. Конечно, я буду сильно горевать о том, что она любит не меня. Но перенесу это, с болью, по пере-

несу, буду страдать, но любить и молчать. И если она захочет жить с другим, я скажу ей только: «Когда тебе, друг мой, покажется лучше воротиться ко мне, пожалуйста, возвращайся, не стесняясь нисколько». А любить ее буду по-прежнему...» Это она запомнила. И в конце концов осуществила это свое право — не тогда, когда шпыняла, присматриваясь, только привыкая к нему, а позже,— воспользовалась этим правом, вызвав беспокойство и волнения доброжелателей и письма, вроде письма неизвестной А. Ф...

Но это к делу не относится! Это не имеет ни малейшего отношения к тому, что вызывает теперь его озабоченность. Об *этом* нечего думать! Вот что относится к делу, так это его неумеренные, чересчур уж преувеличенные, неправдоподобные оценки ума, характера и нравственных качеств Ольги Сократовны. Вот о чем надобно думать. Все дело в этом!

Да, как ни странно, дело, в сущности, в этом.

Женитьба, конечно, ему многое дала. Женитьба заставила его решиться оставить Саратов, родителей, которых он никак не мог решиться оставить прежде, и уехать в Петербург. Женитьба изменила его нравственно. Задолго до женитьбы, думая о браке, он мечтал о том, что брак принесет успокоение его сердцу, его чувствам, которые слишком волновались последние годы, слишком путали мысли, не давали сосредоточиться на том, что должно было составить главное содержание его будущего,— на науке, литературе, политике. И эта мечта осуществилась: из мнительного, неуравновешенного юноши, терзаемого смутными влечениями и страстями, он превратился в человека, который твердо знал, чего он хочет, знал, что нет садов Эдема за пределами его личного опыта, мог управлять своей волей со спокойной уверенностью, сознанием того, что не галлюцинации неустоявшейся психики влекут его к его целям и высшим ценностям, но

опыт цельной и здоровой жизни. Исчезли детские робость и застенчивость, он стал решительнее, свободнее в обращении с людьми.

Но ведь он мечтал и о другом действии брака! Он мечтал развить себя как личность через соединение с другой личностью, расширив пределы своей личности до пределов этой другой личности,— об этом у него была целая теория. Для воплощения ее требовалось одно условие: эта другая личность должна была быть по меньшей мере равной ему по интересам и жажде знания. Такой не была невеста; ну что же — она могла и *должна* стать такой! Он станет ее учителем.

Заметив и оценив в невесте ее природный ум и такт, живость и инициативность ее характера, он уверился в том, что нужно только развить этот ум, этот такт серьезными учеными беседами и чтением, и тогда он будет принадлежать женщине, равной которой нет. Он полагал так: сначала он будет излагать ей свои понятия, будет преподавать ей энциклопедию цивилизации, и это будет курс гораздо более полный, чем теперешний в гимназиях,— этого достанет на три-четыре года. Кроме того, они будут вместе читать. Он сам для этого преподавания повторит многое, приобретет познания в том, чего теперь не знает. Так они будут учиться вместе. Может быть, она будет помогать ему и в работе, может быть, сама будет писать или переводить. И постепенно придет время, когда он скажет себе: вот, я теперь вдвое сильнее, мудрее, прозорливее, чем был некогда, чем был бы и теперь, останься снова в одиночестве, и это благодаря моему другу; мы — две части одного «я», она внесла в пределы этого нашего единого «я» качества, которых не было у меня, а теперь они у меня есть, я внес качества, которых не было у нее, и теперь они в такой же мере принадлежат ей, как и мне; я воспринимаю мир своими и вместе ее глазами, и она так же воспринимает мир, я думаю о том,

что́ мне нужно теперь и будет нужно в будущем, не прежде, чем подумаю о том, что́ нужно ей, и она так же думает, достигнутое одним из нас есть в то же время достижение другого, наше общее достижение,— так мы достраиваем друг друга, расширяем возможности индивидуального «я».

И что же? Мечты остались мечтами. Его уроки продолжались недолго: они вызывали у нее зевоту, у нее начинала болеть голова и она спешила умчаться подальше от этих уроков — к портнихе, к знакомым, в лавки Гостиного двора. Ее любимым развлечением было пройтись по торговым рядам, переворошить сверху донизу груды вещей, чтобы выбрать какую-нибудь безделушку, которую она и уносила с торжеством,— женщина оставалась женщиной. Он сам, жалея ее, часто отпускал ее, едва начав «урок», и утешал, когда она, бывало и так, сокрушалась, что ничего не понимает, что она дура: «Ты просто устала, это неудивительно, отдохни, успеешь освоить все правила и системы. Ты на голову выше всех мне известных образованных женщин способностью схватывать сущность вопросов, и не тебе горевать о своих умственных силах...» Она пыталась ему помогать в работе, пыталась писать под его диктовку, но и из этого ничего не вышло — ее терпения ненадолго хватало, она скоро уставала, начинала делать ошибки, раздражалась, и лучше было отпустить ее, чтобы не вызвать сцену. Лишь однажды она сделала порядочную работу — составила алфавитный указатель к «Современнику» за первое десятилетие журнала...

Все это было еще до рождения Миши, а потом в их жизни многое изменилось, мечту о развитии ее ума пришлось отложить. Тем не менее он говорил ей по-прежнему: «Ты умнее меня и лучше можешь судить о вещах...» Противоестественной была эта неправда и действовала теперь уже не во спасение. Теперь, потому что...

Хотя бы уже потому, что в доме подрастали дети, и не мог он с чистым сердцем убеждать себя в том, что все, что ни сделает для их воспитания Ольга Сократовна, будет в самом деле наилучшим. И потому, что в доме назревал конфликт между Ольгой Сократовной и его двоюродными сестрами и братьями Пыпиными — Еничкой, Полиной, Александром и Сергеем, которые жили вместе с Чернышевскими, и в этом конфликте он не мог, по совести, держать сторону Ольги Сократовны, это значило бы обманывать и себя и ее. И потому, что конфликты или недоразумения, нелепые и вздорные, однако не всегда невинные по последствиям, возникали между Ольгой Сократовной и некоторыми из дорогих Николаю Гавриловичу людей, его друзей, близких ему по интересам не только журнальным, и опять-таки не мог он держать сторону Ольги Сократовны, не фальшивя перед нею и собой. И потому, наконец, и это было самое тревожное, что наступали трудные времена, к которым надо было всем им приготовиться и к которым не была готова Ольга Сократовна. Странная тишина, наступившая в стране после обнародования царского манифеста 19 февраля, была зловещей, предгрозовой тишиной. Прошла неделя после обнародования манифеста, а все не было никаких определенных вестей о том, как же принимают манифест те, кого он более всего касался,— десять миллионов барских крестьян. Можно было, однако, предполагать, как примут крестьяне дарованную им волю, когда они поймут, что это за воля, и какие это вызовет последствия. Можно было предполагать, что это будет катастрофа, какой не знала и Европа. Грозные события не пощадят никого, и уж меньше всего тех, кто будет активно в них участвовать, значит, Чернышевского и его друзей. Ничего этого не знала, не понимала, ничего не замечала и не могла заметить Ольга Сократовна. Перегнутая палка начинала бить по ней самой. Ведь рано или поздно ей при-

дется дать самой себе отчет в том, что же такое происходит с нею, с детьми, со всеми окружающими людьми. Что она скажет себе? Вот это надо было поправить, пока не поздно. Пока не поздно...

Но вот беда, не поздно ли? Не слишком ли уже перегнулась палка, так что в попытке хотя бы несколько отогнуть ее назад не достигнешь ничего иного, как только сломаешь ее?

Однако надо идти в зал. Там гость, москвич Костомаров. Михайлов уверяет, будто у него или у каких-то студентов, его приятелей, налаженная типография в Москве. Какая там у них может быть типография? Впрочем, надо взглянуть, что за человек.

2

В зале, когда вошел Николай Гаврилович, еще витийствовал Михайлов, доказывал что-то горячо, оспаривал что-то, чьи-то мнения, должно быть прудоновы.

Гости были главным образом студенты, приятели Ленчки и Полины по университету, где сестры слушали лекции,— они скромно держались в дальней части комнаты, у окон, за кадкой с лимонным деревом, там были между окон небольшие диванчики и стулья. Там же держались Алексей Осипович Студенский, длинноватый, стеснявшийся своего роста и худобы нескладный бурсак, дальний родственник Чернышевских, год назад бежавший из саратовской семинарии в Петербург искать счастья и по внушению Николая Гавриловича поступивший в университет,— ему Николай Гаврилович последние месяцы диктовал свои статьи, он оказался прекрасным писцом — и молодой Обручев, Владимир Александрович, большой приятель Полины Пыпиной и, может быть, ее будущий жених. Обручев был нужен Николаю Гавриловичу, и Николай Гаврилович, войдя в зал и молча поклонившись

всем, первым делом направился в его сторону. Сестра Обручева, Мария Александровна, сидела за столом возле Ольги Сократовны, разливавшей чай; верно, она приехала с братом, а может быть, пришла с Пыпиными, прямо из университета, где вместе с ними слушала лекции; среди гостей не было видно ее жениха, Петра Ивановича Бокова, старинного приятеля и домашнего врача Чернышевских, обычно приезжавшего вместе с ней.

Проходя за столом с той стороны, где сидела Мария Александровна, близко от нее, Николай Гаврилович с особенной нежностью, с улыбкой покивал ей, и когда она, тоже с улыбкой, протянула ему руку, пожал ее крепко. Ему всегда приятно было видеть эту собранную, всегда на чем-то внутренне сосредоточенную девицу.

Отдельно кивнул Николай Гаврилович и незнакомому молодому человеку, сидевшему одиноко на большом диване у правой стены, с той же стороны, где проходил Николай Гаврилович. У молодого человека был странный вид, он сидел выпрямившись, по-военному выкатив грудь, но при этом как будто горбился, втягивая голову в плечи, подняв одно плечо выше другого, и смотрел не прямо, а как бы сбоку, смотрел с выражением то ли мрачности, то ли убитости; лоб у него был высокий и как бы убегающий назад, сужающийся кверху, ровный и гладкий, кафельной плиткой, голова острижена под гребенку,— верно, это и был москвич Костомаров, поэт, уланский офицер. Был он, однако, в статском платье, в открытом сюртуке с демократическим, по новой моде, узким воротником и маленькими отворотами и светлой щегольской жилетке в клетку.

Пока Николай Гаврилович шел к Обручеву, Михайлов со стаканом чая в руке метался по середине зала, то ту сторону стола, и говорил в самом деле о Прудоне, о котором недавно писал в «Современнике», в статьях по «женскому вопросу»:

— Главное, на чем эти господа основывают вывод о невозможности равенства прав женщины и мужчины,— это мнение о физическом несовершенстве женщины,— говорил он, попрыгивая, внезапно останавливаясь и так же внезапно срываясь с места.— Мишле, из которого исходит Прудон, дает такое определение женщины: существо по преимуществу больное. Он подсчитал, что женщина и семи дней в месяц не бывает здорова. А если учесть страдания, связанные с беременностью и родами, цифра и того меньше. У Прудона цифры другие, но дело не в этом. Что мы в действительности знаем о физиологии женщины, о влиянии физиологии на нравственные и умственные силы женщины? И противники, и сторонники эмансипации в своих спорах опираются на одни и те же более чем скромные научные данные. Вот на что надобно обратить внимание всем нам и вам, барышни, в особенности. Лекции в университете, конечно, дело хорошее, но надобно думать о специальном образовании. По моему убеждению, женщины могут взять на себя половину существующих родов человеческой деятельности, и главное — медицину.

— Да мы бы рады, только где же те учебные заведения, куда принимают женщин? — возразила Мария Александровна.— Хорошо еще, в университете позволяют слушать лекции. Да надолго ли? И допустят ли нас к экзаменам из всего курса?

— Надобно добиваться! Важнее дела нет в настоящее время. Да, я на этом настаиваю решительно,— заметив улыбки сошедшихся уже вместе Николая Гавриловича и Обручева, возвысил голос Михайлов.— Дело женского образования должно стоять на первом месте между всеми общественными вопросами. Не забывайте, господа, роли женщины как воспитательницы будущих граждан. Она — первый воспитатель наш. И если мы хотим, чтобы она вносила в воспитание детей современные нравствен-

ные понятия, должно дать ей возможность развиваться в уровень с требованиями времени. А вы не согласны, Николай Гаврилович?

Николай Гаврилович ответил:

— Нет, отчего же? Женский вопрос, конечно, самый первый вопрос в настоящее время. Крестьянский решен, что еще решать?

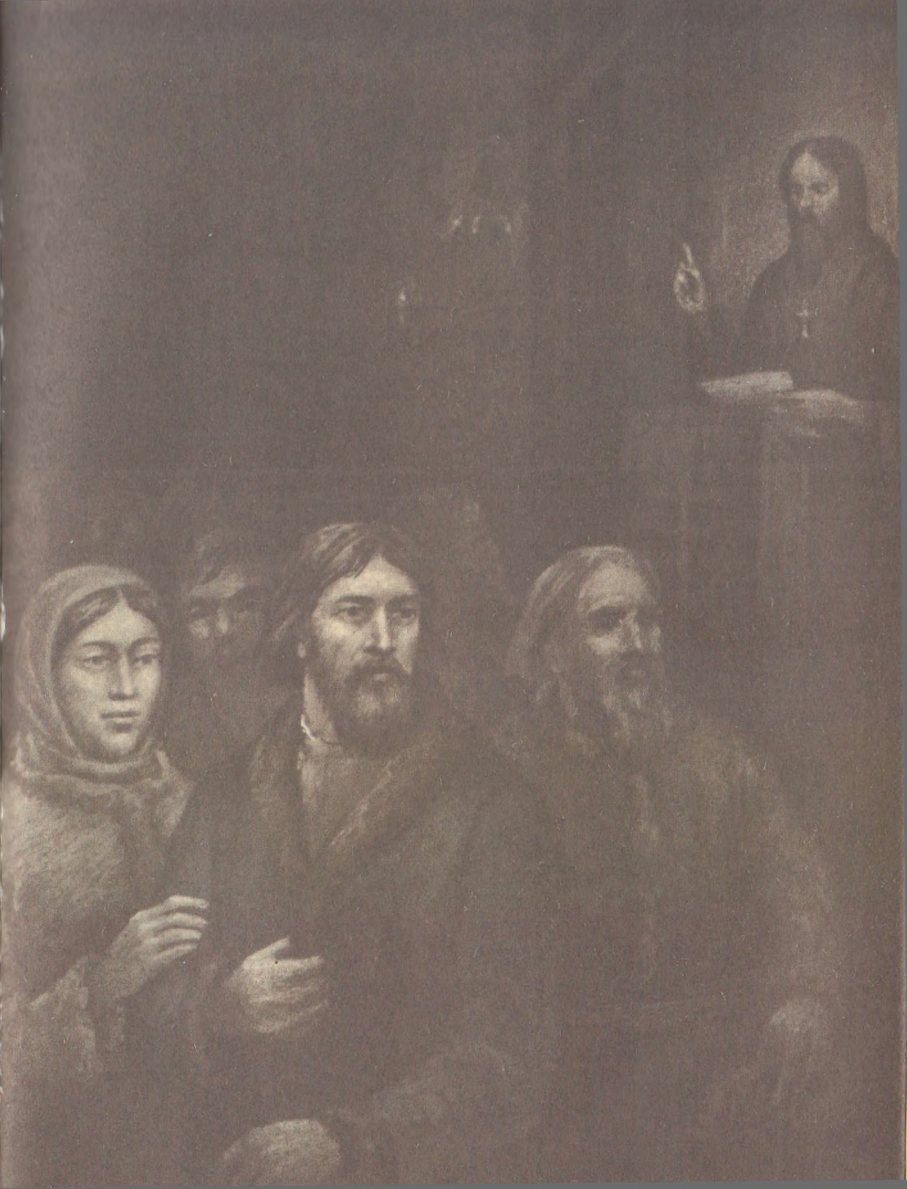
Все засмеялись.

— Ладно, ладно,— добродушно возразил ему Михайлов.— Смейтесь, а ведь и вы придете к тому же.

Пока говорил Михайлов, приехал Боков, жених Марии Александровны, должно быть возвращавшийся с объезда пациентов, обошел стол, поцеловал ручку Ольги Сократовны, подсел на секунду к невесте, пошептал ей что-то и пошел к Николаю Гавриловичу и Обручеву.

Странную пару представляли собою Петр Иванович и Мария Александровна, являя собою полную противоположность во всем — и во внешности, и в свойствах характера. Он, статный красавец с правильными чертами удлиненного лица, был нетороплив, мягок, спокоен, даже флегматичен (однако же сумел, несмотря на эти небойцовские качества, проторить себе дорогу в жизни, сам себя содержал все годы учения, теперь у него была немалая практика в Петербурге). Она, генеральская дочка, коротышка с ничем не примечательным лицом (рядом с яркой Ольгой Сократовной совсем пропадала), поражала, напротив, какой-то беспокойной жаждой действия, чисто мужской силой целеустремленности, сосредоточенностью на своих целях, деловитостью. В этом она была прямой противоположностью и брата своего, Владимира...

Да, впрочем, женихом и невестой были Петр Иванович и Мария Александровна лишь по названию, вовсе не о браке думали они, вступая в брачный союз. Боков, бывший домашним врачом в семействе Обручевых, знал о давнем стремлении барышни сделаться самостоятель-



ной, учиться. Мария Александровна в числе первых петербургских барышень стала посещать университет, несмотря на сопротивление родных, опасавшихся за ее репутацию, упорство ее могло плохо для нее кончиться, и Боков предложил ей выйти за него фиктивным браком, тогда бы она смогла спокойно учиться здесь или даже уехать за границу. Она согласилась, и они обручились.

Боков спросил у Николая Гавриловича:

— Что «Современник»? Третью книжку когда дадите? В этом месяце выйдет?

— Отчего же нет? Цензор половину статей подписал, скоро выпустим книжку.

— По поводу манифеста что-нибудь будет?

— Как же! Разве мы хуже других? Напечатаем сам манифест. Или, может быть, извлечения из новых Положений.

— И все?

— А что еще?

— И никаких статей не будет?

— Почему не будет? Вот статья Владимира Александровича будет,— кивнул Николай Гаврилович на Обручева.— Называется (он помедлил) «Невольничество в Северной Америке».

Боков и все бывшие в этой части зала рассмеялись.

— Вздуют вас за это,— покачал головой Боков.— Все журналы готовят гимны реформе и государю. Я уже читал стихи, где Александра Николаевича называют святым Александром Освободителем.

— О чем вы смеетесь? — живо спросила Ольга Сократовна. Она и Мария Александровна были заняты разговором с Михайловым и не слыхали, о чем говорили Боков и Николай Гаврилович.

Студенский пошел к ним и, смеясь, стал пересказывать вопросы Бокова и ответы Николая Гавриловича.

— Кстати, Владимир Александрович,— обратился Ни-

колай Гаврилович к Обручеву,— когда будете уходить, предупредите. Заберете свою статью, ее Бекетов не сильно почеркал, а все же просмотрите. Завтра к одиннадцати занесете в редакцию мне или Некрасову, кого захватите.

Обручев кивнул:

— Хорошо.

В кружке Ольги Сократовны посмеялись проделке «Современника», и Ольга Сократовна, воспользовавшись поворотом разговора, решила втянуть в разговор московского гостя, повернулась к нему:

— Всеволод Дмитриевич, а как в Москве встретили объявление манифеста? Говорят, там были какие-то листки?

«Умница, голубочка»,— мысленно похвалил Николай Гаврилович жену за ее внимание к гостю и двинулся к столу, поближе к ним.

— В Москве, как и здесь, в Петербурге, как и всюду в империи, было тихо,— ответил москвич меланхолически.— Листков не было, но утром в день объявления кое-где на домах были расклеены написанные от руки записки такого содержания: «Время действовать. Выходите на театральную площадь».— Это он произнес уже насмешливым тоном и помолчал для большего эффекта.— О манифесте в записках не упоминалось. И всего их было две или три. Разумеется, ни на театральной площади и нигде никакого стечения народу не было. Вообще, кажется, в этот день, хотя и непонятно почему, людей на улицах было меньше, чем обыкновенно по воскресеньям. Но начальство перепугалось, потому что точно такие записки расклеивались за две недели до этого. Начальство решило, что тут не просто чья-то шалость,— улыбнулся москвич.— Впрочем, и без этого еще с ночи войска в гарнизоне были приведены в боевую готовность, оставались в казармах, но были под ружьем. Все офицеры находились при своих командах.

— Кто же расклеивал эти записки?

— Кто знает? Верно, какие-нибудь мальчишки,— ответил москвич с неопределенной интонацией, одновременно и насмешливой и будто загадочной, так что можно было подумать, что он-то как раз кое-что знает об этих записках и об этих «мальчишках».— Но как принимают манифест крестьяне, я немного могу судить, в моем вагоне ехали мужики, ходоки из-под Тулы, и мы проговорили всю ночь. Коротко сказать: они манифестом не интересовались. Да, не интересовались,— повторил он, потому что слушавшие его со вниманием Чернышевский и Михайлов переглянулись и засмеялись, очевидно довольные его выводом о крестьянах, но он сделал вид, будто принял их смех за выражение недоверия к его словам.— Манифест они поняли так, что это не та воля, которой они ждали. Я им пытался втолковать, что воля — та, другой не будет, но они плохо слушали. «Нет, барин, не та воля». Не та, и все тут! Я уж и сам засомневался, и та ли она в самом-то деле? Стал читать Положения, все утро сегодня читал, читаю и ничего не могу понять, еще и язык этот суконный: то ли отменяется барщина, то ли, наоборот, закрепляется. Объясните хоть вы мне, господа, как это понимать? — с милой улыбкой закончил москвич.

— Да уж это понять мудрено,— тоже с улыбкой согласился Чернышевский.— Это понять никто не в силах.

Рассказ Костомарова вызвал общее оживление; пока он говорил, все переместились в эту часть зала, обступили диван, так что ему пришлось встать, заканчивал он свой рассказ уже стоя. При этом обнаружилось, что он порядочного роста.

— Всеволод Дмитриевич, я забыл вас представить Николаю Гавриловичу, прошу великодушно меня извинить,— заговорил Михайлов.— Вот, Николай Гаврилович, рекомендую господина Костомарова.

Николай Гаврилович и Костомаров раскланялись, с удовольствием и интересом всматриваясь друг в друга.

— Михаил Ларионович, а что за стихи вы перевели из Бернса для Всеволода Дмитриевича? — вдруг спросила Ольга Сократовна.

— А откуда вы это знаете? — живо повернулся к ней Михайлов.

— Да мы уж успели с Всеволодом Дмитриевичем поговорить об его новом сборнике,— смеясь, объяснила она.— А вы и не заметили? Он похвастал, что вы дали ему много новых стихов. Что это за стихи?

— Да я ему дал не только из Бернса. Из Гейне и Андерсена тоже.

— Прочтите что-нибудь, Михаил Ларионович.

— Да, пожалуйста! — обрадованно поддержали Ольгу Сократовну девицы.— Прочтите из Бернса!

«Жаль, голубочка. Поторопилась. Не надо бы так скоро менять тему разговора,— мысленно посетовал Николай Гаврилович на жену.— Этот москвич еще далеко не все сказал, разговор только начинался. Когда еще будет случай?.. А, впрочем, вздор».

— Хорошо,— согласился Михайлов.— Но лучше я прочту не из Бернса, а из Гейне. Не возражаете?

— Милости просим!

— Это не совсем новое, но поправлено, в этом варианте я еще не читал. «Брось свои иносказанья и гипотезы святые, на проклятые вопросы дай ответы нам прямые...» — начал читать Михайлов.

Но дочитать стихотворение ему не удалось. В прихожей загремели сабли и шпоры, и в зал вошли, громко переговариваясь и смеясь, два офицера в кавалерийских мундирах — Савицкий и Жераковский. Савицкий, статный блондин, галантно задержался у стола, целуя ручки дамам, его товарищ, рыжий крепыш с пылающими голу-

быми глазами, прямо направился к Чернышевскому и Михайлову:

— Господа, мы на минуту! Чаю не пьем, водку не предлагайте — некогда! Михайла Ларионыч, мы за вами, голубчик. Прощайтесь с хозяевами — поехали!

— Куда?

— Дорогой объясним. Вы надобны,— увлекая Михайлова и Чернышевского в дальний угол зала, понизив голос: — Если в двух словах, господа, дело в том, что в деревню, кажется, начинается. Я сегодня занимался у Кауфмана в военном министерстве, там уже определенно известно о настроении крестьян в Поволжье и некоторых центральных губерниях, где успели объявить манифест и откуда поступили донесения. Везде отношение к манифесту и Положениям одинаково: крестьяне недовольны объявленной волей!

Жераковский сделал паузу, с победным выражением глядя на друзей, ожидая, что они скажут на это. Михайлов молчал, что-то обдумывая, явно не спешил разделить возбуждение и энтузиазм Жераковского. Чернышевский, поморщившись, сказал:

— Крестьяне недовольны — этого следовало ожидать. Это нисколько не удивительно. Но делать из этого какие-либо выводы...

Жераковский с ликующим видом перебил его:

— Можно, господа, можно делать выводы! Я не все сказал. Пока мы здесь с вами рассуждаем, всего в сорока верстах отсюда по Выборгскому тракту бунтуют крестьяне сразу в нескольких имениях. Да, господа, я не оговорился: бунтуют. Две тысячи крепостных генерал-майора Ольхина после того, как им объявили манифест, отказались ходить на барщину. Исправника, который пытался с ними говорить, они прогнали и чуть не побили. Он прискакал в Петербург в жалком виде, требует выслать солдат. Туда посылают роту финляндцев.

— Вот именно. Быстро приведут в чувство шалунов.

— Приведут? Как сказать! Положим, этих — приведут. Потому что они первые, и под боком. А вся Россия? Примите в соображение, господа, одинаковый характер недовольства крестьян, одинаковый *повсеместно!* На все имения не хватит гвардейских рот.

Снова он остановился, чтобы дать высказаться друзьям. Чернышевский, однако, уклонился от ответа, сказал только:

— Посмотрим...

Он избегал встретиться взглядом с Жераковским, не хотел сбивать его пыл, его энтузиазм.

Слушая Жераковского, Николай Гаврилович поглядывал на другого офицера. Хорош собою был Иван Федорович Савицкий. Голубоглазый, как и Жераковский, был он высок и как-то особенно строен, лицо красивое и мужественное, и голос низкий и трубный, тоже мужественный,— полный набор мужских достоинств, которыми не могут не пленяться женщины, уж во всяком случае брюнетки, как Ольга Сократовна. С Ольгой Сократовной они были чудной парой: взяв ее под руку, он водил ее по середине зала, где было больше свету, под самой люстрой, и рассказывал негромко что-то смешное, оба смеялись,— чудны были их веселые белозубые лица, грация, с какой они разворачивались на небольшом пространстве между столом и стеной, где стоял рояль, когда меняли направление движения, будто исполняли какой-то медленный величавый танец; чудной была легкость, с какой они понимали друг друга, понимали с полуслова, с полунамека, по одному движению губ или блеску глаз, это было заметно в них, не нужно было слушать, о чем они говорили, чтобы уловить эту завидную легкость. Ему, Николаю Гавриловичу, такую бы легкость взаимопонимания с нею, не о чем было бы тужить... Впрочем, вздор. Все вздор...

Михайлов спросил Жераковского:

— Не к Ольхину ли вы меня хотите везти?

— Нет, мы едем к Милютину. В военном министерстве говорят, что он-таки будет военным министром. Вот пока не стал министром, надо от него получить подпись под одним документом, а вы на него имеете влияние.

— Что за документ?

— Прошение. Военным судом в Литве приговорен к пятидесяти палкам солдат-поляк. Образованный человек, хотя из простого звания. Ударил негодяя офицера. Надо помочь молодому человеку. По дороге объясним, что вы должны будете делать и что говорить. Едем!

— Что ваш проект, Владислав Игнатьевич? — остановил его Николай Гаврилович, спросив о составленном им проекте военно-дисциплинарных правил, которые должны были положить конец палочной дисциплине в армии, проект этот он давно двигал по инстанциям.

— Движется! Переделал! Кауфман не возражает! Сегодня я его все утро уламывал. Уломал! — отвечал Жераковский кратко, уже опять торопясь, разгоняясь далее лететь:— Дело идет! Скоро дам вам читать переделанный вариант. Однако нам пора. Едем!

Офицеры с Михайловым умчались, и Николай Гаврилович вернулся к Костомарову, по-прежнему сидевшему в одиночестве. Пока Жераковский шептался с Чернышевским и Михайловым, а Савицкий занимал Ольгу Сократовну, молодежь вместе с Боковым отхлынула от дивана к роялю и пела тихонько куплеты Потье. Ольга Сократовна, проводив гостей до передней, войдя в зал, тотчас направилась к поющим, ей уступили место за роялем, она ударила по клавишам с силой, и вся компания ожила, петь стали в полный голос, с громким смехом, азартом выкрикивая особенно звучные и хлесткие слова. То, что они пели, и нельзя было петь иначе, это была озорная

песенка о Жаке и его возлюбленной, Марианне. Жак (народ), оказавшись в одиночестве, томится по своей возлюбленной, ждет ее не дождется, уже даже начинает злиться, а Марианны (республика) все нет и нет. Особенно весело и шумно выходил у них смешной припев:

Je l'attends, je l'attends, je l'attends...
L'attendrai-je encore longtemps? *

Подойдя к Костомарову, Николай Гаврилович сел рядом с ним, заговорил с располагающим добродушием:

— Михайлов покинул нас с вами, но это ничего, нам есть о чем поговорить и без него. Я должен вернуть вам книги, которые вы передавали мне через него, и корректуру вашего нового сборника. Михайлов вам, наверное, сказал, что с нею все в порядке?

— Да, он сказал, что Бекетов уже подписал корректуру. Я вам очень благодарен, Николай Гаврилович, за хлопоты...— горячо заговорил Костомаров, но, заметив нетерпеливое, досадливое движение Чернышевского, сдержал тон.— Я, признаться, не очень-то обнадеживался, когда просил Михаила Ларионовича похлопотать, с вашей помощью, перед петербургской цензурой. В Москве мне решительно отказали. Сказали, что из Гейне больше ничего не позволят мне печатать. Почему? А бог их знает. Чем-то их напугал первый сборник. Хотя там была из Гейне одна лирика. В Петербурге, значит, терпимее относятся к Гейне?

Николай Гаврилович вместо ответа заметил:

— У нас хорошие отношения с некоторыми цензорами,— он встал.— Пойдемте ко мне, там поговорим.

Он позвал с собою Обручева, и втроем они пошли из зала.

---

* Жду ее, жду ее, жду ее...
Долго ли мне еще ждать? (*фр.*)

3

Дверь из зала выходила в створ двух коридоров, один вел в переднюю, в этом коридоре были комнаты Пыпиных и кухня, другой коридор — половина Чернышевских — вел на черную лестницу, там в конце, у самого выхода на лестницу, и помещался кабинет Николая Гавриловича. Туда он и повел своих гостей.

Пока Николай Гаврилович занимался с Обручевым, передав ему его статью с пометами цензора, объяснял, что нужно сделать со статьей, и провожал его, Костомаров осматривался в кабинете. Довольно просторная комната в два окна, выходивших на 2-ю линию, казалась тесноватой из-за обилия книг. Книги были всюду: две стены слева от входа были заняты книжными шкафами, книги лежали на шкафах, на простом квадратном столе, на изящном письменном столике красного дерева и на громоздкой конторке, за которой, должно быть, и работал Чернышевский.

В комнате был полумрак, хотя горели две толстые свечи в высоких подсвечниках, но на подсвечниках были устроены особые щитки для глаз — перевернутые жестяные корытца без днищ с расширяющимися книзу стенками, они направляли свет вниз, на бумагу, на книгу.

— Не нравится вам мой апартамент? — спросил Чернышевский, жестом приглашая садиться в кресло и садясь в другое.

— Нет, напротив. Но я почему-то представлял себе ваш кабинет громадным, как у Некрасова, или даже больше. Я был у Некрасова в свой прежний приезд,— догадался пояснить Костомаров, заметив недоуменный вопрос, проскочивший вдруг в изучающих глазах Чернышевского.— Но какая у вас библиотека!

— Да, постепенно собралась, и сам не заметил как,—

сказал задумчиво Чернышевский.— Так вы часто бываете в Петербурге?

— Последнее время — часто. И по литературным делам, у меня здесь кроме «Современника» еще есть дела с Краевским и Гербелем, и вот теперь по делам, о которых вам известно от Михаила Ларионовича,— сказал Костомаров с намекающей улыбкой, осторожно, еще не зная, как надо говорить об *этом* с Чернышевским.

Чернышевский никак не реагировал на улыбку, продолжал смотреть на Костомарова внимательно и задумчиво, будто не слышал, что он сказал, и тот понял, что об *этом* не следует говорить теперь. Наверное, Николай Гаврилович сам заговорит, когда сочтет нужным.

— У вас в Москве свой дом, кажется?

— Да одно название, что дом,— засмеялся Костомаров.— Деревянная развалюха. Владение матушки. Правда, сад отменный. Матушка купила дом, собственно, из-за сада, хотела построить новый дом, да деньги разошлись, и остались мы, как поется в песенке, при своем интересе.

— Семья ваша большая?

— Теперь мы живем впятером — мы с матушкой, две сестры и меньший брат. Еще один брат в военной службе.

— А отец?

— Отец живет отдельно, служит здесь, в Петербурге. Нет, мы не в ссоре, напротив, у нас самые теплые отношения. Особенно с тех пор, как стали жить врозь,— с усмешкой уточнил Костомаров.— Просто он в Москве не нашел для себя подходящего места, когда пришлось искать,— подумав секунду, стоит ли дальше объяснять, продолжал с веселой словоохотливостью: — Когда-то у нас были имения в Ярославской и Калужской губерниях, не бог весть какие, душ двести — триста. Все это было заложено-перезаложено и в один прекрасный день пошло с молотка. После всех расчетов у матушки на руках оказалось денег ровно столько, чтобы купить дом в Москве.

А папашу пристроили в Петербурге друзья. Вот и вся наша история, банальная, как куриное яйцо.

Он рассказывал с подкупающим простосердечием, нисколько не рисуясь, держался непринужденно,— это нравилось Николаю Гавриловичу. Вообще в нем, несмотря на его мрачный вид, было немало такого, что располагало к нему сразу, вызывало доверие, желание ободрить его, поддержать.

— Вы воспитывались в корпусе?

— Да, потом в Михайловском артиллерийском училище. А служил в кавалерии, в кирасирах и уланах, три года. В прошлом году вышел в отставку.

— Ах, вот почему вы в статском платье. Значит, вы человек свободный. Что же, вы живете литературным трудом? Или есть иной источник средств?

— Только то, что дают публикации в журналах да вот теперь сборники переводов.

— И что же, вам хватает?

— Где там! И одному на это не прожить, а на моих руках матушка и сестры.

— Как же вы так опрометчиво оставили службу? Надо было сперва позаботиться о содержании родных, а потом уже пускаться в литературные предприятия. Литературный труд — неблагодарный труд.

— Так получилось. Я уж и пытался достать место с жалованьем, здесь, в Петербурге, был одно время репетитором в Первом кадетском корпусе, но заболел, а место за мною не оставили.

— У меня в одном из московских корпусов есть добрый знакомый, Котляревский Александр Александрович, кстати историк литературы. Вы его не знаете?

— Нет.

— Если хотите, я познакомлю вас, он может вам кое в чем помочь. Например, вы могли бы при его содействии похлопотать об уроках в корпусе.

— Вы очень добры, Николай Гаврилович, сердечно вам признателен. Правда, об уроках я теперь не думал, но подумаю.

— Когда надумаете, дайте мне знать, я напишу ему.

— Хорошо.

— Да, все хотел вас спросить: вы не родственник ли историку Николаю Ивановичу Костомарову?

— Нет, мы однофамильцы.

Николай Гаврилович перегнулся через спинку кресла и взял с письменного стола две тоненькие книжки и пакет и передал их Костомарову.

— Ваши книги и корректура. Я прочитал и то и другое,— сказал он сдержанно. И больше ничего не сказал.

Костомаров развернул корректуру, увидел подпись Бекетова и счел нужным еще раз поблагодарить Николая Гавриловича, пробормотал, чувствуя отчего-то неловкость:

— Спасибо.

Зачем-то полистал книги, это были изданная им еще в прошлом году биография Беранже и тогда же изданный вместе с Федором Бергом сборник переводов из французских, немецких, итальянских и датских поэтов, которых они вдвоем и переводили; подписанная Бекетовым корректура представляла собою основу второго сборника, в который должны были войти новые переводы из Гейне и переводы из английской и сербской поэзии, и переводчиками в сборнике должны были участвовать на этот раз помимо Костомарова и Берга и другие поэты, в том числе такие видные, как Михайлов и Плещеев. Листая книги, Костомаров думал, не предложить ли их Николаю Гавриловичу в подарок, со своей надписью, но, не зная, какое у него сложилось мнение о них, не решался это сделать. Николай Гаврилович молчал, похоже было, что о книгах он не собирался говорить. Удивляло и то, что он как буд-

то не собирался заговаривать и о типографии. О книгах, однако, *нужно* было с ним поговорить, и Костомаров первый заговорил.

— Николай Гаврилович, а как вам показалось то, что вы прочитали? — спросил он прямо и просто.— Есть ли какой смысл в этих изданиях?

— А вы сами как считаете? Есть этот смысл?

— Да я-то как могу считать? Разве я стал бы этим заниматься, если бы не видел смысла?

— Ну, значит, когда вы считаете, что смысл есть, он действительно есть.

— А вы так не считаете?

— Отчего же? И я так считаю, когда вы так считаете.

Не понимая, шутит Николай Гаврилович или говорит серьезно, Костомаров на всякий случай засмеялся и по-другому поставил вопрос:

— Вам не нравятся мои переводы?

— Нет, это не так,— ответил Николай Гаврилович и опять замолчал.

Чернышевский молчал, и Костомаров молчал, несколько ободренный ответом Чернышевского, но еще не уверенный, принимать ли его слова прямо в свою пользу. Он уже собрался спросить, как же понимать эти слова, но Чернышевский сам заговорил.

— Это не так,— повторил он.— В ваших книжках есть немало хороших стихов. Писать вы можете, хорошо передаете юмор. Не знаю, как насчет сходства с подлинником, и специально не сверял, но мне кажется, вы точно передаете и ритм и дух подлинника. Я имею в виду переводы из Беранже и некоторые переводы из Гейне. Есть у вас и та резкая наблюдательность взгляда, и та саркастичность и способность негодовать, которые нужны для сатирического стихотворца, переводчика этих поэтов, и которых нет, например, у Плещеева, отчего он, между прочим,

и не берется за переводы политических стихотворений Гейне — они Плещееву не даются. А вы беретесь, и вам они даются. Впрочем, о *вашем* Гейне разговор особый. Кстати, раз уж заговорили о Плещееве, когда увидите его — ведь вы, кажется, часто видитесь? — передайте ему мой поклон и скажите, что в «Современнике» в третьем нумере будет моя рецензия на его последнюю книжку стихотворений.

— Хорошо, передам.

— Многие ваши переводы хороши,— продолжал Чернышевский.— Некоторые стихи я даже запомнил наизусть. Из Беранже вот очень занятное стихотворение об идее, о том, как приходит в мир новая идея...

— «История одной идеи»,— подсказал Костомаров.

— Да, история. «Стучится идея — об чем-то, вишь, новом; задвинем-ка двери засовом»,— засмеялся Чернышевский.— Позвольте книгу.

Он взял из рук Костомарова сборник, полистал, нашел нужную страницу, с улыбкой стал читать про себя.

— Да, это хорошее стихотворение. И еще очень хорошее стихотворение про муравьев. Очень смешное... Есть и из Гейне недурные переводы, и из других поэтов,— говорил Чернышевский, листая дальше.— Но вот что. Для успеха таких сборников, как ваши, надобно соблюдение двух условий: при подборе стихотворений руководствоваться определенной мыслью, идеей, чтобы была некоторая цельность, и по возможности не помещать стихи слабые, лишь для наполнения книжки. У вас эти оба условия не соблюдаются. Ну зачем вам рядом с Гейне и Беранже, Бернсом печатать романтический вздор из Гюго, все эти баллады с демонами и феями, картинами природы роскошного востока? Или вот эту чепуху: «Только что, усталый, я уснуть хотел; вижу, этот ангел тихо прилетел»? Правда, это не ваш перевод, а вашего товарища, но все равно. Не следовало бы это помещать.

Костомаров развел руками.

— Мы соиздатели... в половинной доле! Приходится считаться...— сказал он со счастливой улыбкой; он понимал, что не к месту эта улыбка и нехорошо он сказал, хвастливо и несправедливо по отношению к Бергу, которому он обязан многим, без помощи которого, и денежной и не только денежной, он не начал бы эти издания, но ничего не мог с собой поделать. Им овладело тихое ликование, пьянящее, упоительное чувство удачи, успеха. Он признан самим Чернышевским, чего еще желать?

— Зачем же вы с ним связываетесь? — спросил Чернышевский.

Костомаров на это ничего не ответил. Чернышевский, помолчав, продолжал:

— Есть и просто плохо написанные стихи, вроде этого: «Гибнут тысячи народа в лавы огненных волнах». Но мой основной упрек относится к разделу о Гейне в вашем новом сборнике, собственно, к вашей вступительной статье о Гейне. Позвольте корректуру,— он вернул Костомарову книжку и взял у него листы нового сборника, развернул.— Вот вы приводите слова Гейне: «Поэзия, как много я ни любил ее,— была для меня всегда или священной игрушкой, или спасительным средством к достижению высшей цели. Большего значения я не придавал никогда славе поэта. Но меч все-таки вы должны положить на гробу моем, потому что я был храбрым солдатом в освободительной борьбе человечества». Недурно сказано, не так ли?

— Да...

— А вы пишете о нем: «Для остроты Гейне нет ничего заветного, она ничего не уважает, ничему не верит и ни на что не надеется. Она бесстрастна». Называете его циником. Вы в самом деле так думаете о Гейне?

— Нет! Конечно нет! — с жаром возразил Костомаров волнуясь.— Я не знал, как провести через цензуру сати-

рические песни Гейне и его «Германию», и решил, что пусть уж в статье... Ведь важнее напечатать сами произведения, не правда ли?

— Не любою же ценой,— тихо возразил Чернышевский.— Вы не только Гейне, вы и себя представляете публике. Как писателя, который высказывает свое понимание Гейне. Шутить с этим опасно. Читателю видна разница между тем, что вы пишете о Гейне, и вашими же переводами из него, которые заставляют думать о Гейне как о более сложном явлении. Нет, уж лучше ничего не печатать, чем платить такую цену. Печатное слово весит много, тем более в такие времена, какие мы теперь переживаем, зачем же нам, писателям, самим его обесценивать?.. Я бы вам не советовал печатать эту статью. Или по крайней мере нужно радикально ее переделать.

— Я подумаю об этом, Николай Гаврилович.

— А цензура — что же цензура? С нею нужно ладить. Но не ради же нее самой... Попробуйте переделать. Напишите о Гейне так, как вы о нем на самом деле думаете. А уж потом и будем ломать голову над тем, как быть с цензурой.

— Спасибо, Николай Гаврилович. Вы правы, я, пожалуй, переделаю статью. Во всяком случае, не буду ее помещать теперь, а вот потом... Открою вам тайну, я бы хотел издать полное собрание сочинений Гейне. У меня много переведено! Вот составлю первую книжку, к ней и приложу статью, и если позволите, покажу вам, прежде чем печатать...

— Извольте.

Чернышевский встал. Это надо было понимать, что пора кончать разговор, и Костомаров вскочил.

Опять Николай Гаврилович смотрел на него отчего-то сухо и отчужденно, как в начале разговора, но Костомарова это теперь не смущало. О типографии Чернышев-

ший так и не заговорил. И Костомаров решил, что и об этом он должен заговорить сам.

— Николай Гаврилович,— сказал он, доставая из кармана сюртука сложенные листы,— я бы хотел подарить... оставить вам... Я знаю от Михаила Ларионовича, что вы его видели и читали и, кажется, это не показалось вам дурно...

Он развернул листы, это была отпечатанная в тайной типографии его поэма на евангельский сюжет, в сильно нравоучительном тоне. В печати, конечно, такое сочинение не могло бы явиться. В сущности, это была прокламация, хотя поэма и была подписана полным именем Костомарова.

— Да, Михайлов показывал мне поэму,— как бы в задумчивости произнес Николай Гаврилович.— Но вот что. Скажу вам прямо. Мне ее не оставляйте.

Он произнес это тихим и словно бы печальным тоном, но достаточно выразительно, чтобы можно было без амбиций, без обиды понять: Николай Гаврилович не хотел бы ни говорить, ни иметь с Костомаровым никаких дел, связанных с тайным печатанием. Костомаров не обиделся и все прекрасно понял. Ясно было: все такие дела Костомаров должен был вести с Михайловым. Ясно было: этот порядок отношений между ним, Костомаровым, и Чернышевским предлагался Костомарову не из недостатка уважения или недоверия к нему, а из соображений целесообразности. Ясно! Так — значит так. Пусть будет так...

Костомаров сунул поэму обратно в карман. Но так вот сразу откланяться и уйти было невозможно, надо было поговорить о чем-нибудь постороннем. Николай Гаврилович смотрел на него теперь уже вовсе не сурово, смотрел с мягким и грустным выражением. Костомаров засмеялся, как бы вспомнив что-то смешное:

— Пока не ушел, хочу вас немножко потешить. Дове-

ча в зале красивый господин, если не ошибаюсь, это господин Боков, говорил о том, что читал стихи, приготовленные для какого-то журнала, в которых государя называют святым Александром Освободителем. И я читал похожие стихи не далее как позавчера в Москве, их поместил многоуважаемый Михаил Никифорович Катков у себя в «Русском вестнике» в третьем нумере.

— Вот как? — заинтересовался Николай Гаврилович.— Вы, что же, уже видели третью книжку «Русского вестника»?

— Корректуры третьей книжки. У меня приятель служит корректором в типографии Каткова и дает мне читать корректуры, когда есть что интересное.

— И что же стихи? Чьи?

— Михаила Розенгейма,— сказал Костомаров и улыбнулся в ответ на улыбку Чернышевского, которую вызвало это имя, имя одного из самых шумных партизанов «обличительного» направления, которых не жаловал «Современник».— Начинаются так: «Христос, Христос воскрес! Воистину воскрес! Воспойте: жив Господь и слава в вышних Богу! Блеснул свободы луч и нам с родных небес»,— и так далее в этом роде. Государь там сравнивается с библейским пророком, освободившим народ от рабства. Вот еще четверостишие: «Разбита рабства цепь. Вставайте, мертвецы! Вставайте, лазари, из гроба векового, где вы родились, где отжили отцы; прощенье прошлому! Забвение былого!»

Уверенный, что Чернышевский выразит удивление или даже станет возмущаться вслух стихами Розенгейма, Костомаров сделал паузу, но Чернышевский молчал, смотрел выжидающе. Костомаров сказал с улыбкой:

— Странно это, правда?

— Что же вам кажется странным?

— Все это. Стихи. Гимны государю. Можно подумать, будто либералы перестали быть либералами,— после мани-

феста 19 февраля им уже больше нечего желать: все мечты порядочных людей удовлетворены, все цели достигнуты.

Теперь и Чернышевский улыбнулся:

— Да, можно подумать. Но не слишком доверяйте этому впечатлению. По сути дела, объявленной реформой никто не может быть доволен. Никто. Не только крестьяне.

— Я понимаю! И меньше всего может быть доволен Катков! — поторопился поправиться Костомаров.— Между прочим, в той же третьей книжке, рассуждая вообще о реформах нынешнего царствования, он особенно оговаривается, что они только еще «совершаются». И печатает статью Ржевского с восхвалением начал экономической свободы...

Поправился Костомаров не совсем удачно, он это понял и умолк, возникла неловкая пауза. Чернышевский, выручая его, спросил:

— Что же еще печатается в третьей книжке? Опять, должно быть, достается «Современнику»?

— Да, но на этот раз не столько «Современнику», сколько «Времени» Достоевского за его сочувствие женской эманципации,— благодарно засмеялся Костомаров.— Николай Гаврилович, а что же вы не отвечаете на его выпады? Так и не будете отвечать?

— А зачем? — спросил в свою очередь Чернышевский живо, с усмешкой, но тут же и свернул свой вопрос.— Впрочем, не знаю.

И снова оба замолчали. Костомаров ждал, что Николай Гаврилович станет расспрашивать о статье против «Современника», но он не спрашивал. Теперь можно было и уходить.

— Николай Гаврилович, позвольте откланяться.

— Я вас провожу.

Они вышли из кабинета и направились в переднюю.

4

Выйдя от Чернышевских, Костомаров пошел домой пешком, не хотелось тратиться на извозчика, когда все равно надо было побыть одному, продумать все, что было сказано Чернышевским. Да и не хотелось спешить домой, было еще не так поздно, наверное, не спит отец, замучает своими покаянными монологами. В этот приезд в Петербург он остановился у отца, на Поварской, хотя мог бы остановиться у знакомого студента в Лесном, но не решился забираться так далеко, приехав в Петербург всего на два-три дня, и теперь вот жалел, что не решился. Отец заметно сдавал; и всегда-то был утомителен своим унылым самоедством, своими ни к чему не приводящими самообличениями, скорбью все об одном и том же, о том, что не сумел обеспечить детям приличное существование, теперь же делался совершенно невыносим, весь вчерашний вечер и половину нынешнего утра изводил Всеволода слезами, покуда не пробил ему час плестись в департамент.

Была и еще одна причина, почему он не спешил домой: нужно было нанести еще один визит; впрочем, он и сам пока не знал, решится ли на это...

Было не поздно, но стемнело уже давно и на улицах горели фонари, прохожих нигде не было видно. Ночь, однако, была не темная, чистое и до конца не потухшее небо давало в улицы сумеречный свет, это особенно было заметно там, где прекращалось действие фонарей,— чадящие фонари, создавая видимость освещения, только скрадывали светлоту ночи. На крышах домов и на аллеях Большого проспекта еще лежал снег, он тоже прибавлял светлоты.

Костомаров дошел до конца Большого проспекта, повернул направо к Неве и вышел к новому каменному

Благовещенскому мосту. Уже взойдя на мост, он оглянулся назад, на здания, выходившие на стрелку Васильевского острова, на свое любимейшее здание биржи, у которого он уже был сегодня днем, перед тем как идти к Чернышевскому,— он каждый свой приезд в Петербург бывал здесь, как ни был занят, всегда выкраивал на это хотя бы час и обходил здание кругом, это стало для него ритуалом, необходимостью, потребностью, без этого он уже не представлял себе поездок в Петербург,— посмотрев назад, он увидел, что дома достаточно проглядывают в негустой тьме, и не удержался от соблазна, решил еще раз обойти биржу: любопытно было посмотреть, как она выглядит ночью.

Ночью она производила, пожалуй, еще более сильное впечатление, чем днем. Массивная колоннада, которая опоясывала прямоугольное здание со всех четырех сторон, образуя открытую галерею, была поставлена высоко на каменное основание, как на постамент, и снизу, с земли, белые колонны казались уходящими вверх, в бесконечность, и бесконечными же казались длинные ряды этих колонн. Казалось, что это храм, в котором совершаются торжественные богослужения или иные ритуальные священнодействия. Совсем нетрудно было вообразить себя в эту минуту в окрестностях Афин, у Парфенона...

Но не об этом теперь хотелось думать! Днем, когда он ходил здесь, ему пришла в голову странная мысль, смутившая его.

Суть не в функциональном назначении этого здания. Это здание — центр всего архитектурного ансамбля стрелки Васильевского острова. Более того, оно — центр архитектурной композиции, которую представляет собою целый город! В нем в высшей степени осуществилась идея тех, кто замышлял этот город: стянуть в одно художественное целое версты дворцов и храмов. Фантастическая

идея: построить город с чертежа, не позволить вмешаться в первоначальный замысел стихии жизни. Во все времена в Европе города складывались стихийно. В России построен искусственный город, осуществлен идеальный вариант застройки современного столичного большого города. Поневоле оробеешь перед той силой, которая вот уже на протяжении полутора столетий неуклонно осуществляла этот замысел. Город-монумент, город-памятник российской государственности, самодержавию, да, принципу самодержавия, выразившему себя в нем; и венец творения — здание биржи... Со времен Петра тщились русские государи быть значительными лицами между европейскими государями и для того посильно пеклись о величии своей вотчинной земли, величию России должна была соответствовать и столица своим величием. И чем более вызывающей, разорительной, жестокой представляется цена, которую должен был заплатить народ за этот каприз государей, тем более внушительной выглядит осуществившая этот каприз нечеловеческая сила. Что перед этой силой отдельный человек, партии? либералы, радикалы, тайные типографии, крамольные стихи? — игрушки, забавы досужих людей...

Но нет, это не совсем так! Иногда и эти забавы производят историческое действие. Николай Гаврилович, безусловно, прав: дело исторического прогресса начинается, как он писал в какой-то недавней статье, постепенным выделением из массы людей высшего умственного развития передовых людей, которые добывают новые знания, развивают науку и ведут ее к тому, чтобы ее результатами проникласъ и жизнь всего народа. Конечно, вначале всегда трудно и всякое новое слово, новая мысль подвергаются преследованию. Трудно, да; но что же делать образованному человеку, способному самобытно чувствовать и мыслить, способному сказать новое слово в той области, какую он себе свободно выбрал,— ужели от-

ступить перед этой силой, смириться? Зачем же тогда и жить?

Обойдя здание биржи, Костомаров снова вышел к мосту и пошел через Неву.

Да, продолжал он рассуждать, Николай Гаврилович, конечно, прав: надо действовать, надо нести свое слово в публику, надо пытаться нести его и в самую массу народа, иного выхода нет, если мы хотим содействовать прогрессу. Прав он и в том, что слово весит много и надобно пытаться нести его так, чтобы оно достигало цели неискаженным,— теперь-то отчего не пытаться, когда мы, можно сказать, в одной упряжке с вами, глубокоуважаемый Николай Гаврилович, когда можем положиться на вашу, Николай Гаврилович, опытность и ваш авторитет?

Да, самый важный результат вечера — тот, что он, Всеволод Костомаров, как будто произвел на Чернышевского впечатление. Возможно, он был для Чернышевского первым вестником того, как принимают крестьяне объявленную волю, и вестником, подтверждавшим собственные его, Чернышевского, предположения. Нетрудно было сообразить, что Чернышевский и его друзья ничего иного и не предполагали, как то, что крестьяне будут недовольны неполной волей. Нетрудно было и то сообразить, какие расчеты связывали они с этим недовольством крестьян. Можно было поздравить себя: угадав все это, он, Всеволод Костомаров, мог лишний раз убедиться в том, что у него есть политическое чутье.

И уж совсем стало ясно, что он понравился Чернышевскому, когда Чернышевский заговорил о его стихах. И даже то, что Чернышевский сказал о Гейне, эта его критика, разнос, какой он учинил всеволодовой статье о Гейне, это тоже говорило о расположении Чернышевского. Так обстоятельно разбирать дилетантский вздор, так возиться с человеком, с которым не связываешь каких-либо расчетов, наверное, не будешь.

Правда, не совсем вышел пассаж о либералах — невпопад Всеволод заговорил о либералах, не следовало бы, видимо, вовсе трогать эту тему в разговоре с Чернышевским, тут какая-то тонкость, которой Всеволод не понимает и которая, однако, отличает Чернышевского, например, от Михайлова: перед Михайловым Всеволод развивал те же мысли и встретил полное понимание и одобрение... Но это пустяки. Да и сам Чернышевский не придал, кажется, большого значения этому.

Нет, все прекрасно! Все получилось как нельзя лучше. И даже откровенное нежелание Чернышевского говорить о типографии — и это было хорошо и нисколько не странно. Странным было бы как раз обратное, если бы Чернышевский теперь же, с первой встречи, стал расспрашивать о типографии, обнаруживая перед малознакомым человеком свой специальный интерес. Более открытый Михайлов и тот не сразу проявил эту специальную заинтересованность, когда Всеволод привез ему свою поэму, отпечатанную тайно, и поведал историю тайного станка, поразив — ведь и правда поразил! — дерзостью предприятия. Дело ясно, соблюдается известный принцип всех заговорщиков, принцип взаимных отношений пятерок и троек: чем меньшее число лиц посвящено в тайну друг друга, тем меньше провалов — пятерки и тройки сообщаются через связных...

И было же кстати, что Николай Гаврилович не стал расспрашивать о типографии. Похвастать теперь особенно было нечем. Вся штука в том, что типографии у Всеволода не было. Во всяком случае, теперь не было. Был зимою типографский станок у студентов Петровского, Сулина и Сороко. На нем отпечатали сотни две экземпляров книги Огарева, посвященной разбору сочинения барона Корфа о 14 декабря 1825 года. Кроме того, еще несколько безделок, вроде Всеволодовой поэмы о Христе, и старая деревянная машина развалилась. Правда, собира-

лись студенты завести новый станок, поручили Всеволоду присмотреть подходящую машину, он и присмотрел уже в Москве, у гравера Бекетова, и условился со студентами, что поставят эту машину у него дома, в Марьиной роще, в мезонине, который снимет у матушки Всеволода один из студентов. Но что же было говорить о том, что будет?

Еще бы лучше было, если бы и вовсе не было нужды заниматься этим неверным делом. Не его дело — тайное печатание, его дело — поэзия, литература. У него громадные планы, связанные с петербургскими издателями. И прежде всего, и важнее всего — с «Современником». Может быть, он войдет в редакцию «Современника» — Михайлов намекал на такую возможность. Популярность журнала растет, журнал, конечно, будет расширяться, будут новые отделы или приложения — надобность в новых работниках прямая. Да не с тем ли прицелом и беседовал с ним Чернышевский, читал его книжки, разбирал их с таким пристрастием, не с тем ли прицелом, что присматривался к нему как к возможному будущему товарищу по редакции?

Свою службу в редакции «Современника» он бы начал капитально: печатал бы из нумера в нумер свою историю литературы от древнейших времен до нынешнего, над составлением которой давно работал, одни только выписки из Шерра, Шлоссера и Шлегеля занимали полный чемодан,— это был бы фундаментальный труд, такого в России еще не было. Мог бы в каждом нумере помещать и стихотворные переводы, начал бы с романцеро Гейне. Перевел бы Шекспира, сначала те драмы, которых еще не было в русском переводе, потом и прочие, переводы коих совершенно неудовлетворительны...

Но с Шекспира уже начинались планы и интересы, выходившие за пределы интересов, связанных с «Современником».

5

Он не заметил, как добежал до Садовой, занятый размышлениями, и пропустил Исаакиевскую площадь, на которой тоже хотел задержаться, решив еще у биржи, что должен пойти этой дорогой.

Эта площадь была вторым после стрелки Васильевского острова местом в Петербурге, которое влекло его к себе, как магнит. Собственно, не сама площадь влекла, а поставленная полтора года назад в конце ее, за сквером, конная статуя императора Николая — последнее творение барона Клодта.

Возможно, это был не лучший из петербургских памятников, Всеволод готов был с этим согласиться. Для него это ничего не значило. Было в этой статуе нечто, что привлекало к ней сильнее, чем к любому другому скульптурному или архитектурному шедевру Петербурга, исключая здание биржи. Что привлекало? Красота. Красота сама по себе. Та самая безыскусная, самоцельная, ничего, кроме самой себя, не выражающая, «чистая» красота, которую отвергали журналисты из «Современника» и которую утверждали, на которой настаивали Дружинин, Тургенев и другие, порвавшие с «Современником», и этого их понимания красоты не мог не разделять Всеволод, в этом он не мог не чувствовать себя более близким им, чем нынешним редакторам «Современника». Это была выраженная художником красота обыкновенного мгновения жизни — галопирующего всадника в парадном мундире, совершенных форм лошади и фигуры всадника, совершенной посадки всадника, особой посадки военного, свободной и непринужденной, с резким разворотом плеч и выгибом в пояснице и корпусом, слегка откинутым назад, когда кажется, будто сидеть на лошади и управлять ею не составляет ни малейшего труда и никакой заботы для всадника, а в этом Всеволод, кавале-

рист, понимал толк. И в том, что эта демонстрация «чистой» красоты была осуществлена посредством фигуры императора, «чистую» красоту воплощала фигура императора, много способствовавшего украшению этого города в соответствии с фантастическим капризом его основателей,— в этом тоже была своя многозначительность, волновавшая воображение.

Добежав до Садовой, Всеволод остановился, пораженный. В первую минуту он даже испугался, как же вышло, что он проскочил Исаакиевскую площадь и не вспомнил о статуе, не оглянулся, даже не заметил, темно там или горят фонари, а ведь и за тем шел, чтобы проверить, действительно ли, как ему говорили, статуя освещена какими-то особыми фонарями. Он рассердился на себя и с досады повернул было назад. Но передумал: не для него такие прогулки, тут несколько кварталов, а у него уже начинала ныть больная нога, завтра вовсе нельзя будет ходить. А ему завтра надобно быть на ногах, он хотел бы уехать завтра в Москву, перед отъездом же должен сделать несколько дел и, главное, побывать у Михайлова.

И еще потому передумал возвращаться на Исаакиевскую площадь, что решился-таки нанести тот визит, о котором думал, когда вышел от Чернышевских...

Дело в том, что тут неподалеку жило восхитительное существо, девушка, с которой он познакомился еще в январе и несколько раз навестил ее во время последних наездов в Петербург, присматриваясь, изучая ее, стараясь понять ее жизнь и привычки, и не понимая, и вместе с тем очаровываясь все более.

Звали ее Настей. Она была совсем простая девушка, вольноотпущенная какого-то тверского помещика, но грамотная, очень независимая и самостоятельная, жила одна, зарабатывая шитьем, была искусная вышивальщица. Познакомился с ней Всеволод на улице, ее сшибло раскатившимися на скользком перекрестке санями, из рук

выпала картонная коробка, и весь тротуар усеяли обрезки разноцветной материи с образцами вышивок, рисунками мелом, карандашом. Всеволод помог ей подняться и собрать ее обрезки, заинтересовавшись рисунками, заговорил о них, она охотно и дельно отвечала, он проводил ее до дому и с тех пор стал навещать ее, когда приезжал в Петербург.

Никак не думал он прежде, что простая, малообразованная девушка может захватить его воображение. Однако же захватила! И как будто не на шутку. И то сказать, что своей миловидностью, да что миловидностью — красотой, самой натуральной, свежей и даже тонкой красотой, и свободой, и непринужденностью обращения, удивительными для крестьянской девушки, она не уступала и столичным барышням. У нее было узкое лицо с едва заметной ямочкой на остреньком нежном подбородке, странно посверкивающие светлые глаза, узкий нос, у кончика как бы слегка сжатый с боков, словно бы какими-то зажимами, которые теперь сняли и от которых остались следы в виде двух прямых полосок слева и справа. И одевалась она, как барышня, скромно, но с изяществом, отличавшим развитый вкус, природное чувство меры.

Пожалуй, еще ни одна девушка не привлекала его к себе так, как эта крестьяночка. Они могли говорить часами; его радовало, как она слушала его — с неподдельным интересом и даже завороженностью, не уставая и не теряя нити его рассуждений, хотя и не все понимала, о чем он разливался, а ему весело было пересказывать ей биографии поэтов, которых он переводил, читать их стихи в своих переводах, объясняя смысл стихов и особенности перевода.

У него были самые серьезные намерения на ее счет. О легкой связи, об интрижке он не думал. Еще в первый день их встречи, после того, как он проводил ее домой и

просидел у нее час, расспрашивая о ее ремесле, дивясь дельности ее ответов, любуясь ею, когда уходил от нее, вдруг подумал: «Вот девушка, которая могла бы быть моей женой». Да, женой. И с каждой новой встречей эта мысль все больше нравилась ему.

А почему было и не подумать об этом серьезно? На ком же ему жениться, как не на такой вот простой, без глупых барских претензий, аккуратной и красивой здоровой девушке, труженице, даровитой по натуре? Она была даровита, об этом он мог судить по ее рукоделию, она сама выдумывала оригинальные рисунки для вышивания, сложнейшие композиции с фигурами животных и птиц, людей, пыталась даже вышивать портреты по собственным наброскам с натуры. Было много очарования и в самой мысли, что его женой может стать девушка из народа. Кому, как не ему, поэту, русскому литератору, посвятившему себя делу просвещения народа, мечтающему о скорейшем выравнивании сословий и состояний, было решиться на такой шаг? Это было бы элементарным проявлением здравомыслия, трезвого расчета.

Конечно, между ними была разница в духовном развитии, в образовании. Но что из этого? Это не такого рода различие, чтобы нельзя было надеяться со временем его устранить, теперь многие женщины учатся, отчего не учиться и ей, если это понадобится?

Правда, была у нее какая-то тайна, на которую она намекала и которую почему-то не решалась ему открыть. Однажды, когда он, восхищенный каким-то ее рисунком, стал, по обыкновению, расхваливать ее вкус, ее одаренность, она ему на это заметила:

— Вы, Всеволод Дмитриевич, меня перехваливаете. Вы меня совсем не знаете. Вот погодите — узнаете, не станете хвалить. Право, я не стою ваших похвал.

— Стоишь, Настенька...

— Нет, не стою,— вздохнув, она ничего больше не

сказала, а он не посмел допытываться, что же она имела в виду.

Жила она на улице, ведущей от Сенного рынка к Фонтанке, в пятиэтажном доходном доме, занимала две комнатки. Вход к ней был со двора, по угловой узкой лестнице на четвертый этаж.

В комнатках ее было много живых цветов и вышивок — ярких ковриков, салфеток, накидок. Настя постоянно заменяла выложенные и вывешенные работы другими, новыми или старыми, хранившимися у нее в сундуке, не могла долго смотреть на один и тот же узор, и каждая такая замена чудесно преображала комнаты.

6

Встретила его Настя приветливо, нисколько не удивилась его позднему визиту, предложила чаю. Он не отказался.

Пока она ходила на хозяйскую половину за кипятком, он рассматривал коврик, висевший над ее рабочим столом, новый коврик. Настя вышивала этот коврик долго, Всеволоду была знакома его композиция. По белому фону вышиты кусты с желтыми цветами и какими-то красными ягодами и в кустах четыре птички, склевывающие ягодки,— прежде, однако, этих птичек не было. И птицы, и ягоды были изображены очень условно, ягоды напоминали одновременно и малину и землянику, у птичек оперение синиц и развернутый веером кукушкин хвост, и все это ярко, нарядно, живо.

— Что же, ты еще не кончила его? — спросил Всеволод про коврик, когда Настя вернулась с чайником.

— Кончила. А почему вы думаете, что не кончила? Вам не нравится?

— Нет, почему не нравится? Птички очень занятные. А я думал, тут будут только цветы и ягоды.

— И я сперва так намечала. И заказчица так заказывала. А вышло вот как. Никогда не знаешь, что выйдет, когда начинаешь работу. А вам кажется, что тут чего-то не хватает?

— Да нет, я спросил просто потому, что ты еще не отдала коврик.

— Жалко отдавать. Пусть повисит,— объяснила Настя, застенчиво улыбаясь.— Пейте чай.

— Спасибо! — Всеволод сел к столу.— Ты извини, что я так поздно. Хотел тебя повидать. Другого времени не было. Вчера приехал и завтра уезжаю. Я скоро уйду. Вот посижу немного, на тебя полюбуюсь и уйду. Полчаса, не больше.

Она засмеялась:

— Да сидите! Разве я вас гоню?

Однако что-то в ее тоне показалось Всеволоду странным, он не сразу понял что. Как будто какое-то напряжение, старательно скрываемое. Он присмотрелся к ней внимательнее. В самом деле, что-то необычное. Одета она была и причесана так, как будто ожидала кого-то. И прибрано в комнатах так, что ясно: она вовсе не располагалась провести вечер в одиночестве, даже не работала, нигде не было видно ее корзинки с шитьем и нитками, все убрано.

Кого же она ждала? Ясно, что не Всеволода: она не могла знать, что он придет.

Тем не менее рада же она ему была, рада! Это он почувствовал еще в передней, когда она открыла ему,— радостно удивилась, увидев его, засветились удовольствием ее посверкивающие глазки и обозначилась ямочка на подбородке. Она была ему рада, да; но пришел он не вовремя, и лучше было бы, если бы он не засиживался.

Но кого же она ждала? Посредницу, которой сбывала свое рукоделие, по заказам которой работала? Однако едва ли старуха приходит к ней так поздно. Ждала муж-

чину? При этом предположении Всеволод почувствовал, как нехорошо, томительно сжалось у него в груди.

Но спрашивать ни о чем он не стал. Пил чай и рассказывал о том, как провел эти два дня в Петербурге:

— Вчера день был пустой, кого нужно было повидать — не заставал дома. Вечером ко мне должен был прийти приятель, из-за него просидел дома весь вечер, не мог никуда уйти, слушал жалобы батюшки на судьбу — приятель не пришел. Зато сегодня был хороший день. Знаешь, вполне может быть, это сегодня наполовину решилось, что я скоро переберусь в Петербург. Имей в виду, тогда я к тебе буду наведываться чаще.

— Всегда вам рады, Всеволод Дмитриевич,— улыбнулась она.— Вы знаете.

Налив ему чаю, она достала из комодика корзинку с шитьем и присела к рабочему столу, принялась за шитье; шила и слушала. Но слушала не только его! Она явно прислушивалась к звукам, доносившимся с лестницы, дверь в переднюю она оставила открытой, и было хорошо слышно, как где-то внизу хлопнула дверь, как вверх прошли двое мужчин, громко переговариваясь, потом прошел еще кто-то грузный, стуча сапогами, подбитыми коваными гвоздями,— ко всем этим звукам она прислушивалась, на миг отлетая от Всеволода. «Что же, уйти или еще посидеть? Дождаться, чтобы уж все выяснить?.. Или прямо спросить, как и что? Сама же она не скажет...» — все более расстраиваясь, думал он, не зная, на что решиться.

— Да, буду наведываться чаще,— продолжал он.— И если захочешь, прочитаю тебе целый курс из истории литературы, все, что буду печатать в журнале, буду предварительно читать тебе. Ты будешь знать о литературе больше, чем любой нынешний студент университета. Что ты на это скажешь?

— Вы шутите, Всеволод Дмитриевич,— вздохнув, ска-

вала она.— Это вы сейчас так говорите. Не будет этого.

— Но ты бы хотела, чтоб было?

— Ничего этого не будет. Вы шутите.

— Нет, я не шучу. И увидишь, так и будет. Потом займусь с тобой языками. Мне почему-то кажется, что ты быстро научишься говорить по-иностранному... Да не говоришь ли ты по какому-нибудь? — вдруг спросил он, заметив на ее лице странную улыбку, как бы снисходительную.

— Yes, I speak Inglish a little *,— смеясь, ответила она, довольно свободно и, главное, с правильным произношением.

— Ну, Настя, тебе цены нет! — воскликнул он, пораженный.— Где же ты научилась?

— Я девчонкой два года прожила в Лондоне со своим барином, была у него в горничных. У него была и английская прислуга. От нее и научилась. Делать мне там было нечего... Это давно было, я уж и забывать стала слова и как говорить.

«Так вот откуда у нее и манеры, и достоинство, и привычка одеваться как барышня! — подумал он.— Однако что значит это «ничего не делала»? Опять загадки...»

— Вот, пока вовсе не забыла, и надо будет позаниматься английским.

— А зачем?

— Ну как — зачем? Это надо...— он задумался, вдруг сообразив, что и сам не знает, для чего ей нужен английский, и стал придумывать ответ и одновременно стал думать о том, что, пожалуй, надо все же прямо спросить, не ждет ли она кого, и, если она скажет, что ждет, встать и уйти. И больше не приходить...

Но он ничего не успел сказать, потому что в эту минуту с лестницы постучали, и Настя, выразительно по-

* — Да, я немного говорю по-английски (*англ.*).

смотрев на Всеволода, пошла открывать. Дверь из комнаты она прикрыла за собой.

Вошедший с лестницы мужчина заговорил было бодро (его было хорошо слышно):

— Не мог прийти раньше, золотце. Но я принес...

Что он такое принес, осталось неизвестным, она его остановила, сказав что-то очень тихо. Они заговорили совсем неслышно.

Вошедший в комнату довольно рослый молодой человек, весь в черном и лицом как бы черный, пошел ко Всеволоду с приветливой улыбкой и заговорил в фальшиво-добродушном тоне:

— А, вот вы какой, спаситель наш! Настенька мне об вас рассказывала. Позвольте представиться: Иван Дмитриевич Путилин.

Всеволод встал, ответил на поклон Путилина, невнятно проговорил свое имя. Путилин явно не разобрал имени, а очень хотел разобрать, даже подался вперед, но переспрашивать не решился.

— Да какой спаситель,— поспешил сказать Всеволод, чтобы не осталось впечатления, будто он с намерением сжевал свое имя.— Просто помог подняться на ноги. Проводил домой...

Должно быть, его лицо оказалось на свету, и Путилин, с нескрываемым любопытством всматривавшийся в него, вдруг узнал его:

— Всеволод Дмитриевич! Вы? Вот так встреча-с! — заговорил он изумленно.— Никак не ожидал, что вы... что мы...— он засмеялся от какой-то своей мысли, которую не осмелился высказать вслух.— Я не расслышал, как вы назвали себя. И Настенька не называла вас по имени, когда я спрашивал. Как же-с, спрашиваю, имя господина, который вытащил тебя из-под лошади? Молчит. Так и не сказала. А это вы! Вот не думал... Да вы и изменились же...

— Откуда вы меня знаете?

— Как же-с! По литературе! И встречал-с. Не далее как месяц назад видел вас у Андрея Александровича Краевского, в приемной. Андрей Александрович принял ваши переводы, если не ошибаюсь, из Лонгфелло.

— Вы служите у Краевского? Вы писатель?

Путилин засмеялся:

— Эк хватили! Писатель! Нет, писателем не смею себя называть. Но причастен! Неоднократно по распоряжению начальства составлял для журналов заметки о столичной полиции, которую знаю по роду службы-с. Вот вы — писатель! Я ваши книжки знаю-с. Читал. И в журналах всегда ищу ваше имя. Но вы нечасто помещаете в журналах. Отчего?

— Нечасто,— сказал Всеволод вместо ответа.

— Да. А теперь я не узнал вас потому, что вы изменились. Прежде, когда я вас видел, вы были в мундире. И не сообразил, что вы оставили службу... Все-таки как мундир меняет человека!

Последнюю фразу Путилин произнес с заметной поспешностью, как бы для того, чтобы скрыть что-то, какую-то оплошность. Какую? Было такое впечатление, будто он вдруг сообразил, что сказал лишнее, и спешил поправиться. Но что же лишнее он сказал? Насчет службы Всеволода, что ли? Что знает о том, что Всеволод оставил службу? А ему бы не хотелось, чтобы Всеволод знал, что он знает об этом? Да что же особенного в этом?.. И что он там говорил о знакомстве с полицией? Возможно, что он сам служит в полиции. Впрочем, если он и шпион, то очень неловкий шпион...

— Вы, верно, служите в полиции? — спросил Всеволод как бы из вежливого любопытства, как бы снисходя до продолжения разговора.

— Отчасти,— охотно ответил Путилин и стал объяснять с обезоруживающей прямотой.— Я по образованию

юрист и веду кое-какие расследования по делам министерства финансов, я состою чиновником особых поручений при министерстве финансов. Часто приходится действовать вместе с полицией.

«Нет, он обыкновенный служака. И простак,— успокаивал себя Всеволод.— Я раздражен, вот мне и мерещится всякая чепуха. Впрочем, если он не прикидывается простаком».

— А что же-с Лонгфелло? — спросил любезным тоном Путилин.— В «Отечественных записках» так и не было, кажется, ваших переводов из него? Когда же будут?

— Я забрал их оттуда. Они будут печататься в «Современнике» и в «Русском вестнике» в ближайших книжках.

— Непременно посмотрю-с!

Несколько времени они сидели в молчании. Первым не выдержал молчания Путилин:

— А что, золотце, не угостишь ли нас чаем?

— Всеволод Дмитриевич уже пили чай,— холодно ответила Настя.

Он посмотрел на нее с удивлением:

— А меня ты не угостишь? — спросил вдруг упавшим голосом.

И она странно на него посмотрела, тоже как бы с удивлением, но ничего не сказала, взяла со стола чайник и пошла за кипятком.

И снова они сидели молча. Всеволод с бесстрастным видом, хладнокровно рассматривал Путилина, нисколько не чувствуя себя неловко. Надо, думал он, чтобы этот господин, кто бы он ни был, убрался отсюда, и поскорее. Буду сидеть, покуда он не уйдет.

Путилин делал вид, что занят размышлениями. И опять он первым не выдержал затянувшегося молчания:

— Да, все плохо-с,— уныло сказал он, как бы отвечая каким-то своим мыслям.— Плохо-с...

Он поднял на Всеволода скорбные глаза, полные какой-то муки и страха, вздохнул и еще раз произнес:

— Плохо-с.

— Что плохо?

— Все.

— Да что — все?

— Вот... реформы-с,— залепетал Путилин.— Плохо...

— Не понимаю.

— Реформы — пустое дело! Что реформы? Не будет конституции, не будет свободы прений, и ничего не будет.

Всеволод изумился. Вот так шпион! Шпион-либерал.

— Да отчего же ничего не будет?

— Как же-с? Европа сильна свободными учреждениями-с, парламентом и свободой прений. Оттого в европейских странах развиваются промышленность и науки. А что в России изменится с освобождением крестьян? Ничего-с. Мы будем отставать от Европы. Прежде Россия была первая держава, а теперь? Крымскую кампанию проиграли. Еще одна война с Европой, и все.

— Исчезнет Россия, что ли? — спросил Всеволод. Настя принесла чай, налила и ему.

— Да как же-с, помилуйте! Теперь судьба наций зависит от развития науки. Крымская кампания показала: у них пароходы, у нас парусные суда, у них штуцера-с, а у нас простые ружья с кремневыми замками, у них и пушки дальнобойные, и скорострельные, и даже-с лучшее, чем у нас, боевое построение. Все это им дала наука! Но что такое наука? Это свободная мысль, прежде-с всего свободная мысль свободных людей. А свободны люди в обществе, основанном на свободных учреждениях, на самоуправлении народа, на принципе разделения властей и что там еще придумала передовая мысль человечества. Разве проводимая ныне крестьянская и предполагаемые

в будущем судебная и земская реформы предусматривают введение в России подобных учреждений? Как юрист, скажу вам прямо: нет! В России законодателем предусматривается сохранение навеки и в неприкосновенности основных начал существующего государственного и общественного порядка. Мы с вами для краткости именуем этот порядок принципом самодержавия-с.

— Будто у этого порядка нет своих достоинств? — спросил Всеволод с иронией, не поверив этой слишком уж откровенной, вызывающей либеральности черного господина.

— Есть-с! — горячо подхватил Путилин.— Есть-с, и громадные! Мы, русские, благодаря нашему государственному порядку оказались избавлены от бедствий, которые потрясали Европу на протяжении последних ста лет. Мы избавлены от язвы пролетариатства. Мы избавлены от гражданских смут — неизбежного следствия политической анархии и излишеств свобод в обществе. Одно уже это заставляет каждого честного русского благословлять наше государственное устройство, дорожить им и всемерно содействовать его укреплению, каждому на своем месте. Но...— он остановился на мгновение и произнес трагическим тоном; он был в страшном напряжении и дрожал, даже весь побелел от мучительных переживаний, ценою которых давалась ему эта странная речь.— Но наука? Наука страдает-с! Страдает и будет страдать-с! Наука не может развиваться в таких условиях! Парадоксы человеческого общежития? Да. Для развития науки, как это ни странно, благоприятны не тишина и покой общежития, обеспечиваемые сильной центральной властью и постепенным, направляемым сверху, рассчитанным развитием, а некое неопределенное состояние общества, те самые беспорядочность в политической и социальной сферах и излишества свобод, которые опасны-с, чрезвычайно опасны-с и на которых тем не менее стоят европейские

общества. И развиваются быстрее, чем мы! Стоят на вулкане-с, терпят бедствия, от которых мы избавлены, и развиваются быстрее... Отстанет Россия! Вот что пугает. Еще одна кампания, подобная Крымской, и не будет России. Плохо-с!

Всеволод слушал с интересом. Странную смесь понятий представляло собой credo этого чиновника! Если только он, конечно, был искренен, если это не был просто дорогой пройдоха, повторяющий, как попугай, чужие мысли, без всякой внутренней связи, в расчете на слушателей-профанов. Но в этой видимой бессвязности была своя логика. Его самого не раз сбивали с толку, смущали и мучили такого рода безумные сцепления мыслей, когда связывалось вместе несоединимое. Не далее как час назад, по дороге от Чернышевского, он пережил нечто подобное, когда странным образом связались вместе понятие о бесовской силе власти и понятие о природе красоты, показалась многозначительной эта связь. Чем-то подобным повеяло теперь и от слов этого чиновника-патриота.

Нет, черный господин был не так прост, как показался вначале. С этим господином любопытно было бы, подумал Всеволод, познакомиться ближе... Но не теперь.

— Будете еще чай? — спросила Настя.

— Нет,— ответил Путилин.

Настя посмотрела на Всеволода.

— Нет,— ответил и Всеволод.

Она унесла стаканы в другую комнату и тут же вернулась. Всеволод демонстративно молчал. Путилин медленно приходил в себя после своего удивительного возбуждения.

Настя подошла к столу, но не села, остановилась у стола, как бы напоминая гостям, что пора и честь знать. Путилин, вздохнув, поднялся:

— Пойду, однако. Я заходил на минутку. Всеволод

Дмитриевич, позвольте вам сказать, я очень рад нашему знакомству-с. Надеюсь, мы еще увидимся,— произнес он, кланяясь, и опять Всеволоду почудился подозрительный оттенок в его тоне.

Всеволод тоже встал, поклонился. Настя пошла провожать Путилина и на этот раз не закрыла за собою двери, это Всеволод отметил почему-то со злорадным чувством.

Настя вернулась, подошла к столу, осталась стоять, глядя на свечу,— свет свечи дробился в ее глазах на тихие, слабо мерцающие искры.

— Что же, ты этого господина ждала, когда я пришел? — спросил Всеволод о Путилине.

— Да.

— Отчего ты мне не сказала, что ждешь гостя?

Она молча пожала плечами.

— Что же ты молчишь?

— А что говорить?

— Он твой... приятель? — Всеволод споткнулся на последнем слове, не решившись выговорить резкое слово.

— Да.

— И что же, он часто бывает у тебя?

Она опустила голову.

— Часто?

Она подняла голову и твердо посмотрела на него:

— А вам для чего это знать?

— Значит, часто?

— Часто,— ответила она сухо.

— И, должно быть, не только он? — продолжал допрашивать Всеволод.

— Не только.

— А скажи, и я мог бы быть твоим... приятелем? И приходить вот... как они?

Она вдруг улыбнулась:

— А вы приходили зачем... вы до сих пор для чего

но...— она не стала продолжать фразу.— Это вам лучше знать.

— Значит, мог бы,— задумчиво произнес Всеволод.— И сколько бы ты брала с меня?

Она перестала улыбаться, но не отвернулась, продолжала смотреть на него как бы с сожалением.

— Сколько же,— не унимался Всеволод,— пять, десять рублей? Ах, да, ведь ты говоришь по-английски. Должно быть, двадцать рублей. Да ты не стесняйся, говори! — Она молчала, и он продолжал.— Но я-то, я-то хорош! Как сразу не сообразил! И главное, о чем мечтал! — он засмеялся, действительно, показалось смешно: он, Всеволод Костомаров, поэт и дворянин, собирался делить своей невестой уличную девку.— О господи! Ну, тебе-то я не скажу, о чем я мечтал. Впрочем, могу сказать. Видишь ли, я принял тебя за новое явление народной жизни. Вот, думал, в лице этой девушки, в твоем лице то есть, сам народ, без помощи образованных сословий, собственным талантом и трудолюбием выбивается к культурной жизни. Какая обнадеживающая перспектива! Вот где, думал, богатство человеческой натуры, свежесть и здоровье, чистота! Алмаз, который надобно только подшлифовать образованием, и цены ему не будет. Да на такой девушке и жениться можно! А ты, оказывается, тоже новое явление, только в своем роде. Что же, ты этак живешь сколько же?..

Он умолк, заметив, как изменилось ее лицо. Глаза ее расширились еще больше, но влажным блеском и потекли, потекли дробными слезками. Она плакала, как ребенок, не закрываясь руками, не вытирая слез.

— Да чего же ты плачешь? — удивился он.— Это я должен плакать, я ошибся в своих ожиданиях, а тебе-то какое горе? Как будто ты от меня ожидала чего-то большего, чем от этого господина, как его там. Человек-то он хоть хороший?

— Зачем вы меня мучите? — спросила она плача.

— Я тебя мучу? Вот новости! Это ты меня мучишь. Я же тебе только что объяснил...

— Зачем вы смеетесь надо мною? Что я вам сделала плохое? Негожа я вам, так не ходили бы, вас никто не просил.

— Помилуй, я же объяснил...

— Я от вас ничего не требовала. А вам ничего не говорила, потому что вы не спрашивали. Я думала, вы и так догадались.

— Да, уж я догадлив оказался, что и говорить,— усмехнулся Всеволод.— Ну ладно, хватит. Перестань плакать. Не буду больше. Это я от обиды, от злой тоски. Очень уж я был зол, Настя, и не столько на тебя, сколько на себя. Но теперь прошло. Сядь и успокойся. Так что же этот господин — хороший человек?

— Хороший.— Настя села, пальцем смахнула слезки, вздохнула.— Он мне помог с самого начала, как я приехала в Петербург. Барин писал к нему, чтобы он помог мне. Они были знакомые.

— Да, кстати о барине. Ты говорила, что была у него в горничных. Верно, горничной была по названию, да?

Настя опустила голову:

— Да.

— И сколько же лет ты была у него в этом положении? Два года в Лондоне да еще до Лондона, должно быть, и после?

— Он меня взял к себе еще девочкой, лет двенадцати. Да я не одна у него была, нас было три девушки.

— Что же, и он был хороший человек?

— Хороший.

— Чем? Верно, был вежливый? Не бил, не бранился, да? На волю отпустил. Еще небось и денег дал на обзаведенье?

— Да.

— А господин Путилин, значит, помог тебе здесь устроиться? Эту квартиру он тебе нашел?

— Он. И бумаги, какие нужно, выправил. Первый год, если б не он, уж не знаю, как бы и жила.

— Так ведь у тебя были деньги от барина?

— Что ж деньги? Те деньги я не могла трогать.

— Почему?

— Не могла.

— Чай, на приданое себе отложила? О замужестве-то небось думаешь?

— Нет, не на приданое,— ответила она, пропуская вопрос о замужестве.

— Родным хочешь отослать?

— У меня нет родных. Родители рано умерли, и меня взяли на барский двор. Взяла одна мастерица. Она не крепостная, а так жила у барина в Твери и обучала шитью девушек. И меня обучила.

— Уж не думаешь ли ты,— неуверенно начал Всеволод, ему вдруг показалось, что объяснение загадки с деньгами должно быть романтическое,— не думаешь ли ты вернуть эти деньги барину?

— Зачем? — удивилась она. Явно ей эта мысль не приходила в голову. Однако она задумалась, как бы прикидывая, зачем бы это могло понадобиться сделать, и отвергла эту мысль.— Зачем же? Я не его деньги взяла. И за шитье никогда не брала денег, а шила всегда много, и когда в Твери жила, и после. Чай, заработала.

— Да что за тайна такая? Почему ты не можешь прямо сказать, зачем тебе эти деньги?

— Не могу. Когда-нибудь скажу, а теперь нет. Вы теперь будете смеяться.

— Теперь? — удивился он.— Это еще что значит? Ты что имеешь в виду?

Он вгляделся в нее внимательнее. Она грустно смотрела на свечу.

— Почему же теперь я буду смеяться? — повторил он, но она молчала.— Так и не скажешь?

— Нет. Теперь не скажу.

Она произнесла это твердо и даже как будто нахмурилась, доброе лицо ее приняло гордое выражение.

«Ишь ты»,— невольно залюбовался он ею.

— Ну, ладно, может, когда-нибудь и скажешь,— сказал он усмехнувшись, подумав, что этого «когда-нибудь» уж не будет.

И, странное дело, подумав так, вдруг почувствовал такую тоску, вдруг так крепко перехватило ему горло, что он вынужден был встать и отвернуться от Насти, чтобы она ничего не заметила. Не хватало еще заплакать, подумал он, удивляясь себе, удивляясь своему чувству.

Он принялся ходить по комнате, между столом и ширмой. Настя осталась сидеть за столом, он чувствовал на себе ее кроткий, недоумевающий взгляд.

Сильно же он привязался к этой девушке, однако! И влекло же к ней, несмотря на то, что́ открылось теперь. Главное, никакой неприязни к ней, никакой брезгливости он не испытывал. Как же так? Это было непонятно, сбивало мысли... Конечно, всего разумнее было бы теперь уйти. Но не хотелось уходить. Вот ведь что, не хотелось уходить. Что же это такое?..

В сумятице чувств вернулся он к столу, сел. Обратился к Насте:

— Скажи мне вот что... Не думай, что я хочу посмеяться или что. Нет, мне просто интересно. Ведь у тебя есть или были еще приятели-мужчины кроме Путилина, так? И что же он — ничего?

— А что он? Он мне не муж, не барин. С кем хочу, с тем и вожу знакомство. Да он и бывает не так часто,— она улыбнулась.— Каждый раз уходит навсегда, а потом опять приходит. Он женатый.

— И еще вот что скажи. Ведь ты живешь шитьем, да? И вот давеча напустился на тебя, говорил про синенькие и красненькие. Ведь это вздор, правда? Этого нет? Ну, конечно, нет! Так что же тебе эти мужчины? Они и народ-то все, я думаю, образованный да женатый, как Путилин. То есть я хочу сказать, на что же ты рассчитываешь?

Она смотрела на него с недоумением, не понимая, к чему он это. Переспросила простодушно:

— А на что мне рассчитывать?

— О замужестве-то думаешь?

— А что думать? Думай не думай — мне замуж не идти. За солдата, какого-нибудь пьяпчугу — нет, уж лучше одной жить.

— А появится ребенок? Ты об этом думала? Как одна будешь управляться с ним?

Она промолчала.

— Может, ты об этом и не думала?

— Что думать? Когда будет, тогда и буду думать.

— Неужто правда не думала?

И снова она промолчала.

— Скажи, как ты сама себе представляешь свое будущее? Ведь думаешь же что-нибудь об этом? Как будешь жить дальше?

— Как живу, так и буду жить, бог даст. Покуда хватит сил.

— И тебе не страшно?

— Чего?

— Придет же когда-нибудь этот последний день, когда и сил не будет, и никого рядом не будет. И бог не поможет. Бога-то нет, ты это знаешь? Нет его.

— Может, и нет.

— Нет, это поразительно, как ты спокойна! Послушай, да ведь это странно — такое спокойствие! Неужели тебе не страшно? Перед будущим — не страшно? — по-

втерил он вопрос, потому что она молчала.— Может, и умереть — не страшно? Умрешь ведь вся, и душа умрет, как умрет тело. Что же, не боишься умереть?

— Бойся не бойся, конец один. Чего же бояться? Себе во вред. Об этом думать не надо — и бояться не будешь,— рассудительно ответила Настя.

— Браво! Прекрасный ответ! И совет прекрасный! Да беда, что не всякий может им воспользоваться. А вот ты, пожалуй, и правда не боишься, так и живешь, как говоришь. Как это у тебя получается? Скажи, что для тебя главное в жизни? Зачем ты живешь, для чего? Можешь ты ответить на этот вопрос?

— Для чего живу? Ни для чего. Живу и живу. Ну и вышивка вот.

— Что вышивка?

— Как же, интересно.

— Что — интересно?

Она замялась было, но он смотрел требовательно, и она стала объяснять с добросовестностью, с какой отвечала и на другие его вопросы:

— Когда разбираешь старинный узор, будто разговариваешь с человеком, который жил за сто, а то и за двести лет до тебя. Времени как будто нет.

— «Времени как будто нет»?

— Ну да, будто и нет времени. Вот он жил двести лет назад, а будто только что вышел из комнаты, узор-то его — вот он, у меня под руками. Так и мой узор через двести лет кто-то будет разбирать, и тоже не будет времени. Интересно же.

— Да, интересно,— задумчиво согласился Всеволод.— Это ты хорошо сказала: «Времени как будто нет». Ты сама даже не понимаешь, какую важную вещь ты сейчас сказала. «Времени как будто нет». Верно... Если есть что вечное, так это красота. Все ненадежно — любовь, богатство, идеи, теории, общественные институты, одна

красота — вечна. Двадцать четыре века Парфенону, а он для нас так же прекрасен, как был прекрасен для древних афинян... Знаешь, что ты сказала? Через приобщение к красоте, через созидание красоты, а значит, созидание вечности и сама приобщаешься к вечности. Вот что ты сказала! Да, твое счастье, что у тебя есть такой интерес... Но вот вопрос, а как быть тем, у кого нет такого интереса? Не все же такие счастливые, как ты? Ну, отвечай! Ты понимаешь, о чем я спрашиваю? Понимаешь, что мир был бы спасен, если бы каждый человек был вот хоть бы так, как ты, привязан к жизни,— привязан, потому что ему было бы интересно творить красоту? Вышивать, писать картины, строить прекрасные здания, придумывать хитроумные машины? Понимаешь?

— Да хорошо было бы.

— Так как же быть с теми, у кого нет такого интереса?

— А как быть? Никак. Они сами будут такими.

— Как это сами будут такими?

— Мы друг у дружки учимся. И привыкаем к тому, что кругом нас. Я с тех пор, как себя помню, видела вышивки и вышивки, у нас в Твери все вышивают, и сама стала вышивать. Будет больше такой красоты, и будет у кого учиться такое делать, и другие будут такими.

— И опять верно. Надо, чтоб больше было красоты в мире. Накапливаясь, масса красоты будет сильнее действовать... Так ведь?

Настя засмеялась, радуясь его вопросу, его тону. Снова он был прежний, мечтательный и ласковый, и говорил с ней, как бы размышляя вслух, однако же и ее мнением интересуясь, хотя какое могло быть ее мнение, когда она и на десятую долю не понимала его мудреных вопросов? Она с удовольствием ответила:

— Так.

— Браво! Вот мы с тобой в какие вопросы въехали. В мировые вопросы въехали, Настенька... Нет, ты поразительная девушка! Не перестаю тебе удивляться...— начал было он, но спохватился и умолк, поскучнел.

«Однако надо идти. Хватит»,— подумал он и поднялся.

— Что ж, я пойду.

— Пойдете? — машинально переспросила Настя, тоже вставая.

Не было в ее тоне ничего такого, что давало бы повод думать о какой-то ее задней мысли, но Всеволоду с его обостренной подозрительностью почему-то показалось, что она удивилась.

— А ты что же думала, что я у тебя останусь? — спросил он с неожиданной злобой, ядовито и высокомерно.

Она не сразу поняла, почему он вдруг озлился, а поняв, смутилась, опустила голову.

Она молчала, с покорностью ждала, что он еще скажет, и он молчал. Злость его как внезапно возникла, так внезапно и прошла. Ему стало жаль ее. И сделалось неловко за свою резкость, но он не мог придумать, как загладить вину.

И вдруг, глядя на ее опущенную голову, на нежный профиль, казавшийся особенно нежным в свете свечи, как бы обведенный туманным сиянием, он подумал, что ведь мог бы и остаться, если бы захотел. Мог бы остаться. Она, конечно, была бы счастлива. Конечно, сначала, в первую минуту, была бы потрясена, скажи он, что остается, этого она от него не ожидала, но ведь была бы счастлива... От этой мысли его бросило в жар, сильно заколотилось сердце, так, что он даже испугался, не услышит ли она. Ему захотелось сесть, но он не решился.

Удивленная его молчанием, она несмело подняла глаза и, верно, тотчас догадалась по его лицу, о чем он думал, потому что вдруг сильно покраснела, так и занялась

ся трепетным пламенем. Это его умилило: «Боже мой, да она невинна, как ребенок! При ее-то опытности!» Никогда еще он не видел ее такой растерянной.

Он понимал, что не должен садиться, нельзя теперь садиться, и все-таки сел; пробормотал торопливо, с трудом удерживая голос, чтобы он не зазвенел, не задрожал:

— Посижу немного. Нога болит. Надо немного посидеть. Понимаешь, у меня нога разбита. Ты, пожалуйста, не обращай на меня внимания.

Она молча кивнула — взволнованная не меньше, чем он, была не в силах что-либо сказать; ушла в другую комнату и затихла там.

Что она там делала? «Господи, это же невыносимо. Так и в обморок можно упасть... Вот оно как, значит! Вот как... Что же, решиться? Надо же когда-нибудь. Когда еще? Решиться?.. Почему не решиться?..» — думал он в тоске, понимая, что не может, не в силах решиться.

Потом бешенство овладело им. Да что это он, в самом деле! Как он мог позволить себе думать об этом! Всю жизнь мечтал о чистом браке, лелеял мысль о единственной своей любви. Хотел жениться девственным и сердцем и телом, как девственна была бы и его невеста,— хотел любить одну во всю жизнь, только одну, никакой другой любви, кроме любви к своей жене, не желал. И все это бросить теперь! Ради чего?

Вон отсюда! Прочь от этой грязи. Он получил хороший урок. Наивный человек, думал найти себе невесту среди народа. Теперь он знает, что это такое — неприятельность простых нравов.

Он встал и пошел в переднюю.

— Я ухожу,— сказал он громко.

Не дожидаясь, когда за ним выйдет Настя, сорвал с вешалки шубу и шапку (в передней горела свеча), отпер дверь и вышел на лестницу, на ходу одеваясь.

Глава третья

1

В четверг, 16 марта, когда Чернышевский возвращался, как обыкновенно, в четвертом часу пополудни из типографии, у Гостиного двора, едва он перешел Садовую, его негромко окликнули:

— Николай Гаврилович!

Он тотчас вспомнил о полученном по городской почте два дня назад письме, которым его приглашали на свидание именно сюда и именно в это время и о котором он и думать забыл.

Окликнула его молодая дама, вышедшая из-под крайней арки Гостиного двора, со стороны Невского. Она сделала два шага ему навстречу и остановилась. Он удивился, узнав в ней знакомую:

— Анна Аркадьевна? Вы?

— Я. А почему вы удивляетесь?

— Так это вы писали мне, приглашали прийти сюда?

— Да, и я уже почти час вас ожидаю.

— Да ведь я мог и вовсе не прийти! Чистая случайность, что мы встретились. Я и не думал о письме. Я не собирался приходить!

— Очень мило.

— Я не знал, что это вы писали. Письмо было подписано инициалами «А. Ф.». Ведь вы Ремизова? Почему же «Ф.»?

— Ремизова по мужу. А моя девичья фамилия Франкова. Я иногда подписываюсь старой фамилией.

— Вот как, вы замужем, ведь я и этого не знал. И что же, вы полагали, что я догадаюсь, что это писали вы?

Она засмеялась.

— Нет, я не очень на это рассчитывала.

— Тогда почему же не подписались своей обычной подписью?

Она, смеясь, промолчала. Явно вопрос был деликатного свойства, на который она не могла ответить.

— А, понимаю: предосторожность на случай, если бы письмо попалось на глаза Ольге Сократовне? Да вы знакомы ли?

— Знакомы.

— Но почему же вы думали, что я приду на свидание?

— А вы не могли не прийти.

— Почему же?

Она снова засмеялась и объяснила:

— Вы однажды в шутку рассказывали о своих привычках и странностях и, между прочим, рассказали о том, как работаете в типографии, в какие дни и часы бываете там, каким путем возвращаетесь домой, где переходите Невский и Садовую. Я запомнила.

— Но ведь я шутил! Я смеялся над своею педантичностью и немного все преувеличивал. Не такой уж я и странный господин, уверяю вас. Большинство людей отличается куда большими странностями, нежели ваш покорный слуга, только они это не умеют видеть. И потом мало ли что могло произойти, например, сегодня? Я мог подвернуть ногу и поехать домой на извозчике, и мы бы с вами разминулись.

— Но вот не разминулись же?

— Да, ваша правда.

С этой дамой Николай Гаврилович, действительно, встречался у Шелгуновых, как он и думал о таинствен-

ной А. Ф., когда читал ее письмо и еще не знал, что это Анна Аркадьевна. Она была приятельницей то ли самой Людмилы Петровны, то ли ее юной сестрицы Маши, с которой вместе посещала университет. Появилась она у Шелгуновых не так давно, пожалуй с осени, когда Маша стала ходить на лекции в университет. У Шелгуновых часто собиралось большое и пестрое общество, люди разных возрастов и интересов, офицеры корпуса лесничих, товарищи Шелгунова по лесному департаменту, в котором он служил, поэты и писатели, товарищи Михайлова, молодые профессора, слушатели военных академий, студенты. Не все были между собою знакомы, церемонии в этом доме не были приняты, и обычно общество распадалось на отдельные кружки, и всегда в том кружке, где был Николай Гаврилович, оказывалась Анна Аркадьевна — всегда, когда он о чем-либо говорил. О чем бы он ни говорил, говорил ли серьезно или, как чаще бывало в обществе людей малознакомых, отделывался шуточками, она слушала его с особенным вниманием, тихой задумчивостью. Он замечал: когда он молчал, она могла быть и в другом кружке, но, стоило ему вступить в разговор, она тут же старалась сесть поближе к нему и слушала молча, сосредоточенно, устремив на него неподвижный, размышляющий взгляд. Он давно привык к такого рода вниманию к себе и не очень-то тешился им, понимая, что обыкновенно не сам по себе вызывал интерес и не то, что он говорил, вызывало этот интерес,— интерес вызывала его журнальная известность, в последнее время даже несколько скандальная: слишком уж часто поминалось его имя в журнальной полемике. Но внимание этой дамы было ему приятно. Похоже, она была не пустым человеком, внимание ее было как будто не суетным.

Верно, она приехала из провинции, у нее был вид расцветшей на губернском приволье, здоровой, полной сил и хорошо воспитанной барышни из хорошего семей-

ства, из первых в губернской иерархии. Держалась она прекрасно, свободно и величаво, для нее не существовало положений, когда бы она могла стать в тупик; когда ее о чем-либо спрашивали, отвечала с полной уверенностью, что все, что она скажет или сделает, будет и умно и ладно, словом, то, что нужно. Она прекрасно играла на фортепьяно, ее всегда усаживали за инструмент, когда общество требовало музыки; с завидной естественностью говорила по-французски и по-английски.

Во внешности ее было много своеобразия. Красавицей в строгом смысле ее трудно было назвать, для этого у нее был слишком цветущий облик,— довольно крупные черты лица, немаленькие, развитые какой-то работой, сильные руки, поднятые и прямые плечи. И все-таки это была красавица. У нее была легкая фигура с очень тонкой талией, что при ее широких плечах особенно бросалось в глаза, делало ее эффектной. И крупные черты лица были сами по себе выразительны: большие и полные, вызывающе вывернутые губы, яркие без всякой помады, выпуклый лоб и несколько выступающий подбородок придавали лицу резкую характерность, которая запоминалась, и запоминалась именно как резкая красота сильной и очень здоровой молодой женщины.

Конечно, на нее обращали внимание. Все, кто бывал у Шелгуновых,— и мужчины и женщины — невольно оборачивались, когда она проходила через зал. Но вот что удивляло. Она всегда, или почти всегда, находилась в одиночестве.

Казалось бы, она должна была быть окружена молодыми людьми, которых всегда было много на этих вечерах. Нет, молодые люди вились вокруг веселой дурнушки Маши, замужних и уже не юных Людмилы Петровны и Ольги Сократовцы, а эту свежую красавицу их шумливое кружение обтекало, не задевая. Они были с нею почтительны, бывали подобострастны, но не она была их ку-

мир. Было такое впечатление, будто они ее побаивались, чем-то она их отпугивала. Чем? Не тем ли, что была уж очень серьезна?

О ее чрезвычайной серьезности можно было судить и по ее тяготению к кружкам, где разбирались ученые предметы, и по ее вопросам, которые она иногда ставила в этих кружках и на которые не всегда можно было найти удовлетворительный ответ, и по виду тех ее нечастых собеседников, молодых людей, с которыми она иногда все же вступала в разговоры. Это было любопытное зрелище, эти разговоры. Она как бы набрасывалась на собеседника, будто изголодавшаяся, обрадованная возможностью поговорить, и торопилась, как казалось, выложить самое существенное, заветное и трудное, не поддающееся разрешению,— у молодых людей был глубокомысленный вид, они слушали ее жаркие речи молча или неопределенно поддакивая, вероятно, не имея ничего ни возразить, ни прибавить к тому, что она развивала, и спешили при первой возможности оставить трудный и рискованный для них, рискованный, потому что не по их зубам, диалог. С гостями постарше, в том числе и с Николаем Гавриловичем, она не решалась вступать в подобные беседы, верно, не считала себя достаточно подготовленной для этого. Николай Гаврилович, заинтересованный ею, несколько раз сам порывался заговорить с нею, но все не оказывалось подходящего случая. Расспрашивать же о ней никого не хотел, не желая вызвать улыбок и известных шуток, которыми обычно награждаются подобные расспросы.

— О чем же вы хотели со мною поговорить? — спросил Николай Гаврилович.— Вы что-то хотели мне сообщить. И потом где же мы будем беседовать — здесь, на улице?

— Может быть, вы меня проводите? Я живу на Большой Морской, за Исаакиевской площадью. По дороге и поговорим. Погода хорошая,— с улыбкой повела она ру-

ной, показывая на голубое небо, на солнце, припекавшее по-весеннему, на Невский, уже чистый от снега и сухой, полный нарядного народа, вышедшего на долгожданные тепло и свет.

— Как вам угодно. Прошу,— он подал ей руку, она взяла его под руку, и они двинулись по Невскому вдоль Гостиного двора в сторону Большой Морской.

Несколько времени шли молча. Она, верно, собиралась с мыслями, не зная, с чего начать. Он искоса поглядывал на нее. Она была почти одного роста с ним, так что ему пришлось распрямиться, чтобы хотя несколько быть выше ее.

— Не знаете, с чего начать? — добродушно спросил он.

— Да,— засмеялась она.

— Хотите, я вам помогу? Речь, вероятно, должна пойти об Ольге Сократовне?

— Да, отчасти... Впрочем, да.

— Вам, должно быть, стало известно о каком-то поступке Ольги Сократовны, на ваш взгляд, неблаговидном, и вы решили известить...

— Нет, нет, дело не в этом! — поспешно перебила она.— Просто я хотела... Но прежде я должна сказать, что мне давно хотелось с вами поговорить. Я много о вас слышала еще в Саратове и читала вас...

— Вы саратовская?

— Нет, я из Перми, но в Саратове прожила год перед тем, как переехала в Петербург, там у меня живет одна из теток. Но это неважно. Я знаю вас по вашим статьям в «Современнике» и сама немного пишу... пробую писать, и меня интересуют вопросы, которые, мне кажется, и вас должны интересовать, а между тем вы почему-то их не касаетесь...

— Вы имеете в виду женский вопрос?

— Да. Но теперь не об этом речь. Видите ли, я, возможно, так и не решилась бы просить вас о встрече, если

бы не случай, и очень нелепый. Я попала в историю, которая может кончиться скандалом и, главное, может вас задеть. Сначала я этого не предполагала, но так все получилось...

Она умолкла, опять была в затруднении. Они уже перешли площадь за Гостиным двором и были у самого угла Невского, у башни с часами, когда Николай Гаврилович повернул налево, прочь от Невского с его многолюдьем, грохотом карет и криками извозчиков:

— Пойдемте здесь, переулками, к Каменному мосту. Здесь не так шумно, можно говорить без лишнего напряжения. Вы не против?

— Нет.

— Слушаю вас. Да говорите просто, не выбирайте выражений.

Она кивнула и продолжала:

— В доме одних моих знакомых, это не у Шелгуновых, один господин, не буду его называть, говорил гадости об Ольге Сократовне, я потребовала, чтобы он взял свои слова назад, и предупредила, что, если он не извинится, я дам ему пощечину. Это не все,— остановила она Николая Гавриловича, который, засмеявшись, хотел было что-то сказать.— Меня стали уверять, что этот господин лишь повторил то, что здесь уже говорил другой господин, которого в это время не было. Тогда, сказала я, я дам пощечину этому другому господину. И с тем ушла. И я готова сдержать свое слово. Но вот о чем я потом подумала. Я вступилась за вас с Ольгой Сократовной, не зная определенно, не оказываю ли я вам медвежью услугу.

— Это вы рассудительно подумали,— с усмешкой заметил Николай Гаврилович, присматриваясь к ней.

— История станет известной, пойдут слухи, будут трепать ваше имя. Этот другой господин — титулованная особа. За свою репутацию мне бояться нечего, я не собираюсь оставаться навеки в Петербурге, а вы — другое

дело. И я решила, что прежде должна поговорить с вами.

— Резонно.

— Да, но я теперь не знаю, что мне делать!

— Да что делать, ничего не нужно делать. Все это вздор, знаете. Но что же говорил этот господин?

— Я не могу повторить. Он говорил гадости.

— Да я сам могу повторить. Хотите? Он говорил об увлечениях Ольги Сократовны. Верно?

— Да.

— Он называл имена? (Молчание.) Называл или не называл?

— Называл одно имя.

— Савицкий?

— Да.

— И что-нибудь еще говорил?

— Говорил.

— Об их ребенке, вероятно?

— И об этом.

— И вас это огорчило, да? Вам стало обидно за меня?

Анна Аркадьевна с удивлением смотрела на него. Он был совершенно спокоен, как будто не о нем шла речь, и иронизировал, иронизировал над нею.

— Я не знаю... Мне было неприятно. И вы бы на моем месте не позволили, чтобы при вас сплетничали о человеке, которого вы уважаете.

— Да, вероятно. Но за меня вам стало обидно, когда вы услышали такое?

— Не знаю, как и сказать...— замялась она, начиная догадываться, куда клонит Николай Гаврилович.

— Раньше вы ни о чем таком не слыхали, да?

— Нет, почему же? — возразила она и смутилась, поняв, что сказала бестактность.— То есть я хотела сказать...

Он перебил ее с сердитым видом, преувеличивая свою рассерженность:

— Да перестаньте вы, наконец, подбирать приличные выражения. Я не красная девица, чтобы обижаться, а вы, хотя и красная девица, достаточно умны, чтобы не обращать внимания на подобный вздор. Так что же, нечто подобное вы и раньше слышали?

— Слышала другое, а это нет.

— Значит, все-таки вас это огорчило?

— Немножко да,— призналась она.

Он усмехнулся:

— И это говорите вы, женщина. Притом женщина, пишущая об эманципации. Что же сказать о том, что делается в головах мужчин, подавляющего большинства мужчин? И с этим-то багажом в головах мы еще надеемся на какие-то реформы, уповаем на какой-то прогресс... Бедная вы, бедная. Вздумали меня жалеть. Решили, что моя жизнь — моя трагедия. Да где же вам понять, что никакой трагедии нет, ровным счетом никакой, а есть, напротив, человеческое счастье, какое и не снилось никому из вас и не приснится никогда, покуда не научитесь смотреть на мир и на себя не чужими, а своими глазами... Привыкли, что счастье — в обладании. Обладают халатом, обладают женщиной; жена — та же вещь! Можно уступить эту вещь покровителю-сановнику за место с приличным жалованьем, трагедии нет, никто не назовет такого мужа несчастливцем, его не станут жалеть, напротив, с восхищением скажут: экой ловкий, экой мудрец. Но посмей кто-нибудь отказаться от владельческого права на женщину — и вы, женщины, первые отворачиваетесь от такого господина с брезгливым состраданием: дескать, какой же это мужчина. Вы, наши сестры... да какие вы нам сестры! Были лакейками и остались...

Разгорячившись, он не заметил, как отпустил руку своей спутницы и отошел от нее на шаг в сторону. И обращаясь к ней, не ее видел перед собой, а неизвестно

него... Она смотрела на него с восхищением. Он снова подошел к ней:

— Извините, я погорячился. Я не об вас говорю, надеюсь, вы понимаете... Вас, должно быть, интересует вопрос: люблю ли я свою жену? Да, люблю. Любит ли она меня? Да, любит. По-своему, но любит. Испытываю ли я чувство ревности? Нет. Меня не интересуют отношения моей жены с кем бы то ни было, это ее личное дело. Они меня интересуют лишь постольку, поскольку от этого зависит ее душевное состояние, и ровно настолько интересуют, насколько она сама сочтет нужным поставить меня об этом в известность. Впрочем, у нее нет от меня никаких секретов. Я ее лучший друг. Это не я так считаю, это она так считает. Удовлетворил я вашу любознательность?

У нее на лице было все то же восхищенное выражение. В ответ на его вопрос она сказала извиняющимся тоном, как ни мало вязался этот тон с ее обликом:

— Да, я теперь вижу, что с моей стороны было ужасной глупостью навязываться вам с этим разговором. Мне ужасно неловко. Я сожалею об этом. Простите.

Он смягчился:

— Ну зачем так...

— И я очень сожалею, что ввязалась в эту историю. Конечно, вы правы, лучше не обращать внимания на такие вещи. И я вот что сделаю. Я просто перестану ходить в этот дом, где это заварилось, вот и все. Хотя это дом моих родственников. Я с ними раззнакомлюсь.

— Не слишком ли круто?

— Нет, раззнакомлюсь. Теперь я вижу, что это лучше всего. Но я рада, что поговорила с вами. Теперь мне многое понятно.

— Что же вам понятно?

— Многое. Например, почему вы не пишете об эмансипации.

— Почему же?

— Нет, об этом я не могу теперь говорить с вами. Мы не довольно знакомы друг с другом. Мы оба будем чувствовать себя неловко.

— Вот как! Значит, вас все-таки не удовлетворило то, что я сказал о моих отношениях с Ольгой Сократовной. Ну, хорошо, подождем, когда мы с вами лучше познакомимся,— сказал он с усмешкой.

— Да, подождем,— ответила она с полной серьезностью.

Они перешли через Каменный мост и пошли по Гороховой, сначала по солнечной стороне, потом перешли на теневую сторону. На солнечной стороне было людно. Солнце еще пригревало, и у некоторых подъездов, которые не были загорожены от солнца домами противоположной стороны улицы, на вынесенных из дому стульях сидели старые барыни, в сторонке от них, у ворот, возле арок, держались горничные, лакеи, кучера, тоже нежились на солнце. Мир и покой, идиллия, каждый на своем месте, как было и год, и десять лет назад, ничего не изменилось...

Впрочем, нет, вот и перемены: в одной такой группе дворни под одной из арок, это увидел Николай Гаврилович уже с теневой стороны улицы, какой-то господин читал вслух газету явно с текстом крестьянских Положений — об этом нетрудно было догадаться по характерным жестам и паузам читающего и движениям слушателей,— картина, ставшая привычной в последние дни. Народ вчитывался в Положения, никак не мог себе уяснить их смысл.

— Кстати, а что же вы пишете? — спросил Николай Гаврилович, снова обращаясь к своей даме.

— Заметки в газеты и журналы в виде реплик на статьи, которые затрагивают нас, женщин. Вот в «Русском вестнике» не так давно была моя статейка.

— В какой книжке? За этот год?

— Нет, еще за прошлый...— начала было она объяснять и остановилась.

— В какой же книжке?

— Нет, я не хочу, чтобы вы это читали,— не стала она называть нумер журнала.

— Почему?

— Теперь это не нужно. Когда я писала к вам, я даже хотела просить вас, чтобы вы прочитали эту статейку. Но не решилась написать, а теперь это лишнее.

— Ну, как угодно.

Они оба умолкли и долго шли молча. Он был раздосадован и обескуражен: с чего вдруг пустился в откровенности? Надо было с самого начала положить предел их разговору. И не надо было соглашаться на эту ненужную прогулку. Вот так всегда: он не умеет отделаться от навязчивого человека, не умеет оборвать затянувшийся, бессмысленный разговор...

Хорошо было бы, думал он, если бы сейчас произошло что-нибудь, что позволило бы ему оставить эту даму, посадить ее на извозчика, вон на углу Большой Морской стоит извозчик, и отправить одну, а самому поспешить домой, где его уже, пожалуй, ждут. Дома ждут, определенно ждут, и работа ждет, а он тратит время на пустяки. Он искоса поглядывал на нее. Она шла, казалось, всем довольная и веселая, баззаботно опираясь на его руку, смотрела вперед. Но он чувствовал, что и ей неуютно, и ее тяготит то, что она вынуждена идти с ним рядом, в то время как и ей в самый бы раз теперь остаться одной. И ведь не сделаешь так, как подсказывает здравый смысл, приличия не позволяют. Приличия обязывают, и никуда не денешься...

Когда они переходили Исаакиевскую площадь и уже миновали монумент Николаю, Анна Аркадьевна вдруг засмеялась, заметив, что Николай Гаврилович даже гла-

ва не скосил в сторону монумента, хотя, казалось, невозможно было не обернуться в ту сторону. На площади толклось много праздного народа, судя по виду, провинциалов, все глазели на монумент, и уже одно это поневоле должно было побудить посмотреть в ту же сторону. Но Николай Гаврилович не посмотрел.

— Чему вы смеетесь? — с улыбкой спросил он.

— Вы так были увлечены своими мыслями,— объяснила она,— что даже не взглянули на статую Клодта.

— Ошибаетесь, вовсе не потому,— возразил он.

— А почему?

— А вот потому, почему и теперь не взгляну, когда вы сказали об этом. И почему всегда обхожу эту площадь стороной, с тех пор как здесь поставлена эта статуя.

— Вам не нравится она?

— А вам нравится?

— Но ведь это прекрасная работа!

— Памятник Николаю — прекрасная работа?

— Но при чем здесь Николай? Он не имеет никакого отношения к этой статуе как произведению искусства.

— Вот как? А мне до сих пор казалось, что это произведение искусства называется статуей императора Николая, а не писателя Гоголя, например. Должно быть, я ошибался.

— Но ведь дело же не в названии! Император Николай послужил лишь моделью для скульптора, и только. Что в этой статуе говорит об особе императора? Даже внешнего сходства нет. Притом тут и не всадник важен, а лошадь, как во всех творениях барона Клодта. Любуйтесь лошадью! Разве лошадь виновата в том, что на ней сидит император Николай?

Она произнесла это с таким напористым, забавным задором, что и сама засмеялась. Посмеялся и Николай Гаврилович.

— Лошадь действительно не виновата,— согласился он.

— Значит, я вас убедила?

— Нет, не убедили.

— Но почему? Объясните, прошу вас.

Усмехнувшись, Николай Гаврилович объяснил:

— Хорошо, будем считать, что вы меня убедили. Убедили в том, что когда-нибудь, возможно, и будет эта статуя восприниматься так, как вы предлагаете ее воспринимать, как чистая красота...

— Я предлагаю?

— Хорошо, не вы. Предлагают Дружинин и Катков, а вы соглашаетесь с ними. Пусть так. Но когда это будет? Когда имя этого всадника выветрится из памяти людей. Теперь не то. Слишком свежа память об этом господине. Что, кроме отвращения, может вызывать его имя в каждом здравомыслящем русском человеке? Хороша же красота, которая вызывает образ пошлости и уродства, возбуждает не чувство радости, а чувство омерзения. Такая красота уже и не красота, а само уродство. Лошадь не виновата, да мы-то знаем, что нам выставили на обозрение не лошадь вообще, а лошадь императора Николая. Нет, уж лучше я лишу себя удовольствия полюбоваться совершенными формами клодтовой лошади, чем лишний раз вспомнить о хозяине этой лошади.

— И вы, правда, теперь не ходите через эту площадь?

— Не хожу. И вот что обидно. Это была моя самая любимая площадь. Бывало, всю ее вдоль и поперек исхожу, пока не найду точку, с какой всего лучше открывается глазу Исаакий. Это занятие я любил. Любил смотреть, как солнце отражается в его главах. Вот, кстати, пример, когда красота воспринимается как чистая красота, и такому ее восприятию не мешает воспоминание об обскурантизме, на которое наталкивает мысль о назначении этого здания. И вот пришлось отказаться от этого удовольствия. Ничего не поделаешь. С обстоятельствами приходится считаться.

Шутил он или говорил серьезно? Пожалуй, все же шутил, и Анна Аркадьевна решила кончить тоже шуткой:

— Мне очень жаль, что из-за меня вам пришлось нарушить свое правило.

— Ничего. Беды большой нет. Я же не смотрел на это ваше чудо искусства.

Они уже подходили к дому Анны Аркадьевны с высоким подъездом, с ажурным железным навесом на уровне третьего этажа.

— Мои окна прямо над навесом,— сказала она, останавливаясь у подъезда.— Я бы вас пригласила к себе, я живу с теткой, саратовской, о которой я говорила, она была бы рада с вами познакомиться, да боюсь вам навязываться. Я и так злоупотребила вашим терпением, столько времени у вас отняла. Не приглашать?

Она смотрела на него прямо и просто, с улыбкой немного грустной.

— Не приглашайте, не надо. Мне и в самом деле теперь некогда. Дома должны ожидать гости.

Она протянула ему руку.

— Прощайте. Спасибо за прогулку. И, пожалуйста, извините меня...

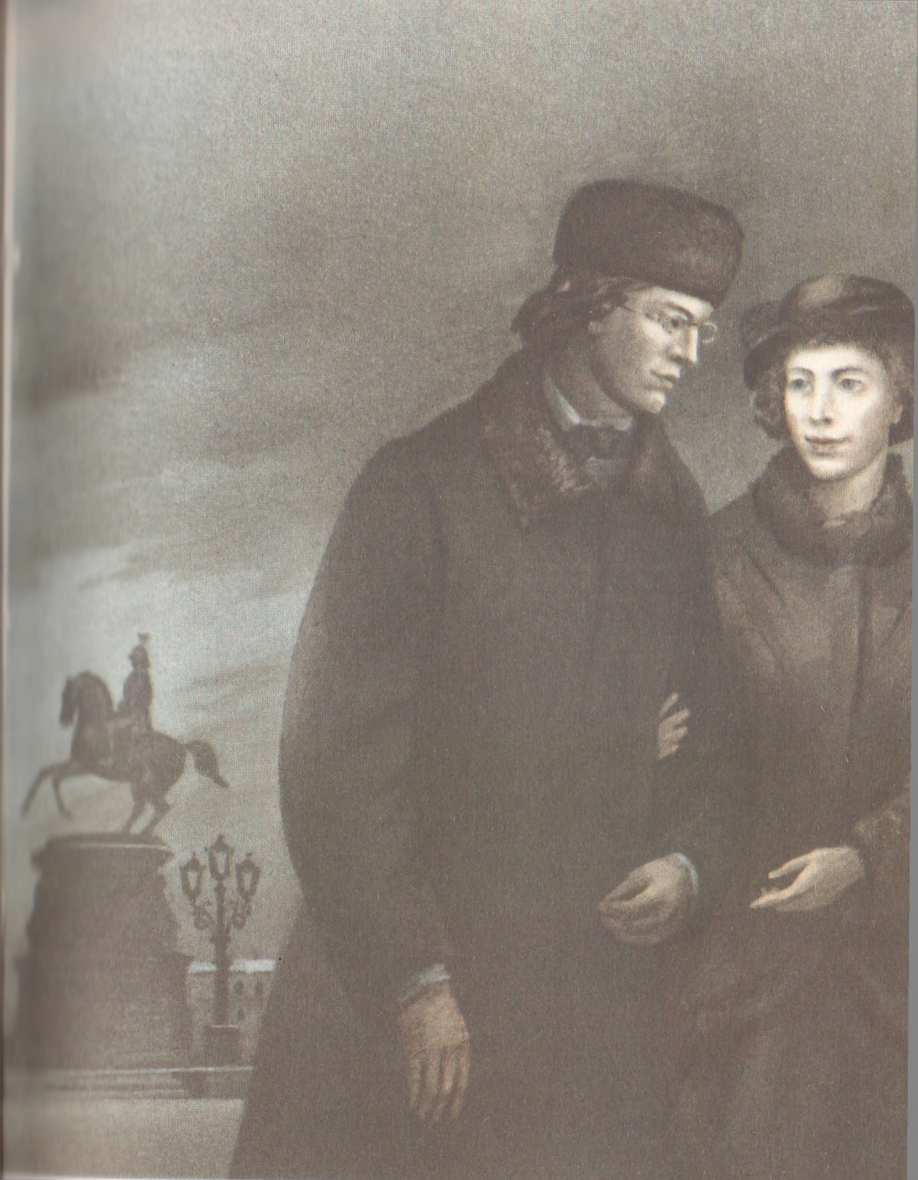
Он ее перебил:

— Не надо извиняться. Мы недурно прогулялись. Прощайте.

Пожал ее руку и ушел, очень довольный, что она не стала просить его нанести ей визит когда-нибудь в другой раз, отказать ей в этом было бы неудобно, а давать пустые обещания он не любил.

2

Неподалеку, на другой стороне улицы, стояли два извозчика, Николай Гаврилович направился к ним. Ближе к нему была линейка деревенского ваньки, чуть даль-



но — карета, кучер ее, одетый по всей форме столичных лихачей, извозчиков-аристократов, в теплом цилиндре, в полосатых штанах с толстым надставленным задом, опоясанный красным кушаком, заранее стал подбирать вожжи, уверенный, что хорошо одетый господин направится к нему. Но господин сел на ваньку и велел ехать на Васильевский остров, на Большой проспект.

— За биржу, значит? Эт-та мы знаем,— польщенный тем, что господин выбрал его, а не аристократа, объявил извозчик и зацокал на свою лошаденку, замахал, закрутил вожжами, погнал с места суматошной рысью.

Проехали резво мимо кареты под осуждающим взглядом аристократа. Когда отъехали немного, Николай Гаврилович осадил старательного мужичка:

— Не гони, спешки нет.

Мужичок тотчас отпустил вожжи, лошаденка пошла легкой трусцой.

Мужичок этот, шустрый, еще не старый, курбастенький, в своем зеленом, из толстого армейского сукна, бесформенном армяке, чапане по-саратовскому, которым был укутан поверх полушубка, в шапке-ушанке из того же зеленого сукна, судя по виду, был из помещичьих крестьян Петербургской или какой-нибудь из ближайших губерний, такие в зимнее время, свободное от полевых работ, наезжали в столицу на месяц, на два на своих санях или бричках, приспособленных возить седоков, промышляли легковым извозом. Между ними попадались толковые люди, много повидавшие и любившие поговорить, послушать их всегда было интересно.

— Из каких краев будешь, любезный? — спросил Николай Гаврилович.

— Мы-то? А мы питерские, батюшка, с-под Луги. Город есть такой, Луга называется. Слыхал? — извозчик живо обернулся назад, с любопытством оглядел седока.

— Слыхал. А в Питере давно?

— Всего-то третий день, да уж срок назад поворачивать.

— Что так?

— Да вишь, батюшка, воля вышла, землю, слышно, обрезывать будут. Срок дома быть.

— Что ж ты, всего на три дня и приезжал?

— Дак не своей волей, милый человек. Барину обоз из деревни доставили. Наши все уж и ушли обратно, я один остался. Дай, думаю, хоша сколько поездию по Питеру. Барин меня отпустил. Барин у нас молодой. Ничего, добрый барин.

— И ты на этой таратайке шел в обозе? — постучал Николай Гаврилович по деревянному сиденью линейки.

— Не, эта карета не моя,— засмеялся извозчик.— Эта уж я тут, у земляка, одолжился. Я в Питере не вново. Был молодой, дак три года ездил. Был на оброке.

— Говоришь, добрый у вас барин? Что же он вам не отдаст вашу землю, когда добрый? Взял бы и отдал, не обрезывая, без выкупа.

— Даром, значит?

— Даром.

Извозчик снова обернулся назад, посмотрел на седока с понимающей ухмылкой: тоже, мол, и мы понимаем шутку.

— И есть, значит, такие господа, которые отдают?

— А ты сам как думаешь, есть такие господа?

Опять извозчик обернулся к седоку с ухмылкой, покрутил головой. Но отвечать не стал. Вместо ответа — что, мол, пустое толковать? — он подобрал вожжи, хлестнул лошадь, погнал ее ходкой рысью.

Выждав паузу, пока пересекали площадь с монументом и за сквером поворачивали налево, к Адмиралтейской площади, Николай Гаврилович снова заговорил с извозчиком. Спросил его:

— Ну и что вы будете делать, когда обрежут у вас землю?

Извозчик ответил не сразу. Подумал, придержал лошадку, перевел ее бег в спокойную трусцу и в свою очередь спросил:

— А много ли, батюшка, обрежут? Ты небось знаешь. Мы народ темный, что мы знаем? Что понимаем?

— По указу у вас могут отрезать от четверти до половины той земли, которой вы теперь пользуетесь.

— Вишь ты! И за эту обрезанную землю положат сколько-то работать на барина? Сколько жа?

— Покуда не отработаете все, что стоит эта земля. Но что ее оценит барин.

— К примеру, эт-та, значит, как придется-то? Как, значит, работать? Сколько жа? Изменится что?

— Ну, первые два года ничего не изменится, земля межеваться будет. Потом вы будете срочнообязанными при своих помещиках. Что это такое? Разницы по сравнению с теперешним положением почти никакой, ни уйти от барина нельзя, ни надел оставить. Это на семь лет, как обещает бумага, а на деле-то, пожалуй, и все семнадцать выйдет, а то и двадцать семь, с проволочками-то. Знаешь небось, как у нас дела делаются. Все это время будете те же крепостные. Потом вас переведут на выкуп, то есть будете уже не с барином, а с казной иметь дело, вносить в казну остальные платежи, пока не погасите всю выкупную сумму. А сколько будете ее погашать, это, брат, одному богу известно, может, и на всю вашу жизнь, и на жизнь ваших детей хватит.

— И чего, скажи ты на милость, баре на землю эту чарюются? Требуют плату за эту землю? Она всегда крестьянская была. Крестьяне с нее кормились. А у барина — своя земля, барщиной покрывалась. Будто ему мало той земли? У него одного ее столько, что у всего крестьянского обчества.

— Крестьянская, говоришь, земля?

— Крестьянская.

— А чего ради, скажи, барщину помещику вы справляете?

— Как чего? Справляем и справляем,— мужик озадачился.— Так было спокон веку...

— Вот именно, что спокон веку. Нет, брат, не крестьянская то земля. По указу вся земля в имении принадлежит помещику — и барская, и та, с которой вы кормитесь. Тебе барин только разрешение дал ее пахать либо сено с нее косить, за что ты и отрабатываешь ему барщину. Теперь земля, которую тебе отмежуют, будет твоей, точно. Но после того, как ты за нее сполна отработаешь. А вот отработаешь ли, это, брат, темно. Об этом судить не берусь. Знаю одно: худо вам, мужикам, придется. Было худо, а будет и того хуже. Жаль мне вас.

— Дак, значит, что жа? Работать придется поболе прежнего?

— Да уж это так.

— Да как жа так? Объясни, сделай милость.

Извозчик сидел теперь боком, слушал жадно, задрав кверху острую бороденку.

— А вот, к примеру, было у вас в обществе на тягло по четыре десятины в поле, оставят по три или даже по две десятины. И за две десятины будете справлять барщину почти такую же, как прежде за четыре десятины. А кто на оброке, те плати оброк почти такой же, как прежде за четыре десятины. Словом, повинности почти не уменьшатся. А земли убудет четвертая часть, а то и половина. А скажи, сможете вы обойтись половиной земли?

— Где же, батюшка, обойтись? Никак не обойтись.

— Значит, всем миром пойдете к барину на поклон, станете просить: дай землицы побольше, больно мало по царскому указу оставили, не прокормиться. Он даст. От-

чего не дать? Ему нет никакого расчета, чтоб его земля пустовала. Даст. Вот ту землю, что отрезал от ваших наделов, и даст. Но скажет: мне за нее прибавочную барщину справляйте либо прибавочный оброк давайте. Да и заломит, сколько хочет. Так что нынешние повинности еще покажутся пустяком. А легки ли они? Может, ты даже и не знаешь, что за зверь такой недоимка? А? Знаешь или нет? Что ты молчишь?

Мужичонка через силу ухмыльнулся, ему было не до шуток. Проговорил невнятной скороговоркой, лишь в угоду содоку:

— Как жа не знаем. Где уж. Как жа...

— Разорит вас барин, а там и вовсе с земли сгонит, когда кончится срочнообязанное время и вы от него отходить сможете. Будет теснить да жать, да сожмет так, что уйдете. А земля-то ему достанется. Или, пожалуй, тогда уж не ему достанется, а миру, тем из ваших, кто покрепче, кто общество в кулаке держит, мироедам вашим, кулакам. Только куда уйдете-то? В города? В городах, на фабриках, везде полно, народу не требуется. Один выход — в батраки наниматься. Небось не сладкая жизнь в батраках и теперь, а что будет, когда тысячи народу будут шататься по селам? А так будет, дело к тому идет... Ты не серчай, что я так говорю. Ты попросил объяснить, я и объясняю, как понимаю. Так ли будет, не так, поживем — увидим. Но утешить тебя мне нечем.

— Эх, батюшка, что уж. Лучше не будет, уж, видно, так. Да что жа делать? Как будет, так и будет. На все божья воля.

— Воля-то божья, конечно. Бог — великий заступник, что и говорить, особенно за вашего брата, мужика. Да только обрежут у вас землю, на бога не посмотрят.

— А что сделаешь? И обрежут. На борозду не ляжешь, руками не закроешь. Как начальство решит, так и будет. Начальству перечить не будешь. Кишка тонка.

— А вы пробовали?
— Перечить-то?
— Да, перечить.
Извозчик засмеялся:
— Пробовали.

Они уже подъезжали к Благовещенскому мосту, и извозчик пустил лошадь шибче, торопясь пересечь набережную, по которой слева и справа беспрерывно катили экипажи. Когда въехали на мост, он снова придержал лошадь, перевел на шаг, быстрее ехать все равно было нельзя, впереди едва тащилась лесовозная повозка, на которой везли какую-то деревянную крестовину шириной чуть не во весь проезд. Николай Гаврилович пересел поближе к извозчику, и тот стал рассказывать.

Теперь можно было лучше рассмотреть его лицо. Обыкновенное мужицкое лицо, худое, заостренное, с обветренными губами и скулами, жиденькой бороденкой; только глаза выделялись, да и то, если присмотреться. Глаза у него были сильно прикрыты опущенными веками и оттого казались сонными, но под приспущенными створками они жили энергической жизнью, летали из стороны в сторону, жадно выхватывая все, что можно было выхватить из окружающего, были цепки, хитроваты. Он, верно, знал эту особенность своих глаз и не очень-то любил смотреть в глаза собеседнику, не желая открываться, взглядывал часто и быстро, и отворачивал лицо в сторону, должно быть, считал для себя выгодным быть возможно менее заметным.

— Пробовали, значит, в запрошлом лете,— заговорил он доверительно.— Сперва подняли булгу в имении предводителя уезду. Пятьдесят человек одной деревни да пятьдесят человек другой деревни согласились не выходить на полевую работу к барину. Согласились и не пошли. Приказчику сказали: господского хлеба и сенокосов убирать не будем, подвод давать не будем. Скоро будет

поли, и нас наказывать не будут. А мы-то, соседнего имения, деревня Заяшпя, ждем, что будет. Накажут ли, нет ли предводительских? И чем дело кончилось? Известно чем. Становой...

— Постой,— перебил его Николай Гаврилович.— Говоришь, сперва начали предводительские. Почему же сперва они? У них, что же, перед этим случилось что-нибудь?

— А что случилось? Ничего не случилось. А сперва они начали.

— Почему же они? А не вы, к примеру? Или другие кто?

— А завсегда есть такие, которые первые начинают.

— Всегда есть, которые первыми начинают?

— Ну да, которые первые начинают. За ними и другие и все идут. Они и спины первые подставляют. Их первых секут,— посмеялся мужичок и продолжал, поощряемый особым вниманием седока.— У них, видишь, объявился в деревне Остров Варлаам Кузьмин, он-то и начал. Он да три других таких жа, всех и подбили. К нам ходили, чтобы, значит, и мы согласились. У нас тожа объявились некоторые, очень шумели, подбивали согласиться. И что жа? Как началась булга, становой хотел взять Варлаама Кузьмина под стражу, а народ не дал. Через день прислали воинскую силу, посекли, кого следовало, и зачинщиков, Кузьмина и других и наших несколько, увозили в Лугу, а кого и подальше. Вот тебе и попробовали.

Ехавшая впереди телега вдруг остановилась, что-то с нею стряслось, крестовина сильно наклонилась вправо, заваливая повозку, сопровождавшие груз мужики засуетились вокруг повозки. Теперь можно было и объехать ее, и извозчик поспешил воспользоваться этой возможностью.

Когда объехали телегу, Николай Гаврилович спросил:

— Ну хорошо, это было прежде. А теперь что?

— А что теперь? — насторожился вдруг мужичонка.

— Читали вам манифест?

— Ничаго теперь,— ответил мужичонка, сделав вид, будто не слышал второго вопроса, и забубнил невнятной скороговоркой.— Ничаго не знаем. Что мы знаем, что понимаем?

Ему явно не понравился вопрос о манифесте, он насупился, пересел подальше от седока. Николай Гаврилович не стал больше его беспокоить.

Когда выехали на Большой проспект, Николай Гаврилович показал, к какому дому править, и спросил, не особенно рассчитывая получить ответ:

— Как тебя зовут? Может, встретимся когда. А то, буду в ваших краях, в вашей Заяшне, так загляну. Любопытно мне знать, как вы будете устраиваться по-новому. Как ты, примешь гостя?

Извозчик отозвался с неожиданной готовностью, будто и не отворачивался только что.

— Будем рады,— сказал он солидно, вполне, видно, удовлетворенный тем, как объяснил седок свою довольно странную просьбу.— А зовут меня Федор Потапов Михеев.

Расплатившись и попрощавшись с ванькой, Николай Гаврилович пошел к дому.

3

У подъезда стояло несколько экипажей, по крайней мере один из них был к Николаю Гавриловичу, это была карета Некрасова. Должно быть, она только что подъехала, кучер еще ходил вокруг неостывших, фыркающих, звенящих железом, роняющих пену лошадей, поправлял упряжь.

Дома оказались и еще гости помимо Некрасова — Михайлов и Шелгунов. О Шелгунове говорили его военная шинель, висевшая в передней, и сабля, небрежно брошен-

ния на подзеркальник, о Михайлове — его голос, доносившийся из зала: как всегда, он ораторствовал, другие слушали.

Ожидал же Николай Гаврилович застать дома иного гостя, издателя-редактора «Экономического указателя» Ивана Васильевича Вернадского, с которым несколько лет назад он вел в печати полемику об общине и с которым в последние дни вошел в отношения довольно неожиданные. Все началось с того, что в конце февраля между некоторыми петербургскими редакторами и литераторами на большом обеде, на котором угощали цензоров, зашел разговор о том, какими средствами можно было бы облегчить положение печати. На этом обеде были и Вернадский и Чернышевский, оба высказали свои суждения. Николай Гаврилович сказал о том, что неплохо было бы составить записку о положении печати, изложить в ней некоторые требования, и прежде всего — об освобождении печати от предварительной цензуры, предложить подписаться под нею всем петербургским и московским редакторам и подать правительству как адрес российской журналистики. Мысль об адресе всем понравилась, и Вернадский предложил Николаю Гавриловичу составить такую записку. Николай Гаврилович согласился. Вернадский объявил, что им давно написан проект цензурной реформы, тут же пересказал его и предложил Николаю Гавриловичу воспользоваться отдельными пунктами. Николай Гаврилович составил записку, два дня назад завез ее Вернадскому, не застав его, оставил у него записку со своей визитной карточкой, на которой написал, что будет у себя дома в четверг во второй половине дня.

— Приходил ли еще кто? — спросил Николай Гаврилович у прислуги, открывшей ему и объявившей, что барыни дома нет, дети с бонной гуляют, а Николая Гавриловича дожидаются три господина, которых приняла Евгения Николаевна.

— Приходили-с господин, ждать не могли, велели передать пакет. Я сейчас,— девушка выбежала из передней.

Пока Николай Гаврилович раздевался, она вынесла из людской пакет и визитную карточку Вернадского.

«Так и есть. Жаль»,— увидев имя Вернадского, подосадовал Николай Гаврилович, что упустил гостя.

— Давно был господин?

— Совсем недавно, часу не прошло.

«Жаль. Мог бы его захватить»,— опять с досадой подумал он о бесполезно потраченном часе, о ненужной прогулке с этой странноватой А. Ф. Развернул пакет. В пакете была его записка с карандашными пометками Вернадского на полях. На карточке было написано: «Некоторые пункты надобно обсудить».

— А эти господа давно пришли? — спросил Николай Гаврилович, показав в сторону зала.

— Уж после того господина. Сперва Михайла Ларионыч с военным приехали. А Николай Алексеич только перед вами взошли.

— Вот что, Оля. Оденься, пожалуйста. Я сейчас напишу письмецо, а ты снеси на почту. Это надо сейчас сделать.

— Хорошо, Николай Гаврилович.

Он прошел к себе, написал на листке: «Милостивый государь, чтобы опять нам не разминуться, будьте дома в субботу, в 11 часов утра»,— запечатал в конверт, надписал адрес Вернадского и вынес письмо и медь Ольге, уже одетой. Выпустил Ольгу из квартиры и пошел в зал.

— А, наконец-то! А уж я было собрался уезжать, да вот сестрица ваша удержала, говорит, что вы непременно должны быть,— засипел своим слабым голосом Некрасов, поднимаясь навстречу.— И я так думал, что вы должны быть. Я заезжал в типографию, там сказали, что вы ушли. Приезжаю сюда — вас нет. Где же может пропадать же-

пятый запятой человек еще молодых лет, который клубов не посещает, визиты не любит делать, друзей предпочитает принимать у себя дома? Ответ один: он в обществе молодой дамы. Значит, скоро не жди.

— Вы угадали,— в тон ему ответил Николай Гаврилович,— я действительно после типографии провожал домой молодую даму.

— В таком случае умолкаю. Будем считать, что я ничего не сказал. А к вам я по такому делу,— поспешил Некрасов перевести разговор, увидев, что его невинная шутка неожиданно оказалась двусмысленной,— чего доброго, Чернышевский подумает, будто он, Некрасов, следил за ним, если тот действительно, как говорит, провожал какую-то даму.— Дня два назад сказал мне Антонович, что вы с Вернадским, Благосветловым и компанией затеяли какие-то хлопоты по поводу цензуры. Я не поверил. А вчера встретил Вернадского, и он подтвердил это, более того, сказал, что вы составили проект будущего адреса редакторов, который Вернадский уже читал и в полном восторге от него. Вы что, всерьез влезли в это дело?

— Всерьез.

— Вы не рехнулись? Да что же из этого может выйти? Вы что же, уверены, что добьетесь отмены цензуры?

— А почему нет? — с улыбкой ответил Николай Гаврилович.

— Бросьте, не смешите. Скажите прямо, чего вы хотите?

— Чего я хочу? Хочу, чтобы не было цензуры. Хочу, чтобы обстоятельства русской жизни расположились таким образом, чтобы в массе народа появилось больше людей, имеющих силу инициативы, притом людей, в которых честность соединена с проницательностью. Чтоб перестали, наконец, простаки позволять плутам помыкать собою, водить себя за нос...

— Вы все шутите. Дайте мне по крайней мере прочесть этот ваш проект. Он у вас?

— Да. Сейчас принесу.

Николай Гаврилович принес записку. Некрасов полистал рукопись.

— Да тут много написано. Можете дать мне эту рукопись с собой? Сейчас мне некогда читать. Завтра я вам ее завезу назад.

— Хорошо.

Некрасов посмотрел на Михайлова:

— А вы это читали?

— Нет.

— Может, хотите посмотреть? Пока я здесь.

— Да нет, не нужно,— равнодушно ответил Михайлов.

— Не интересует?

Михайлов пожал плечами, ответил уклончиво:

— После прочту.

— А вы, Николай Васильевич?

— Да? — Шелгунов был занят разговором с Еничкой и не слыхал, о чем говорил Некрасов.

— Вы не читали проект Николая Гавриловича?

— Нет, не читал.

— Не хотите ли полистать? А то я его увезу.

— Нет, спасибо,— ответил Шелгунов и снова повернулся к Еничке. Он сидел на стуле боком, в небрежной позе, обняв спинку стула и закинув ногу за ногу, нагнувшись к сидевшей на низком диване Еничке, как бы нависая над нею, и был сейчас похож на изображения Мефистофеля своим резким профилем — острым носом, хищно сощуренным глазом, тонкой бровью, широкой дугой взлетавшей к виску. Облик его, однако, был обманчив, при всей своей внешней колючести это был человек редкой доброты. Николай Гаврилович испытывал к нему особого рода нежность. Это чувство нежности возникло после

того, как Николай Гаврилович узнал историю отношений Шелгуновых и Михайлова, как бы повторившую его собственную семейную историю, и не его только — многих, многих других семей, историю, в которой Шелгунов держал себя с благородством, мало сказать, немногим доступным, но примеров которого, может быть, и не было еще между людьми.

Николай Гаврилович про себя посмеялся, заметив удивление Некрасова, не ожидавшего такого равнодушия Шелгунова и Михайлова, приятелей Николая Гавриловича, к его проекту.

— Ну, как угодно,— Некрасов свернул рукопись и сунул в карман своего просторного пиджака. Из другого кармана вытащил другую рукопись и протянул Чернышевскому.— Это от Добролюбова. О пьемонтском парламенте. Хорошо бы в третью книжку. Посмотрите и пошлите Бекетову. Впрочем, можете не смотреть, статья хорошая. Интересно, что Бекетов скажет?

— Где теперь Добролюбов?

— А разве он не пишет вам?

— Давно не получал от него ничего. Хотя с января отправил ему два или три письма. Но он, кажется, на месте не сидит. Так где он?

— Во Флоренции. Впрочем, может, уже в Риме.

— Что он пишет?

— Спрашивает, когда ему возвращаться.

— Вы ему уже ответили?

— Нет, подожду, что Бекетов о статье скажет.

— И что же вы ответите, когда ему возвращаться?

— Да когда возвращаться? В мае — и не позднее августа. До осени мы, положим, перебьемся, а в августе, ближе к подписке, надо ему быть. Конечно, если будет здоров. Задирающего у нас маловато. Да и вы могли бы съездить в Саратов.

— Что еще он пишет?

— Тревожится насчет денежных дел. Как будет да что будет. Опасается быть должным «Современнику». Странное нынешнее молодое поколение! Я в его лета был в долгу как в шелку и не унывал. И ничего, не пропал. Напишите вы ему от себя насчет денег, пусть не беспокоится. Мы идем хорошо, сейчас у нас за шесть тысяч подписчиков, ни у кого столько нет. Что же беспокоиться?

— Хорошо, напишу.

Разговаривали они уже вдвоем, прохаживаясь по залу, Михайлов оставил их, когда Некрасов заговорил о статье Добролюбова, и присоединился к Шелгунову и Еничке. Вид у Некрасова был неважный. Он покашливал, болезненно морщился. Почти неделю они не виделись, не было надобности, третья книжка журнала печаталась, цензура терзала умеренно, главными заботами Чернышевского в эту неделю были типографские заботы, Некрасова — текущие редакционные дела. Николай Гаврилович хотел было спросить его, что с ним, но Некрасов сам заговорил:

— Какое гнусное время. Как на станции, когда долго нет поезда. Все из рук валится. Ни к чему не лежит душа. Город как будто при осаде неприятеля. Все как-то тупо мечутся, чего-то ждут. А чего ждать! Ждать-то нечего,— он вопросительно посмотрел в лицо Чернышевскому, но тот молчал.— Тут еще горло. Кажется, мне угрожает перспектива долгого хворания. А это гаже смерти. Поехать бы куда. Всего лучше в деревню. Авось переломил бы болезнь. Хоть бы вы заходили, что ли. Приходите-ка с Ольгой Сократовной обедать. Посидим, потолкуем о том о сем. Стихи почитаем. Старые. Приходите завтра, а? Кстати, и проект свой заберете.

— Хорошо, я скажу Ольге Сократовне.

— Пробовал новое писать, и ничего не выходит. Кажется, я уж больше никогда не буду писать стихов. Чувствую, что тупею. Только и остается, что писать для

«Свистка». Перекладывать в рифму анекдоты. Посоветуйте, что мне делать! Гнусная жизнь!

— Да, это бывает,— заметил Чернышевский.— Вот Гёте одно время вообразил, что ему следует перекладывать ученые мысли в стихи. И ничего больше не делал.

— Да? — Некрасов посмотрел на него с изумлением.— И что же?

— Написал стихотворение «Метаморфоза растений» о превращении одних органов растений в другие. Доказывал, что сходство органов различных растений можно рассматривать как этапы эволюции.

— Ну и что? А потом что?

— Потом ничего. Написал «Фауста».

Это было сказано с тем особым добродушием, как бы рассеянностью, с каким мог иногда сказать Николай Гаврилович, так что невозможно было удержаться от смеха. Некрасов засмеялся. Он смеялся тихим, неслышным смехом и долго не мог остановиться. И Николай Гаврилович смеялся, добродушно глядя на него.

— Ох, насмешили. С вами не соскучишься, Николай Гаврилович. Ну, утешили. Ну, спасибо. Однако надо идти. Так приезжайте завтра! Господа, прощайте,— повеселевшим голосом обратился Некрасов к молодым людям и, посмеиваясь, пошел из зала.— Да, мне бы «Фауста» этак невзначай...

Проводив его, Николай Гаврилович вернулся в зал.

— Чем вы его рассмешили? — спросил Михайлов.

— Я его утешал. Он совсем закис. Жаловался на время. Время теперь нехорошее. Неизвестно, чего ожидать,— сказал Николай Гаврилович, подумал, усмехнулся и еще сказал.— Рассказать вам, как он встретил «великий день»? Прихожу к нему утром, он еще не вставал, лежит, руки вытянуты вдоль тела, в одной руке печатный лист с манифестом, глаза потуплены в грудь. Увидел меня, встрепенулся, поднялся на постели, стиснул лист

и говорит с мукой: «Так вот что такое эта «воля». Вот что такое она!» И в таком духе говорит минуты две. Когда остановился перевести дух, я ему говорю: «А вы чего же ждали? Давно было ясно, что будет именно так».— «Нет,— говорит,— этого я не ожидал. Разумеется, ничего особенного не ждал, но такое решение дела — это ни на что не похоже!» Вот вам Николай Алексеевич. А сколько было разговоров, сколько извели чернил, расписывая, каким оно будет, это решение. Так-то мы понимаем друг друга.

— Хорошо, это Некрасов,— смотрел на Чернышевского с недоумением Шелгунов.— А вас как понять, Николай Гаврилович, с этим вашим цензурным проектом?

Чернышевский засмеялся:

— Да вздор! Не стоит об этом говорить. Будемте говорить о деле. Вы ведь с делом? — он решительно отклонял разговор о проекте.

— Да, есть дела поважнее ваших разговоров с Вернадским.

— Пойдемте ко мне. Еничка, ты извини, мы оставим тебя. Нам нужно поговорить между собою.

Еничка, не спускавшая с брата преданных глаз во все продолжение разговора, даже вспыхнула вся, внезапно взволновалась чуть не до слез от этих его слов, этого извинения,— все в ней вдруг взроптало от смущения и от обиды: она готова для него умереть, а он перед ней извиняется, как перед светской барышней, оправдывается! Значит, еще не доверяет ей? Не принимает ее готовности пожертвовать ему, служить ему всем, всем? Они живут полгода вместе, видятся по нескольку раз в день, и он еще не понимает ее?! Она вскочила, и замахала руками, и засмеялась, чтобы скрыть смущение и обиду:

— Уходите, уходите! Будто мне без вас дела нет!

Мужчины пошли из зала. Когда они уже были в коридоре, в передней звякнул дверной звонок. Николай Га-

рилович задержался посмотреть, кто там пришел. Кухарка открыла дверь. Это Ольга вернулась, разрумянившаяся, тугие щеки как два налившихся китайских яблочка, успела уже сбегать на почту, а может, сдала письмо в лавке на углу 2-й линии, там тоже принимали письма.

— Отдала, Николай Гаврилович,— заметив его в открытую дверь, весело доложила Ольга.

4

Вошли в кабинет, и Михайлов заговорил горячо, уже не скрывая волнения, не считая нужным сдерживаться. Он не стал садиться, подойдя к столу, взялся за спинку стула и, нервно поигрывая им, то наклоняя к себе, то со стуком отбрасывая к столу, говорил:

— Я не хотел при Некрасове говорить, но новостей много. Даже странно, что он ничего не замечает. С кем он видится? Время отнюдь не такое, чтобы киснуть. Прежде всего надобно сказать, что Жераковский, когда мы здесь у вас сошлись в понедельник... или во вторник?

— Во вторник,— подтвердил Чернышевский.

— Да, во вторник... Жераковский оказался прав, когда говорил о всеобщем недовольстве крестьян манифестом и о бунтах, что бунты неизбежно будут происходить повсеместно. Так и есть, господа. Есть новые сведения и о бунтах, и о действиях воинских команд против населения.

— В Киевской губернии? — спросил Чернышевский.

— А вы уже знаете? Да, и в Киевской губернии, и в других местах. Но об этом после. Сперва вот что. Замечательно, как принимают крестьяне манифест. Представьте, они не верят, что манифест — подлинный,— Михайлов засмеялся.— Они считают, что этот манифест сочинил не царь, а помещики, а настоящий манифест скрыли чиновники, подкупленные помещиками. Есть и такие толки, что манифест и Положения настоящие, но непра-

вильно читаются и объясняются чиновниками. И в деревнях теперь их читают сами мужики. Грамотеи из мужиков ходят от деревни к деревне, читают и толкуют по-своему. Можно себе представить, в каком духе толкуют.

— В каком? — поинтересовался Николай Гаврилович.

— Во всяком случае, не в таком, в каком могли бы толковать, если бы рядом с ними теперь были их просвещенные доброжелатели. Словом, господа,— у Михайлова невольно зазвенел голос от волнения, как ни старался он говорить буднично, опасаясь въехать в пафос,— пришел и наш час. Я считаю, теперь самое время обратиться к народу с воззванием. И не с одним!

— И не только к народу...— начал было Шелгунов, но Михайлов не дал ему говорить.

— Да, и к обществу, и к войску, ко всем тем группам населения, о которых мы говорили зимой! Народ пришел в движение. Надо попытаться организовать движение, пока не поздно. Тем более что у нас теперь есть для этого кое-какие возможности.

— Есть? — спросил Николай Гаврилович.

— А вы в этом сомневаетесь? Конечно, есть. Вспомните, как два года назад, когда начались питейные бунты, мы горевали, что даже написать не к кому, чтобы узнать, что делается в губерниях. А теперь во всех университетских городах составились кружки. Вот Жераковский даже хлопочет о том, чтобы соединить все военные кружки в Петербурге и в Литве в федерацию. А если объединить все тайные кружки по всей империи...

— Вот то-то, что если.

— Не все сразу! Но факт, по крайней мере, что в России уже есть сотни образованных молодых людей, которые готовы действовать решительно и могут завтра стать руководителями восставших крестьян. Нужно только согласовать их действия.

— Всего-то задача крепко устроенного тайного общества, связанного правильными отношениями центра и местных групп...

— Будем ждать, когда соберем такое общество? И не воспользуемся сложившимися обстоятельствами? Да кое-какие кружки можно и теперь объединить! Мы можем воздействовать на эту среду воззваниями. Теперь у нас есть возможность это осуществить, и мы не воспользуемся ею?

— Отчего же? Нужно воспользоваться. Когда она есть.

— Вы и в этом сомневаетесь? Не верите в московскую типографию? Костомаров мне пожаловался, что вы не захотели с ним говорить о типографии. Напрасно.

— Господа, не отвлекайтесь,— сказал Шелгунов.— Решим главное: пишем воззвания или нет? Если да, обговорим их содержание — и за дело. Мое мнение: писать, и не откладывая. Николай Гаврилович, ваше мнение?

— Что ж, напишем,— сказал Николай Гаврилович просто и приготовился дальше слушать Шелгунова.

Но Шелгунов неожиданно замолчал. И Михайлов молчал. Друзья смотрели на Чернышевского вопросительно, но вполне, видимо, понимая его отношение к делу. Он спросил:

— Вы хотите, чтобы я высказался?

— Да,— подтвердил Михайлов.— Вы как будто не уверены, стоит ли нам приниматься за это дело?

— Вовсе нет. Я согласился с Николаем Васильевичем: нужно приниматься.

— В таком случае непонятен ваш скептицизм. Кажется, зимою мы обо всем основательно договорились. Может быть, в ваших планах что-нибудь изменилось?

— Ничего не изменилось, господа. Просто меня занимают некоторые общие соображения, о которых, может быть, теперь и не стоит говорить. Но, если угодно, я их выскажу.

— Да, лучше все теперь же разъяснить. Чтобы между нами не оставалось ничего неясного.

— Извольте. Но повторяю: это очень общие соображения...

Пока говорили, стемнело, и Николай Гаврилович зажег обе свечи. Поставил их на стол, а сам отошел к конторке, прислонился к ней и заговорил, перебирая пальцами часовую цепочку:

— Видите ли...— он вдруг остановился, задумался, оставил цепочку, сложил руки на груди, через секунду продолжал: — Дело-то вот в чем. За годы изучения истории я пришел к выводу, что не только в России, а и в Европе не сложились еще условия для того, чтобы массовые народные движения могли приводить к удовлетворительному результату, удовлетворительному для массы — и теперь же после событий. Ни один народ до сих пор не спасал сам себя.

Это какая-то насмешка судьбы, вечно и всегда одно и то же: выходит работник, собирает помощников, зовут людей на общее дело для их блага. Собралась масса, готова действовать. Начали дело, сделали половину его, много сил положили — является плут, начинает шарлатанить, интриговать; разинули рты, слушают — и пошла толпа за ним. Он ведет их в болото, они тонут, восклицая: «Помыслы наши чисты!..» Чисты-то чисты, да жаль, что они со своими чистыми помыслами погибают. А у работника остается мало товарищей, они надрываются, продолжая дело в малом числе,— надорвутся, пропадут. И не того жаль, что пропадут они, а того, что дело остается не сделано. И хоть бы только не сделано, нет, хуже того: компрометировано. Являются мерзавцы и кричат: «Они хотели и не могли; значит, нельзя». Нация повторяет: «И правда, нельзя. Только пропадешь. Лучше будем смирны и послушны людям, которые рассуждают так благоразумно». И получают власть люди хуже прежних. От

древнейших времен и до нынешних одна и та же история.

Начав как будто спокойно, Николай Гаврилович теперь вынужден был остановиться, чтобы сбавить тон.

— Конечно, сделанное не пропадает,— продолжал он.— Прогресс в истории все-таки совершается, хотя и медленно, очень медленно. Правда, чтобы заметить этот результат, надобно сообразить ход событий за довольно продолжительное время, в иные эпохи для этого и столетий мало... К чему я это говорю? — вдруг оборвал себя Чернышевский.— К тому, чтобы мы ясно себе представляли, чего нам ожидать от ближайшего будущего. А многого ожидать не приходится...

— От нынешних бунтов? — спросил Михайлов.

— Да. В любом случае, разовьются ли нынешние крестьянские бунты в широкое движение, или так отдельными вспышками дело и кончится, и в том и в другом случае *теперь* толку будет мало. Это мы должны признать со всей трезвостью. Ничего не достигнет нация при теперешнем расположении умов в массе крестьян. Одни надежды крестьян на царя чего стоят. Словом, связывать какие-либо серьезные расчеты с нынешним движением, заботиться об его организации нет никакого резона. Мы производительнее употребим свои силы, если будем готовить *будущее* движение. Готовить, используя нынешнее оживление и все те новые обстоятельства, о которых вы упоминали...

— Постойте,— перебил его Михайлов.— Почему же вы думаете, что не разовьется широкое движение?

— Ему не из чего развиваться.

— Как — не из чего? А манифест? Нынешние бунты — прямая реакция мужика на манифест. И это только начало.

— Реакция на манифест — это реакция на слова. Так ли будет, как сказано в манифесте, или не так, мужик

это не знает наверное. Не словами поднимается народ, а фактами, обстоятельствами жизни.

— Ну хорошо, манифест — слова. Но через два года, когда кончится межевание земли и крестьян посадят на обрезанную землю, что же, и тогда ничего не будет?

— Через два года можно ожидать событий, так. И к этому времени надо готовиться. Однако и через два года едва ли будет что серьезное. Но готовиться надо. И вот что, на мой взгляд...

И снова его перебил Михайлов:

— Но если так, если ничего не будет и вообще пока не может быть толку от массовых движений, зачем тогда во все это и мешаться? Может, и не надо мешаться?

Чернышевский улыбнулся: Михайлов забавно вывернул его мысль.

— Надо готовиться к будущему. Для *этого* надо мешаться,— ответил Чернышевский.

— И мужика к этому призывать?

— И мужика призывать.

— Да ведь он глух к словам? Не услышит.

— А это уж от нас зависит, как с ним говорить.

— Ах, вот как.

— Да, так. Сейчас мы мало что можем сделать. Но надо же когда-то начинать. Момент для этого благоприятный, в этом вы правы, Михайла Ларионович. Надобно воспользоваться сложившимися обстоятельствами.

Михайлов, покачав головой, сказал с досадливым выражением:

— Ни к чему усложнять, Николай Гаврилович. Дело просто. Что для нас теперь важно? Важно то, что мы теперь знаем, что мы должны делать сегодня. Это и надобно делать. А что будет завтра — увидим завтра.

— Что ж, можно и так,— согласился Николай Гаврилович, не было смысла дальше спорить, Михайлов все равно бы теперь не стал слушать, не принял никаких

розопов, он был в ударе энтузиазма, что тут можно поделать? Повернулся к Шелгунову: — Вы хотели говорить о прокламациях?

— Да,— сказал Шелгунов,— подумаем, как будем писать, о чем? Ну, что касается крестьян, тут ясно. Объяснить суть реформы — главное. Хорошо бы писать в виде письма: «С поклоном к крепостным крестьянам...»

— «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон»,— предложил Чернышевский.

— Хорошо,— согласился Шелгунов.— И программа действий для крестьян ясна: не лезть теперь на рожон, беречь себя до поры, готовиться к делу. Готовиться к делу,— повторил он задумчиво. Потом, посмотрев на Чернышевского.— Да вот вы, Николай Гаврилович, и напишите к крестьянам. Это по вашей специальности. А мы напишем к солдатам и к обществу... Правда, вопрос: ко всему ли образованному обществу обращаться?

— Нет, только к молодежи! — решительно заявил Михайлов.— К молодому поколению всех сословий. И здесь главное — изложить программу будущего переустройства России, наше политическое и социальное credo... Не смотрите на меня иронически, Николай Гаврилович. Когда-то нужно же изложить нашу программу прямо и полно?

— Нужно. Только нужно бы сперва ее самим себе уяснить.

— В чем дело? Вот и уясним. Мы с Николаем Васильевичем кое-что набросали... Вот основные пункты.— Михайлов достал из кармана сюртука клочок бумаги и, наклоняясь к свече, заглядывая в листок, перечислил пункты.— В основе всего — народоправие, власть выборная и ограниченная, представляющая собою развитие уже существующего в нашем народе начала самоуправления; наша сельская община есть основная ячейка, собрание таких ячеек есть Русь. Равенство всех перед законом, никаких

сословных барьеров и привилегий. Земля должна принадлежать не лицу, а стране, владение землею только общинное с переделами через большие сроки. Полное уничтожение следов крепостного права: уничтожение переходного состояния освобожденных крестьян; немедленный выкуп всей помещичьей земли правительством или всеми сословиями страны. Уничтожение цензуры; телесных наказаний; императорской полиции... Ну и дальше об армии. Что тут, на ваш взгляд, не годится?

— Если земля объявляется принадлежащей не лицу, а стране, при чем тут выкуп?

— Я не упомянул, что мы имеем в виду заявить о двух путях решения крестьянского вопроса: мирном — через выкуп земли и передачу ее общинам — и революционном — через насильственный раздел земли, если правительство и общество не пойдут на выкуп.

— А вы еще надеетесь на это?

Михайлов засмеялся:

— Да как сказать? Нет, конечно, на что же надеяться? Но лишний раз воззвать к здравому смыслу... — ему не хотелось останавливаться на этом темном пункте.— Ну, а еще что?

— Вы ничего не говорите о промышленности — заводы, фабрики кому должны принадлежать? Может быть, вы не все пункты прочитали?

— Нет, основные — все,— Михайлов снова засмеялся и переглянулся с Шелгуновым. Похоже, что и на этом пункте ему не хотелось бы задерживаться.

— Судя по тому, как вы вводите в программу общинное начало, вы как будто за безусловную отмену частной собственности. Так кому же должны принадлежать фабрики и заводы — вашей сельской общине? Или товариществам рабочих? Или государству? Это бы уточнить не мешало. Или, может быть, вы заявляете себя принципиальными противниками промышленного развития Рос-

сии, городской цивилизации? Если же нет, почему бы вам,— поспешил Николай Гаврилович еще спросить, чтобы не дать Михайлову уклониться от продолжения разговора,— почему бы вам прямо не объявить свою программу социалистической или коммунистической? Если вас смущают эти европейские термины, можно найти русские, близкие по смыслу.— Все это он говорил простодушным тоном, зная больное место Михайлова, увлекавшегося самобытническими теориями, и об этих-то теориях и желая говорить, вызвать друзей на этот разговор своею простодушною прямотою.— Не можете найти?

Нервный, легко возбудимый Шелгунов, не выдержав иронии Чернышевского, ответил с невольной запосчивостью, резко:

— Чепуха, что значит — можете, не можете? — Но тотчас переменил тон, заговорил в обычной своей суховато-деловой манере: — Дело не в этом. Мы действительно думали о термине. Между прочим, думали об вашей экономической теории трудящихся. Но все сразу не решить. Впрочем, мы еще вернемся к этой теме. А пока сделаем так. Напишем тексты и тогда продолжим разговор. Уже по текстам. Иначе мы никогда их не напишем. Время, господа, не терпит.

— Хорошо,— согласился Чернышевский.— К какому времени, вы полагаете, нужно приготовить тексты?

— Через неделю не мешало бы иметь уже готовые тексты,— ответил Михайлов.— К тому времени и москвичи приготовятся. Мы условились с Костомаровым, что он приедет или пришлет кого-нибудь из студентов, когда у них там все будет готово.

— Все будет готово? А теперь — не готово?

— Ах, да, я не сказал: они решили сменить станок, установить более надежный, что ли, и теперь будут заниматься этим. Между прочим, возможно, что им понадо-

бятся деньги, рублей сто — двести. Нужно будет приготовить.

— Приготовим.

— Что ж, господа, прощаемся — и за дело! — весело улыбаясь, Михайлов, так и не присевший ни разу, с грохотом отбросил к столу свой стул.

Друзья вышли из кабинета, двинулись к передней.

Проходя мимо зала, Николай Гаврилович заметил там в полутьме длинноватую фигуру Студенского, бродившего в одиночестве с раскрытой тетрадкой, верно французским словариком, зубрил слова, время зря не терял. Он приходил всегда в четверть седьмого, теперь было около семи, значит, более получаса пробыл здесь, ожидая, когда Николай Гаврилович освободится. С ним Николай Гаврилович почти каждый день работал часа по три, по четыре, диктовал статьи или перевод из Милля. Еничка не было в зале — Студенский был в доме свой человек, его занимать не нужно было,— Еничка, должно быть, возилась с детьми, уже вернувшимися с прогулки, их голоса доносились из детской, примыкавшей к залу.

— Добрый вечер, Алексей Осипович,— заглянул в зал Николай Гаврилович.— Идите в кабинет и приготовьтесь. Сейчас начнем.

— Хорошо, иду.

В передней Михайлов, уже одевшись, вспомнил:

— Да, Николай Гаврилович, а как вам понравился Костомаров? Все хотел вас спросить, и вылетало из головы.

Чернышевский, подумав, ответил осторожно:

— Он еще очень молод. Детского много. Живет больше в мечтах. Хотя умеет и поддакнуть вовремя, и прихвастнуть. Впрочем,— спохватился Николай Гаврилович, заметив улыбки Михайлова и Шелгунова, и поспешил свести свой отзыв к шутке,— он поэт, а поэту полагается быть чуть недозрелым. Вот как Пушкин, Некрасов... Вы

его лучше знаете,— сказал он серьезнее.— И если вы считаете, что он человек дельный, значит, так и есть.

Михайлов, смеясь, ответил:

— Вы неисправимы, Николай Гаврилович. Проживетесь вы с вашею недоверчивостью! Нет, он милый юноша. Много перестрадал. И талантлив. Ну, прощайте!

5

Когда Николай Гаврилович вернулся в кабинет, Студенский уже разложил бумаги на столе, приготовился писать; одну свечу он предупредительно поставил на конторку, где лежали бумаги Николая Гавриловича и листы расшитых томов политэкономии Милля, переводом которых и приготовлением развернутых комментариев Чернышевский занимался уже больше года.

— Спасибо,— поблагодарил Николай Гаврилович за свечу и понес ее обратно на стол.

Студенский посмотрел на него вопросительно:

— Не Милля будем писать?

— Нет, нужно сдавать «Политику» в третью книжку. Сегодня будем писать об австрийских делах,— говорил Николай Гаврилович, раскладывая на столе венские газеты и лондонскую «Таймс» с закладками.— О реформах австрийского императора.

Студенский заулыбался: на языке «Современника» под императорской Австрией обычно подразумевалась Россия. Ясно было: в третьей книжке будет еще один кроме обручевской статьи иносказательный отклик на крестьянскую реформу — под видом рассказа об австрийских реформах. Третья книжка обещала быть острой.

Развернув «Венскую газету» на нужной статье, Николай Гаврилович стал диктовать Студенскому:

— Пишите заглавие: Март 1861. Далее с абзаца: Австрия занимает Европу необыкновенными перемена-

ми... нет, явлениями, перемены зачеркните,— поправился он и продолжал: — Дело началось, как знает читатель, тем, что по окончании итальянского похода почтено было за нужное обещать реформы для успокоения волнений... не надо волнений, напишите недовольства... недовольства, которое высказывалось все громче и громче после военных неудач... военных неудач,— повторил он, заметив, что Студенский не успевает писать за ним.— Перечислять реформы, делавшиеся в исполнение обещаний, было бы теперь совершенно напрасно, потому что ни одна из них не удалась,— мало сказать «не удалась»... «не удалась» в кавычках... ни одна и не дожила до осуществления, хотя бы неудачного: все умерли на бумаге, поочередно будучи покидаемы одна за другою...

И вот теперь в Австрии,— продолжал диктовать Чернышевский,— «реализуется новый момент» нынешнего «органического развития» империи — обнародованы «организационные законы» о введении некоторых начал представительной системы. Неужели это означает,— ставил он вопрос,— что императорская власть отныне будет ограничена? Вовсе нет, это только так кажется неопытному уму,— иронически успокаивал читателя Чернышевский,— переменяются лишь названия учреждений, а суть их остается та же: никакого действительного представительства, власть царствующего дома остается единой и нераздельной.

Он поморщился, покачал головой. Студенский остановился, вопросительно на него посмотрел, но Чернышевский показал знаком, чтобы тот не отвлекался, продолжал писать. Недоволен был Чернышевский не тем, что диктовал. Диктуя, он мысленно возвращался к разговору с Михайловым и Шелгуновым, взволновавшему и задевшему его. Он был недоволен собой. Пожалуй, напрасно был так сдержан в этом разговоре. Наверное, надо было более определенно и резко сказать о том, что, по его мне-

нию, в настоящий момент всего важнее для дела. Но кто их знает, этих господ энтузиастов, как бы они приняли прямые слова? Едва ли теперь подходящее время для споров, раздоров. И без того уж, кажется, что-то между ними натянулось... И все-таки досадно. Очень нетерпеливы друзья. Объявилось в России несколько сот единомышленников, прекрасно, но разве это значит, что пришла пора действовать? Надобно собирать и собирать силы. ...Вот что касается прокламаций — это дело.

Чернышевский продолжал диктовать.

Статья подвигалась быстро. Текст ее сложился у Чернышевского еще утром, когда он подбирал газеты для вечерней диктовки, нужно было только проговорить его, и теперь он освобождался от него легко, без малейшей задержки для писца,— скорость диктовки определялась скорописью Студенского. Кое-где в текст вставлялись выдержки из газет, и Николай Гаврилович переводил тут же, с газетного листа, тоже без малейшей задержки.

Часа через три статья была почти готова, оставалось только вставить в середину еще две или три выдержки из газет, правда довольно длинные, опущенные во время диктовки,— диктуя, Николай Гаврилович не стал задерживаться на них, не хотелось отвлекаться на механическую работу перевода, чтобы не остыть, скорее вытянуть главную мысль; хорошо сочинять, когда горишь, когда вдруг вспыхивает в тебе вся мысль сразу, и тут не зевай, вытягивай ее скорее вон, как вытягивает стеклодув из расплавленной массы стеклянную нить,— остынет масса, прервется нить, пропадет красота... Теперь, покончив с этим, он начал диктовать перевод опущенных кусков.

И в это время стал слышен из коридора громкий голос Ольги Сократовны, только что приехавшей, она говорила с кем-то, находившимся в зале; сама она, должно быть, стояла перед дверью зала. Открыв дверь в коридор, Николай Гаврилович разобрал голос Енички, отвечавшей

Ольге Сократовне коротко и тихо и, как всегда, когда она говорила с Ольгой Сократовной, с особенной, обдуманной вежливостью,— боялась задеть легко взрывавшуюся Ольгу Сократовну каким-нибудь неосторожным словом. Эту ее вежливость при желании можно было принять и за преувеличенную, насмешливую вежливость, ее сдержанность и немногословность — за высокомерие, и это делала с некоторых пор Ольга Сократовна.

— Чем угощали гостей? — спросила Ольга Сократовна.

Что́ ответила на это Еничка, не было слышно, но, видимо, она не сумела удержаться в своих спасительных пределах, потому что Ольга Сократовна взорвалась:

— Об этом, моя милая, не вам судить,— начала она гневно и вошла из коридора в зал.

Николай Гаврилович закрыл дверь и вернулся к столу. Студенский смотрел на него со смущенной улыбкой, он, конечно, слышал голос Ольги Сократовны и догадался о том, что произошло в коридоре. Николай Гаврилович усмехнулся, вздохнул:

— Ладно, Алексей Осипович, идите. Я сам впишу эти куски.

Сейчас войдет сюда раздраженная Ольга Сократовна, Николай Гаврилович будет ее успокаивать, ни к чему это видеть и слышать молодому человеку.

— Хорошо, Николай Гаврилович,— сказал Студенский понимающим голосом, торопливо собрал рассыпанные по всему столу исписанные листы и вышел.

Он прошел мимо зала быстро и неслышно, не замеченный Ольгой Сократовной.

Николай Гаврилович сел на место Студенского и стал вписывать перевод из «Таймс».

Сделал он немного, когда вошла Ольга Сократовна, нарядная, благоухающая, в тяжелом фиолетовом бархатном платье— не успела переодеться,— с горящими гла-

ками, с гневным румянцем на щеках. Спросила первно:

— Кто это там сейчас вышел — Студенский? Что же он меня не дождался? У меня было к нему поручение. И он знал, что сегодня будет мне нужен. Что ты его не задержал?

Она пристально смотрела на мужа. Он ответил мягко:

— Я не знал, голубочка, что он тебе нужен. Мы покончили работу, и он ушел. Может быть, он забыл?

Это объяснение неожиданно удовлетворило ее.

— Ну, может быть,— сказала она, подумав.

Она подошла к столу, отставила стул подальше от стола и села, полкомнаты заняв широким, в крупных складках колоколом платья. Вздохнула:

— Устала. Целый день на ногах. В драме всего была пол-акта,— затем, посмотрев на Николая Гавриловича, без перехода: — Сейчас поссорилась с Еничкой. Мерзкая девчонка, вздумала мне дерзить. Представь, спрашиваю ее про гостей, а мне Ольга еще в передней сказала, когда раздевала, что были Некрасов, Михайлов и Шелгунов, так вот спрашиваю Еничку, и Полина тут же торчит, хоть чем-то, спрашиваю, угостили гостей, чем же? А Еничка отвечает с этим ее, знаешь, прищуром: «Эти господа не такие гости, чтобы приходить для еды». Намекает на *моих* гостей. На мою необразованность. И Полина тоже хороша, нет чтобы промолчать: «Вы напрасно обижаетесь на сестру, Ольга Сократовна. Вы не должны на нас обижаться. Мы об вас ничего худого не думаем». Еще бы не хватало!

— Но ведь и правда, голубочка, так, как тебе теперь показалось, не думают. Я уверен, Еничке и в голову не приходило как-то тебя уязвить. Возможно, она хотела шуткой прикрыть свою оплошность как хозяйки, просто хотела пошутить, а ты приняла на свой счет.

— Приходило ей или не приходило, это все равно. Я сама знаю, что не приходило. Да только сказала. Нена-

вижу ее. Вот уж, действительно, синий чулок. И эта тоже. Защищает ее! Обе хороши, дряни. Не надо было нам селиться вместе с ними.

— Но ведь ты же сама хотела...

— Да, хотела! Мне было скучно. Я думала, что нам всем будет весело. Откуда же я знала, что они...— Она умолкла с расстроенным выражением. Подумав, сказала с горечью:— Я сама виновата, я знаю. Они умные, образованные, добрые, я вижу, а я дура, необразованная, злая. Им же завидую. Мне за себя обидно, когда я бываю с ними. Они обо всем умеют сказать умно, у них вопросы, а я только глупости умею сказать. А чем я виновата, скажи?.. Мне тяжело с ними. Знаешь, вот в мае поедем на дачу — и разъедемся с ними. Поменяем квартиру.

— Как скажешь, голубочка,— по привычке отозвался Николай Гаврилович и спохватился запоздало, вспомнив, что ведь именно в этом пункте, относительно сестер, и нельзя делать ей уступки, так решил он недавно, когда думал, как поправить положение в семье. Он осторожно стал отступать.— Или лучше так. Не будем сейчас решать. Отложим разговор об этом хотя бы до...

Ольга Сократовна его не слушала, хотя и смотрела на него, перебила, думая о своем:

— Да ты сам-то ел что?

— Ел. В типографии хорошо пообедал...

— Так я и знала! — всплеснула она руками.— В типографии! Да когда это было-то!

— Неважно. Я сыт. Уверяю тебя...

— Ври, друг мой. Так я тебе и поверила. Сыт! Пришел — и за работу. Я же вижу: не переоделся даже. Где уж о еде думать! Сейчас будешь есть! — Она стремительно поднялась и пошла вон из кабинета.— Велю Ольге подать ужин, переоденусь и приду за тобой. Покуда работай.

Кажется, она ушла успокоенная. Так всегда, когда больной взвинчена: выговорится — и утихнет.

Пока она занималась ужином и переодевалась, он успел кончить выписки, сложил рукопись свертком, чтобы утром отвезти в типографию, убрал газеты и, не мешкая, перешел к конторке, взялся за Милля.

6

Пришла Ольга Сократовна в свободной блузе, по-цыгански жгучей расцветки, красными и черными разводами, к этой блузе больше, чем к бархатному платью, шла ее сегодняшняя прическа, тоже цыганская,— черно-смоляные ее волосы были расчесаны гладко, на прямой пробор, туго стянуты сзади и уложены живописной грудой цветов, формой напоминающих розы. Ему хотелось бы сказать ей, что сейчас она особенно интересна, ей нравилось, когда он замечал ее красоту, ее новый наряд или прическу и высказывал свое мнение о них, а этой ее прически он еще не видел сегодня: утром, когда они расстались, она еще была не прибрана; но теперь нельзя было это говорить, это неверно настроило бы ее, помешало предстоящему разговору, который он уже несколько дней собирался начать — ждал лишь удобного момента — и который, может быть, именно сегодня удобно будет начать.

Она повела его в зал. Там на столе уже стоял самовар и была выставлена закуска — ветчина, сыр, открытая коробочка с сардинками. Ольга принесла салфетку, туго свернутую трубочкой, положила возле прибора Николая Гавриловича.

— Нужно еще чего, Ольга Сократовна? — спросила она.

— Нет, ступай. Потом уберешь.

Ольга ушла, и они остались одни. Было тихо. Из внут-

ренних комнат, где были спальня Ольги Сократовны и детская, не доносилось никаких звуков, дети спали. И на половине Пыпиных было тихо, там если и не спали, то заперлись, и теперь несколько дней никого из них не увидишь в часы, когда Ольга Сократовна дома. Так всегда бывало после сцен вроде сегодняшней.

А сама она уже и забыла об этой сцене! Как легко взвинчивалась, так легко и отходила. Была теперь покойна, благодушна, рассказывала про театр, про поездки к каким-то знакомым, из-за чего запоздала на драму, он слушал и думал о том, что вот сейчас она выложит все свои новости за день и он скажет ей то, что должен сказать, и снова она взорвется, выйдет из себя, поняв все не так, как надо, пожалуй, решит, что он ее просто пугает, желая ограничить ее свободу, отрекаясь от своих былых посулов, в раздражении наговорит ему оскорбительных слов, она умеет оскорбить метко и зло, несправедливо; хорошо, что он привык к этим вспышкам, приучил себя не реагировать, уже не чувствует боли, а года три назад еще-то как чувствовал, мучился... Но нечего делать, надо сказать.

Он оставил свой чай, отодвинулся от стола вместе со стулом и поставил рядом с собою другой стул.

— Вот что, голубочка, сядь-ка подле меня и не огорчись тем, что я скажу,— сказал он мягко, но помимо его воли что-то в его тоне прорвалось такое, что она сразу же насторожилась и села рядом с ним покорно и испуганно.— Ты знаешь, у меня характер мнительный, потому не придавай чрезвычайной важности моим словам, а только прими их в соображение. Ты знаешь, у нас пока все тихо, то есть, можно считать, что тихо, и, наверное, так ничего серьезного и не будет, по крайней мере в ближайшие два-три года. И я думаю о будущем только потому, что мнителен, воображаю то, чего, может быть, и не будет. Я держу себя осторожно. И если бы не мои

нительность, то и нечего было бы мне думать ни о тебе, ни о детях. Но всякое может случиться. Меня, ты знаешь, считают человеком со влиянием. Пока все тихо, то ничего. Но если изменятся обстоятельства, а они все-таки могут измениться в любой момент, мало ли какие случайности могут вмешаться в ход событий, если это произойдет, обо мне позаботятся, я уверен, и что будет тогда с тобою, с детьми?

Он сделал небольшую паузу. Она смотрела на него, все еще не понимая, к чему он клонит, хотя уже невольно сжималась от страха, чувствуя, что сейчас он скажет что-то действительно страшное, непоправимо страшное,— так с нею он еще никогда не говорил, никогда с тех пор, как они поженились. И ей даже вдруг в какой-то миг показалось, будто в ожидании этого неизвестного страшного она и жила все эти годы, только отгоняла неприятные мысли об этом, но *оно* всегда незримо присутствовало в ее жизни... Что? Этого она еще не знала, но знала, что вот сейчас он скажет и ничего уже нельзя будет поправить, ничего...

— Помнишь, перед нашею свадьбою,— продолжал он,— я говорил тебе, что у нас скоро будет бунт и что, если он действительно будет, я буду в нем участвовать? Конечно, я сам тогда не очень-то в это верил. Но чем дальше идет время, тем виднее, что надобно было тогда серьезнее нам с тобою отнестись к этому...

— Так ты вот о чем! — поняла она наконец и побледнела так, что даже при свете свечи это сделалось заметно. *Это,* да, пожалуй, именно *это* и было тем незримым, что всегда стояло между ними...

За ним всегда была какая-то тайна. За видимой его отрешенностью от внешнего мира, всего того, что лежало за пределами его кабинета, видимой безобидностью его книжных занятий, основательностью и трезвостью его практических, житейских расчетов и суждений всегда

было нечто, не то чтобы пугавшее ее, а как бы враждебное ей, враждебное всему строю ее жизни, нежелательное. Это было в его ученых мыслях и интересах. Разобраться в них ей было невозможно, если бы она и захотела, да она и не хотела, как бы предугадывая, что ничего хорошего для себя из этого не извлечет. И он не особенно навязывался ей с объяснениями, вероятно опасаясь того же: что она ничего не поймет, если выложить ей все в конечных выводах, только будет выбита из привычной жизненной колеи. Прямо она не связывала эту его тайну с тем их давним разговором о мужицком бунте, о котором теперь напомнил он, не связывала, потому что никогда больше он не заговаривал с ней о бунте,— бунт, казалось, так и остался за чертой, отделившей их молодость от зрелых лет супружества, остался воспоминанием о красивой юношеской экзальтации. Хотя, пожалуй, если бы она подумала о том, что же это за тайна, она могла бы допустить и бунт в числе других возможных объяснений тайны, но скорее допустила бы другое, что угодно, пусть не менее опасное и ненужное, но все-таки не бунт: бунт — это было слишком неправдоподобно, фантастично. Однако она не думала об этом, и эта тайна так и оставалась для нее тайной, неизвестностью. За нее-то, эту тайну, собственно, она и шпыняла его в первые годы, понуждая скорее оставить юношеские фантазии, и негодовала, понимая, что он остается прежним, не меняется,— шпыняла, покуда не смирилась.

Мирилась она с этой неизвестностью и не особенно ее страшилась только потому, что все это казалось ей чем-то чрезвычайно далеким от реальной жизни и отнюдь не вечным. Рано или поздно, она была уверена, это непременно пройдет,— взрослея, мужчины делаются мягче, осмотрительнее.

И все-таки лучше бы не было между ними этой тайны! Как бы то ни было, все-таки это ее иногда трево-

жило, заставляло иногда сердце сжиматься в безотчетном страхе за будущее.

Это чувство тревоги, она заметила, стало возникать в ней после того, как для нее открылось особенное положение Николая Гавриловича в среде петербургских литераторов и журналистов, особенное отношение к нему со стороны людей, даже и не знакомых с ним лично, знающих его только по его статьям, о которых сама она не могла судить (она их не читала, пробовала не раз и никогда не могла продвинуться дальше первых страниц, начинала скучать, бросала), когда увидела, что с ним, с его мнениями считаются, его расположения ищут очень заметные и уважаемые в обществе люди. И открылось особенное отношение к нему со стороны его друзей, людей, как и он, одержимых мыслями и вопросами, нетерпеливо устремленных к тому же, что и он, — к чему? — да к той же его тайне, о которой она ничего не хотела знать, которую терпела лишь постольку, поскольку полагалась на целительные свойства времени; его друзья были связаны с ним той же тайной. И чем почтительнее и восторженнее делалось это отношение к нему со стороны знакомых и незнакомых людей, чем выше во мнении общества поднимался авторитет Чернышевского, тем чаще накатывали на нее приступы безотчетного, неопределенного страха...

И вот теперь тайна обернулась-таки мужицким бунтом. Значит, это серьезно, если за все эти годы он не только не забыл думать об этом, но, как видно, все время жил этой мыслью, сживался с нею...

— Да, надо было нам тогда отнестись к этому серьезнее,— сказал он.— Я говорил тогда тебе все это, объясняя, что не могу соединить ничьей участи со своею, потому что не видел для себя иного исхода, кроме каторги или даже и виселицы, и предлагал тебе не принимать моего предложения, отказать мне. Тебе тогда все

это казалось, конечно, страшной дичью, ты, натурально, не могла это принимать всерьез, потому и дала согласие. А я слишком поспешно удовлетворился этою твоею видимою волею. Потом, когда мы поженились, так сложились наши обстоятельства и наши отношения, что мы с тобою не говорили о моих делах так, чтобы ты понимала их вполне. И вот теперь...

— Молчи, не смей говорить! — Она вскочила.

— Нет, голубочка, об этом нужно говорить. Теперь нам нужно вместе подумать, как нам быть. В случае, если все же произойдет...

— Довольно! Я слышала раз. Не хочу больше. Не хочу! — Она стремительно повернулась и быстро вышла из зала, ушла к себе.

Он хотел было идти за ней, но она тут же вернулась. Лицо у нее было измученное, но выражение решительное, твердое.

— Прошу тебя,— сказала она,— никогда больше не говори мне об этом. Я не хочу этого. Все это вздор. Ничего не будет. И незачем говорить. И думать об этом не смей. Пора бы уж перестать фантазировать. Помни, что у нас дети. Не хватало еще им остаться сиротами. Хватит мне и того горя, что я перенесла. Довольно. Слышишь? Молчи. Не отвечай ничего.

Не желая его слушать, она снова вышла из зала, но теперь вышла в коридор и стала звать Ольгу, заглянув сначала в кухню, потом в людскую, потом почему-то выйдя на лестницу,— должно быть, Ольга болтала на лестнице с соседской прислугой.

Прибежала Ольга и стала убирать со стола. Ольга Сократовна не появлялась; пожалуй, прогнав Ольгу, сама заговорилась с кем-то на лестнице. Николай Гаврилович подождал немного и пошел к себе.

Вот и поговорили, усмехнулся он про себя, выходя в коридор. Но что тут сделаешь, на большее и рассчитывать было нельзя. Уже то хорошо, что обошлось без скандального шума, ожесточения, без оскорбительных обвинений. Начало положено — так должно считать, а уже и это немало. Через некоторое время можно будет возобновить этот разговор. Ничего не поделаешь, нужно.

Нужно будет снова вернуться к тому их давнему разговору о бунте, когда он, смешно теперь вспомнить, пытался отговорить ее от брака с ним. В самом деле хотел отговорить? Конечно нет. Он хотел, чтобы она сознательно сделала свой выбор, чтобы, соглашаясь идти за него, отдавала себе отчет в том, что ее ждет в будущем, чтобы брак с ним, таким, каков он был тогда, вместе с его вовсе не шуточной, очень реальной обреченностью в будущем — чтобы этот брак представлялся ей все же лучшим выходом из ее тогдашнего положения и действительно был бы лучшим выходом, действительно он, Николай Гаврилович, был бы лучшей для нее партией из всех, какие она могла составить в то время. Такого брака он желал. Для того и «отговаривал» ее, чтобы дать ей возможность лучше понять их положение и сделать свой *сознательный* выбор. И если бы так и вышло, если бы она, все взвесив, вполне сознательно остановила свой выбор на нем, он был бы счастлив, был бы спокоен душой, совесть его была бы спокойна, он бы знал, что она товарищ ему, что его будущее — их общее будущее и, что бы ни случилось с ним в будущем, пусть самое худшее, не будет она чувствовать себя обманутой, обделенной счастьем, чувствовать себя жертвой.

И как же он ловил тогда знаки этого сознания, знаки желанного сходства с собою пускай не по образу мысли — на этот-то счет он не строил иллюзий,— но по сред-

ству душ, по складу характера, по натуре! С какою жадностью впитывал в себя и перебирал в уме и в дневнике, который вел тогда, каждое ее слово! И как ликовал, когда обнаруживал это сходство! Еще до знакомства с нею он слышал о ней как о девушке независимого и решительного характера и смелых взглядов; однажды ему рассказали, как она на каком-то вечере, поднимая бокал, сказала громко: «За демократию». С первых же встреч с нею он заметил ее бойкость и нецеремонность, простоту в обращении, заметил, что было для него немаловажно, и ее страсть к быстрой езде, она сама правила, недурно ездила верхом,— это как будто говорило о ее бесстрашии. Он сам любил опасные развлечения, в детстве был заводилой рискованных забав вроде катания зимою на дровнях по обледенелому длинному и крутому спуску Гимназической улицы к Волге с непременной задачей проскочить через прорубь, конечную цель катания. А как взволновался он, когда услышал от нее во время того их разговора о бунте сочувственную фразу, какую немногие могли бы произнести! Когда он сказал, что примет участие в мужицком бунте, если он вспыхнет, что его не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня, она на это сказала: «Не испугает и меня...» Конечно, он и тогда понимал, что эти ее слова были сказаны без должного сознания их значения, и все-таки ликовал, уж очень не хотелось признаваться себе в том, что не следовало принимать их всерьез.

Но в этом он скоро вполне убедился. Она была совершенно равнодушна к социальным вопросам, которыми он жил, его рассуждения о тяжелом положении народа и о возможных последствиях этого были ей скучны, и сказала она те слова о бунте непроизвольно, по инерции, на миг поддавшись его вдохновению и энтузиазму. Скоро убедился он и в том, что не следовало придавать важности и тому ее тосту за демократию: он был следствием отнюдь

по системы взглядов, в ее словах сказалось всего лишь ее отношение к высшему слою саратовского общества, куда она, дочь городского врача, не была вхожа. Также не следовало слишком очаровываться и ее бесстрашием наездницы — позже оказалось, что ей скорее свойственны осторожность и предусмотрительность, чем бесшабашность и склонность к риску, и она скорее трусиха, чем храбрец. От природы очень здоровая, она с семнадцати лет заподозрила у себя чахотку и всю свою жизнь лечилась от воображаемых болезней, теряя голову при малейшем недомогании; боялась дурных примет, панически боялась грозы: при первом ударе грома мчалась со всех ног в свою спальню и зарывалась с головой в подушки, не двигаясь с места до конца грозы.

В одном она была, как открылось позже, много позже, бесшабашна, непредусмотрительна — в денежных тратах. Тратила, не думая о завтрашнем дне. Сколько бы ни заработал Николай Гаврилович — а в последние годы он зарабатывал уже столько, что они могли бы при желании, не отказывая себе в необходимом, откладывать в банк каждый год по нескольку тысяч,— никакие деньги не задерживались у нее в руках. Тратила она на пустяки — на лихачей, на дорогие подарки, наряды, развлечения. Тратила с каким-то ожесточением, которым можно было бы и восхититься, видеть в нем, например, демонстративный вызов буржуазным добродетелям — мелочной расчетливости, скопидомству, всепоглощенности материальной стороной жизни,— можно было, если бы при этом не было видно и того, что при его-то, Николая Гавриловича, видах на будущее это было по меньшей мере неблагоразумно. Но может быть, эти ее траты были своеобразным протестом против его тайны? — протестом бессознательным, в котором она сама себе не отдавала отчета? Уничтожая всякую возможность обеспечения будущего семьи, она связывала его необходимостью заботиться о каждодневном пропита-

нии семьи, ни на минуту не забывать об этом для сторонних и опасных затей? Почему же так не могло быть? Разве сам он, когда был женихом и размышлял о том, зачем ему должно жениться, не смотрел на брак и под этим углом, желая найти в браке помимо всего прочего и какую-то защиту против своих крайних настроений, стать осторожнее и не пропасть зря, понимая, что мысль о жене и может быть такою защитою? Вот и получил в лице Ольги Сократовны такую защиту... Как бы то ни было, но сдержать ее мотовство он не мог хотя бы уже по принятой им линии полагаться во всем, что не касалось его работы, на мнения и решения Ольги Сократовны, не мог он тут ничего сделать: распоряжение семейным бюджетом было ее делом, и что она находила нужным и правильным, то и было хорошо...

Но это все открылось позже, а в то время, когда он только присматривался к своей будущей жене, он больше находил в ней достоинств, чем недостатков, таких достоинств, которые постепенно заглушали в нем сомнения в его праве на брак с нею, и в конце концов он уговорил себя в том, что ее выбор если и не вполне сознателен, то во всяком случае действительно лучший для нее. Ни с одним из ее тогдашних женихов, это было очевидно, не была бы она более счастлива, чем с ним, даже если бы судьбе и в самом деле угодно было когда-нибудь распорядиться его жизнью так, как он предсказывал,— все это была публика безнадежная, либо пьяницы, либо полные ничтожества, жизненные претензии которых и идеалы не поднимались выше места столоначальника в губернском правлении, а это было не для Ольги Сократовны. И оставаться в девицах она больше не могла себе позволить: ей было уже двадцать лет.

А кроме того, у него в запасе был и такой очень важный аргумент в пользу брака: пусть она и не вполне сознательно выбрала теперь его, но в этом ей не придется раскаяться, позже она все поймет и оценит, потому что,

когда они поженятся, он будет развивать ее ум, они будут вместе учиться, у них будут общие занятия и интересы, и со временем она станет ему и товарищем, и соратником в его будущем деле.

Был и еще один аргумент, но это на крайний случай: она всегда могла воспользоваться своим правом на полную свободу, правом, которое он предоставлял ей...

Все получилось не совсем так, как он тогда располагал. И надеялся. Не совсем так...

8

Войдя в кабинет, Николай Гаврилович снова взялся за Милля. Но был слишком взволнован и принялся ходить по кабинету, продолжая думать о разговоре с Ольгой Сократовной.

Запретив ему говорить с ней о бунте, она упомянула о горе, которое перенесла. Она, конечно, имела в виду их среднего сына, Витеньку, умершего четыре месяца назад в Саратове от скарлатины. Бедная, она любила этого мальчика больше, чем других сыновей. Те были в нее, брюнеты, с черными глазами, а ей хотелось, чтобы дети у нее были блондины с голубыми глазами, еще бы лучше, если б была дочь, но дочери не рождались, а этот был такой, как она мечтала, белокурый, голубоглазый...

Расхаживая по кабинету, между кушеткой и углом, где был свален «Русский вестник» за несколько лет, поглядывая на эту груду и подумывая о том, куда ее девать, не выкидывать же, он вдруг вспомнил о сегодняшней прогулке с А. Ф., вспомнил, что она говорила о какой-то своей статейке в «Русском вестнике».

Вспомнил А. Ф. и неожиданно почувствовал, как его обдало теплой волной при этом воспоминании. Он удивился: с чего бы это? Скорее досаду должно было вызвать воспоминание о ней, из-за нее он упустил Вернадского,

потерял без пользы целый час, наслушался от нее всякого вздора, по существу оскорбительного. Правда, она привлекательна, очень привлекательна, ничего не скажешь, его всегда тянуло поговорить с ней, когда он встречал ее в обществе. И умница, хотя и наговорила сегодня вздору. Но мало ли на свете привлекательных и умных женщин, до того ли ему?

Подумав, он решил, что тут дело в контрасте с только что пережитой трудной сценой между ним и Ольгой Сократовной,— по сравнению с этой сценой прогулка с А. Ф. была и приятна и легка, и потому нечаянное воспоминание об А. Ф. тоже было приятно.

Однако надо же посмотреть, о чем она писала. Она не сказала, в какой книжке была напечатана ее статья, сказала только, что недавно, в прошлом году. Он вытащил из груды несколько прошлогодних нумеров и в первой же книжке, какую раскрыл, нашел ее статью,— это был августовский нумер, статья была подписана ее инициалами. Он стал читать.

Статейка была небольшая, всего на трех страницах. Но дельная и написана бойко, остро. Возмущение А. Ф. вызвала опубликованная в «С.-Петербургских ведомостях» статья некоего Ф. Р-го в форме писем к сестре, в которых говорилось о политике и которые написаны были особым языком, специально предназначавшимся для женщин. А. Ф. приводила выдержки из писем, их слащаво-умилительный тон и чересчур упрощенная, примитивная лексика действительно могли оскорбить развитую женщину. Очевидно, с возмущением писала А. Ф., автор писем убежден, что с женщиной неучтиво говорить о «сериозных предметах и в сериозном тоне». Неужели же, спрашивала она, русская женщина как была, так и осталась в «глазах своих современников» пустым, бессмысленным существом, способным только наряжаться, кокетничать, сплетничать и задумываться над бантиками? Неужели, в самом деле, нет

«женщин мыслящих, готовых к умственному развитию, сочувствующих современным интересам?»

Нет, отвечала она, такие женщины есть! На впечатлительной женской натуре не могло не отразиться «влияние того горячего протеста, который слышится теперь во всех концах нашей родины». Уже теперь можно встретить «много мыслящих существований», женщин, пробужденных общественным движением последних лет к «новой деятельности».

Итак, А. Ф. возвещала о появлении в России женщины особого, нового типа — серьезной, мыслящей, проникнутой общественными интересами, стремящейся участвовать в общественной жизни страны наравне с мужчинами, стремящейся к образованию, доступному для мужчин. Что ж, недурно. Совсем недурно. Современно. Даже ново: пожалуй, и сам Михайлов, глава эманципаторов, в своих статьях по женскому вопросу не брался утверждать, что такого рода, эманципированных, женщин он встречал *много*.

Но почему она не хотела, чтобы он прочитал эту статью? Почувствовала, что он будет смеяться над ее энтузиазмом? Пожалуй, после того, что она услышала от него во время прогулки, она могла это почувствовать. Или, может быть, ей стало неловко за какое-то место в статье, какой-то отдельный пункт?

Он еще раз прочитал статью и обратил внимание на странный пункт о «семейной святыне». Что она имела в виду? Традиционную семью? Едва ли. Уж во всяком случае не стала бы называть традиционную семью «святыней», не для того она размахивала знаменем освобождения женщины, чтобы свернуть к традиционной семье. Имела в виду семью, подобную семье Шелгуновых? Но что же она думала о такой семье? И что за семья у нее самой?

Она замужем, сказала она. Но живет здесь, в Петербурге, вдвоем с теткою. И целый год с той же теткою прожила в Саратове. А муж оставался в Перми? В обществе

она всегда является одна. И держит себя как девица, не скажешь, что дама. Детей как будто нет. Не похоже, чтобы у нее с мужем была традиционная семья. Было бы интересно расспросить ее об этом.

Но когда же и где теперь с ней поговоришь? Приведется ли еще когда провести вечер у Шелгуновых, где они прежде встречались? Начинаются такие времена...

Пустое! О том ли теперь думать?

Он бросил книжку обратно в угол и вернулся к конторке, к Миллю. Полистал переведенные страницы, посмотрел, сколько уже перевел сегодня,— всего шесть страниц, значит, нужно еще перевести по меньшей мере столько же, чтобы выполнить сегодняшнюю норму, норму не «чистого» дня, в «чистые» дни, когда нет других дел, можно переводить и по двадцать страниц и больше. Но завтра рано вставать, ехать в типографию. Значит, придется работать энергичнее, чтобы выполнить норму и хотя часа четыре успеть поспать.

Но не суждено ему было сегодня выполнить норму.

9

Он увлекся и не заметил, как вошла Ольга Сократовна, подошла к нему неслышно и, смеясь, выхватила листы, с которых он переводил, и отбежала с ними в сторону.

— Довольно работать! Опять проработаешь всю ночь, и спать будет некогда. Тебе много осталось?

— Еще бы страниц пять...

— Нет, довольно. Завтра переведешь их. Сегодня можешь ко мне прийти. Конечно, если тебе жена милее политэкономии.

Она снова подошла к нему, положила листы на место. Он смотрел на нее с радостной улыбкой, радуясь ее веселому расположению, любуясь ею. Она уже расчесала свои густые волосы, и они свободно и пышно лежали на плечах.

На плечи была наброшена теплая серая пуховая шаль. Она поежилась под шалью, в комнате было прохладно, обе форточки были открыты: работая, Николай Гаврилович часто закуривал. Он хотел было пойти закрыть их, но она не пустила, удержала его за рукав, потянула к себе. Посмотрела на него снизу вверх с виноватым выражением и прильнула к нему, прижалась к груди. Попросила:

— Обними меня. Покрепче. (*Он обнял.*) Еще крепче. (*Он сильнее прижал ее к себе.*) Вот так,— и затихла.

Она чувствовала себя виноватой за сцену в зале, за то, что резко оборвала его, не позволила говорить. Но, конечно, вовсе не собиралась отступаться от того, что сама сказала там. Ласкаясь к нему, она как бы убеждала его принимать ее такою, какая она есть, и любить ее такою, любить так, как он любил ее все эти годы. Ей нужна его любовь. Что она без его любви? Пусть он это помнит и никогда не забывает. Никогда! И не сердится на свою голубочку... Он улыбался и кивал, как бы отвечая на это: так, так, голубочка, конечно, так, как же может быть иначе? Ближе, чем мы друг другу, нельзя быть. Не может быть более прочных и глубоких связей между людьми, чем те, что соединяют нас. Как же иначе? И с нежностью, осторожно прижимал ее к себе, стараясь прикрыть ладонями всю ее узкую, вздрагивающую, трогательно слабую, податливую спину...

Под утро, проснувшись от того, что затекла рука под ее головой, он долго лежал с открытыми глазами, не решаясь освободить руку, чтоб не разбудить ее. Лежал и думал о том же — о ней, о чуде любви, прочно соединяющей людей, даже таких разных, как они с Ольгой Сократовной. «Да, не может быть более прочных и глубоких связей между людьми, чем те, что соединяют любящих мужчину и женщину. Даже отношения между родителями и детьми не так глубоки. Даже материнская любовь не

так сильна. Теряя детей, женщины убиваются иной раз всю жизнь, но лишают себя жизни не от этих потерь, а от несчастной любви»,— думал он, чувствуя, как все сильнее, все острее покалывает в руке, но перенося эту боль с легкостью. Даже доставляло удовольствие думать об этой боли как о маленькой жертве, которую он может принести любимому существу. Что боль, он жизнь готов отдать за это существо, дороже которого нет у него никого на свете,— ни дети его, ни отец, ни мать-покойница никогда не значили для него так много, как значит эта маленькая женщина. В самом деле, непостижима сила, которая так связала их, чужих друг другу людей, чужих во всем. Что же было бы, если бы не было между ними тех преград, которые теперь еще разделяют их? Если бы между ними было взаимопонимание, хотя бы такое, какое между ним и, например, Еничкой, даже Еничкой, или Авдотьей Яковлевной Панаевой, или Шелгуновой... или той же А. Ф.? Если бы было так, какой необыкновенной, бесподобно, сказочно прекрасной могла бы быть их жизнь...

Подумал об А. Ф. и опять почувствовал прилив теплой волны, как давеча в кабинете. И опять удивился этому неожиданному чувству... Но не стал задерживаться на нем. Отогнал от себя мысль об А. Ф.

Да, могла бы быть сказочно прекрасной жизнь. Конечно, в той мере, в какой это возможно посреди окружающей нищеты и страданий громадного большинства людей. Могла бы быть. Хотя и теперь их жизнь недурна. Так, как мало у кого бывает. Да и бывает ли? Он пока не знает других примеров. Или почти не знает. Шелгуновы... и все?..

Смешная А. Ф.! Поразил ее, сказав, что его не интересуют отношения его жены с кем бы то ни было, что он счастлив, отказавшись от владельческого права на женщину, счастлив счастьем, недоступным пониманию многих. Странно, однако, почему ее поразило это, когда перед ее

глазами пример Шелгунова, который мог ей сказать примерно то же, что и он. Может быть, она не так близка с Шелгуновыми, чтобы говорить с ними об этом? Или в ее глазах пример Шелгунова и его пример — явления разного порядка? Пожалуй, она мало знает Шелгуновых... А как бы она реагировала, если бы он объяснил ей, что чувствовал бы себя менее счастливым, когда бы Ольга Сократовна не воспользовалась предоставленной ей свободой, не осмелилась бы воспользоваться, лишив его возможности пережить радость за полноту ее счастья? Что он бы ее меньше любил, когда бы на ее месте был не живой человек, послушный голосу своей природы, а чистая мораль, та самая веками составлявшаяся мужчинами для женщин, почтенная, но глупая мораль, первая заповедь которой: жена должна быть верна мужу? Но как это объяснишь...

Их жизнь и теперь хороша. Он любит и любим. Его жизнь будет продолжена в его детях и в том, что он уже сделал и еще успеет сделать для общества. Жизнь устроилась счастливо, так. Пора и поделиться с другими полнотой своего счастья. Восемь лет назад он еще не был к этому готов. Еще не жил. Не любил. Чувствовал себя неуютно в этой жизни. Что путного можно ожидать от обремененного личной неустроенностью, отчаявшегося человека? Таким лучше не соваться в серьезное дело... Теперь он готов, да. Но вот беда, не готова, совсем не приготовлена к будущему его голубочка. Его беда.

И вина? Нет, особенной его вины в этом нет. Он делал что мог. И она тоже делала что могла, доверяясь ему, шла ему навстречу, сколько могла. И кое в чем изменилась же! Положим, пустяк, а все же: научилась же выносить разговоры его гостей о политике, разговоры, которых терпеть не могла еще года три назад, и даже как будто стала проявлять интерес, стала спрашивать о значении разных терминов и фактов. Большего и требовать от нее нельзя.

Трудно вырабатывается человек. Восемь лет — не такой большой срок, чтобы пробить броню, в которую была она закована с детства, броню представлений и ценностей среды, в которой родилась. Среды оригинальной, подобной которой нет нигде в цивилизованном мире, главнейшая идея, упорнейшее предание которой на протяжении веков от древних времен и до сих пор — идея произвола и слепого повиновения произволу; не закон и сознательное содействие друг другу членов, но произвол и покорность суть те силы, которыми достигаются внутреннее равновесие и крепость этого сообщества, здесь все рабы и одновременно Батыи, снизу доверху все сплошь рабы и маленькие и большие Батыи... Всех нас с рождения одевают в эту броню, только у одних она оказывается потолще, у других потоньше. У нее, к несчастью, оказалась не из тонких. Что ж, придется бить в эту броню, покуда не образуются трещины, бить хотя бы и всю жизнь. Покуда жив человек, остается же надежда, что рано или поздно проникнется он положительным смыслом, примется основательно за свое развитие...

Она вздохнула во сне, как ребенок, почмокала губами, сползла с его руки и снова затихла. Он согнул руку в локте, с трудом удерживаясь, чтобы не засмеяться от счастливого чувства освобождения, руку теперь всю прокалывали тысячи булавок, но это была отпускающая боль.

Заснуть он уже не мог. Тихо, чтоб не разбудить жену, встал, оделся и ушел к себе в кабинет. До завтрака было еще порядочно времени, можно было успеть перевести вчерашние пять страниц и начать норму нового дня.

Глава четвертая

1

Вся следующая неделя прошла в суете, но было «чистых» дней для Милля.

Не давала покоя цензура. Как будто вдруг почувствовал что-то неладное цензор «Современника», стали дольше застревать у него корректуры последних, самых важных для журнала статей самих редакторов и некоторых постоянных сотрудников, статей, готовившихся обычно в последнюю очередь и содержавших мнения по животрепещущим вопросам жизни, все придирчивее становился красный цензорский карандаш, длиннее делались кресты, казнившие отдельные строки и целые абзацы. Цеплялся цензор за статью Елисеева «О препровождении ссыльных по Сибири», одно заглавие которой уже настораживало его, и за «Внутреннее обозрение», составленное тем же Елисеевым; повторно потребовал на прочтение статью Обручева о невольничестве в Америке; в связи с тем, что слово «невольничество» было и в названии цикла переведенных Михайловым стихотворений Лонгфелло, печатавшихся в той же книжке, «Песни о невольничестве», потребовал одно из названий изменить, чтобы не повторялось подозрительное слово. Цеплялся за добролюбовскую статью о пьемонтском парламенте и «Политику» Чернышевского.

Приходилось каждый день ездить к цензору объясняться, отстаивать зачеркнутое или, когда отстоять не удава-

лось, переписывать забракованное место, потом разыскивать автора статьи и согласовывать с ним правку, потом пересылать статью в типографию, где наборщики перебирали исправленное место, потом снова ездить к цензору, если он требовал показать ему поправленную корректуру,— на всю эту возню уходила уйма времени, выход журнала задерживался.

Конечно, основания цепляться за статьи у цензора были, этому удивляться не приходилось. Если чему и приходилось удивляться, так это тому, как еще удавалось что-то протаскивать в журнал. Одного мастерства иносказаний было недостаточно. Совершенствовался автор в изворотливости, изощреннее делался его язык, но совершенствовался и цензор в своем деле, часто он задерживал статью не потому, что в ней были допущены прямые нарушения цензурных правил, а потому, что прекрасно видел все ухищрения и хитрости, и чем больше их было, тем подозрительнее казалась статья. Можно было жаловаться на цензора в цензурный комитет, но проку от такого рода жалоб было мало. Лучше для дела было не ссориться с цензором, а наладить с ним такие отношения, чтобы можно было вести диалог. Такие отношения и были между редакторами «Современника» и цензором, и вся неделя была для Чернышевского бесконечным диалогом с ним.

Были в этом диалоге-споре поражения, но были и победы. Все решала тактика. Например, уступая в мелочах, можно было отстоять более существенное. Согласившись, например, после наигранно отчаянного сопротивления изменить название цикла михайловских переводов из Лонгфелло на «Песни негров», убрав из названия «невольничество», Николай Гаврилович сумел отстоять дерзкое начало «Внутреннего обозрения», казалось бы совершенно безнадежное. Открывая обозрение, автор его, Елисеев, писал: «Вы, читатель, вероятно, ожидаете, что я поведу с

вами речь о том, о чем трезвонят, поют, говорят теперь все журналы, журнальцы и газеты, т. е. о дарованной крестьянам свободе. Напрасно. Вы ошибаетесь в ваших ожиданиях. Мне даже обидно, что вы так обо мне думаете» — и так далее в том же издевательском тоне по отношению к крестьянской реформе. Тем самым «Современник» прямо заявлял, что остается верен принятой им год назад линии, когда он демонстративно перестал участвовать в обсуждении условий крестьянской реформы, ход которой уже тогда определился вполне: будет проведена по к выгоде крестьян.

Играла роль конечно же и личность цензора. С начала года цензором «Современника» был назначен Бекетов, лучший из цензоров журнала за все годы его издания. Он вел «Современник» еще в начале пятидесятых годов, но в пятьдесят шестом году был отстранен от должности за то, что дозволил перепечатать в журнале из вышедшего тогда поэтического сборника Некрасова несколько тенденциозных стихотворений, и в том числе «Поэта и гражданина». Бекетов был не трус и не тупица, как его предшественник Рахманинов, при котором журнал несколько раз попадал в катастрофическое положение,— нечего было печатать, все статьи останавливались цензором без всяких видимых причин, просто по его чрезмерной подозрительности и трусости. Бекетов понимал дело шире. «Будь ты хоть семи пядей во лбу,— говорил он,— а не убережешься от взысканий, потому что нет возможности предугадать, кому из начальства какое придет в голову толкование смысла статьи». Он предпочитал доверительные отношения с редакторами, справедливо полагая, что редакторам выгоднее жить с ним в ладу. «Вы только цените меня, господа,— говаривал он,— и мы дружно заживем».

С Бекетова, большого любителя хорошо поесть и выпить, и пошли в «Современнике» ежемесячные обеды-угощения. Он прямо напрашивался на угощение каждый раз,

подписав очередную книжку журнала: «После трудов надо, господа, и отдохнуть. Я завтра приеду обедать к вам, только по-семейному». И приезжал, и благодушествовал, и откровенничал, поругивая начальство и жалуясь на трудное положение цензора («Неблагодарная должность. Никогда и никто не скажет тебе спасибо за твои труды. Зато всегда за любой пустяк могут прогнать со службы»). Очень любил, когда за обедом пили за него, расхваливали его храбрость и литературный дар, называли единственным просвещенным цензором в России. Он умилялся и растроганно благодарил литераторов.

И вправду веря, что у него есть литературный дар, Бекетов любил сам исправлять подозрительные места статей, вписывал целые страницы отсебятины классическим языком канцелярских записок, независимо от того, цензуровал ли сухую статистическую справку или роман. Впрочем, не обижался, когда авторы браковали его текст, переписывали зарезанные куски по-своему.

Несмотря на эти его чудачества, все-таки с ним можно было вести диалог, отстаивать то, что важно было отстоять.

Но и Бекетов был бессилен противостоять веянию времени, а веяло приближающейся грозой, и красный карандаш его день ото дня делался все менее либеральным и сговорчивым. Только к концу недели появились признаки того, что Бекетов вот-вот подпишет третью книжку.

Кроме поездок к цензору было в эту неделю много поездок и по другому цензурному делу — по поводу записки об отмене цензуры. В субботу 18 марта Николай Гаврилович побывал у Вернадского. Замечания Вернадского по тексту записки были несущественны, он и правда, как сказал о нем Некрасов, был в восторге от нее и не столько говорил о своих поправках к ней, сколько о том, какой эффект может произвести записка, если удастся собрать под нею подписи редакторов всех издающихся в России

журналов и газет, а в том, что каждый подпишется, он нисколько не сомневался. Он не ожидал, что Николай Гаврилович сумеет так составить записку, так соединить свои мысли с его мыслями, чтобы все это было основательно и практично, и не было сомнений, что, прочти это государь — а надобно будет постараться довести будущий адрес до его сведения,— он легко поймет всю нелепость и тщету деятельности цензоров. Хвалил Николая Гавриловича за эту основательность и практичность, хвалил за самую идею записки-адреса и удивлялся, что именно Николай Гаврилович высказал эту идею, и цитировал из записки вслух особо выразительные места, и вспоминал их давнюю полемику об общине, и опять хвалил Николая Гавриловича, теперь за упорство и остроумие, с коими тот обосновывал и проводил в статьях последних лет мысль о промышлепно-земледельческих товариществах, машинизированной сельской общине и промышленной ассоциации рабочих как основе будущего, социалистического, устройства России, в которое сам Вернадский не верил, как в утопию, но идею которого принимал с интересом и сочувствием, именно как утопию, понимая, что без утопий невозможно развитие науки; и бранил крестьянскую реформу за чрезмерные, разорительные для крестьян, нормы выкупа, и бранил самодержавие как главного виновника всех экономических неурядиц России. Пункты, которые он хотел обсудить, касались практической стороны дела, как собрать требуемые подписи. Договорились, к кому из петербургских редакторов съездит Николай Гаврилович, к кому — Вернадский.

В четверг 23 марта снова сошлись у Вернадского. Не всех редакторов успели объехать к этому времени, но те, у кого побывали, отзывались о тексте записки одобрительно, безусловно соглашаясь с главным пунктом — с необходимостью требовать отмены предварительной цензуры, и выражали готовность подписаться под будущим адресом.

Не было надобности объезжать всех редакторов теперь же, ясно было: все подпишутся под адресом.

— Надо ехать в Москву,— заключил Вернадский,— если и между москвичами обнаружится такое же единодушие, то и поспешить с составлением окончательного текста адреса. Время для его подачи на редкость удобное.

Но кому ехать в Москву? Вернадский читал курс в педагогическом институте и раньше, чем через две-три недели, не мог освободиться.

— Я, пожалуй, освобожусь раньше,— сказал Николай Гаврилович.— Если на этих днях цензор подпишет книжку, смогу выехать в субботу или в воскресенье.

— Чем скорее, тем лучше,— сказал Вернадский.— В Москве, я думаю, вам нужно будет прежде всего обратиться... Впрочем, что же я навязываюсь с советами? Вы, конечно, не хуже меня знаете, как действовать в Москве, с кем говорить. Извините.

— Что вы, напротив. Я как раз хотел просить вашего совета. Вы старый москвич, а я там мало кого знаю. Но я понимаю, кого вы имеете в виду. Конечно, прежде всего нужно говорить с Катковым?

— Да, обратитесь к нему. Он соберет у себя всех московских журналистов, вам не потребуется ездить к каждому из них. Конечно, если он захочет участвовать в этом деле. Вообще заручиться его согласием очень важно. За ним пойдет большая часть москвичей. Да и среди здешней публики есть такие, что вряд ли поставят свою подпись, если не будет его подписи. Впрочем, я думаю, он не откажется участвовать. Одно меня смущает: вам удобно ли обращаться к нему? Ведь вы с ним в полемике.

— А почему неудобно? Полемика полемикой, а дело делом. Нам же с вами наши разногласия не помешали сойтись в этом деле?

— Да, вы правы,— улыбнулся Вернадский.— А к Каткову я, пожалуй, напишу письмо. А вы передадите...

Еще раз прошлись по тексту записки.

— Все-таки, как хотите, это странно,— хитро посматривая живыми глазками, сказал Вернадский.— Странно, что именно вы подали мысль об адресе. Зачем это вам нужно? Ведь вы же не верите, что из этой затеи выйдет что-нибудь путное. Ну, нам, либералам, простительно предаваться подобным иллюзиям. Но вам, социалисту, материялисту?

— Почему же не верю? Напротив, я именно верю, что можно кое-чего добиться,— с усмешкой отвечал Чернышевский.— Во всяком случае, заменить предупредительную цензуру карательной — этого можно добиться.

— Ну да, а толку что? Вместо одной формы цензуры будет другая. Станет ли лучше? Карательная цензура с ее системой мер наказания журналистов, а не цензоров лучше предупредительной при установившемся и справедливо применяемом законодательстве, не допускающем произвола властей. А при наших-то порядках может ли быть лучше? Без изменения-то всего характера нашего национального устройства? — хитрец Иван Васильевич говорил как бы от лица Чернышевского, его словами, буквально повторяя выражения из его статей, показывая, что понимает его логику; последнюю фразу, как намекающую на центральную мысль политических статей Чернышевского, он особо подчеркнул.— Да положение печати станет еще невыносимее! При наших порядках карательная цензура убьет все таланты, уничтожит литературу. Так ведь будет, не правда ли?

— Нет,— смеясь, отвечал Чернышевский,— я не думаю, что именно так будет.

— Хорошо, не совсем так. Но положение печати существенно не изменится от замены одной формы цензуры другою. Признайтесь же, что вы не ожидаете существенных перемен?

— А вы ожидаете?

— Я-то ожидаю. Нашему брату, либералу, свойственно ожидать виноградных гроздов на терновнике,— опять иронически процитировал он Чернышевского.— А вот вы — не ожидаете. Так какую-же особую цель вы имеете в виду?

— Моя особая цель состоит в том, чтобы добиться отмены предупредительной цензуры,— мягко повторил Николай Гаврилович, вставая.

— Не хотите говорить. Ну да бог с вами,— добродушно сказал Вернадский, тоже вставая. Он нисколько не был обижен на Чернышевского: не может человек сказать все — значит не может.

Они расстались дружески, договорившись встретиться тотчас по возвращении Николая Гавриловича из Москвы.

2

Назойливость Вернадского не удивила Николая Гавриловича. И он бы на месте Ивана Васильевича сильно любопытствовал узнать, что же побуждает хлопотать о цензурной реформе человека, постоянно проводящего в своих статьях мысль о том, что сколько-нибудь важные улучшения в жизни общества невозможны без изменения коренных учреждений, общего характера общественных отношений нации.

Между тем он вовсе не лукавил, говоря, что его цель состоит в том, чтобы добиться смены форм цензуры, не более того. Да, не более того. То есть если бы удалось добиться хотя этого, он был бы более чем удовлетворен. Рассчитывать-то на большее все равно не приходилось. Разумеется, он не обольщался, и Вернадский, умница, правильно его понял насчет результатов замены предупредительной цензуры цензурою карательной. Конечно, существенных перемен в положении печати не могло произойти от того, что не цензор, а писатель и редактор жур-

шла отвечали бы за напечатание крамольного сочинения. Да не в существенных переменах было дело. Не улучшение положения печати само по себе было важно. Важна была *борьба* за это улучшение. Важно было возбудить общественное оживление.

Несколько времени назад, недели за две до того обеда с цензорами, на котором Николай Гаврилович предложил составить адрес с требованием цензурной реформы, сошлись у него на квартире четыре молодых человека из кружка, называвшего себя партией великорусов. Называли себя так члены кружка, чтобы подчеркнуть отличие от многочисленных польских тайных кружков. В кружок этот входили помимо статских чиновников, литераторов и студентов офицеры военных академий и частей петербургского гарнизона — русские офицеры, входившие также в польские офицерские кружки и хорошо знавшие настроение поляков, для которых на первом месте было их национальное дело — освобождение Польши, в то время как для них, русских членов, на первом месте был социальный переворот, следствием которого могло быть и должно было стать освобождение Польши. Эти русские офицеры, образовавшие с единомышленниками из статских отдельный кружок, и предложили называть всех входивших в этот кружок партией великорусов.

Кружок великорусов, подобно кружку Михайлова и Шелгунова, был замкнутым, члены его обязаны были хранить в тайне все свои организационные начинания, и хотя, как и Михайлов с Шелгуновым, тоже мечтали о распространении своего влияния на другие кружки, об объединении всех российских кружков в одну организацию, тем не менее вынуждены были пока держаться в полной тени. Вынуждены были до поры до времени удерживаться даже от того, чтобы объявить обществу о самом факте существования своего кружка, претендующего стать

в будущем ядром всероссийского объединения оппозиционных сил. Конечно, предполагалось, что это «до поры» не протянется слишком долго.

Как михайловский кружок и все тайные кружки того времени, кружок великорусов не был организацией в строгом смысле — составляли его не профессиональные революционеры, строгого разделения обязанностей между членами не было, не было ни регулярности в их встречах и занятиях, ни планомерности в этих занятиях, не было кассы, не было даже пока и программы, программа только вырабатывалась. Но правила конспирации соблюдались. О существовании этого кружка не знали даже Михайлов и Шелгунов, считавшие «своим» Чернышевского, которого считали «своим» и великорусы. Если же говорить точнее, Михайлов и Шелгунов знали, что есть в Петербурге кружок им лично хорошо знакомых господ, с которыми они часто встречались в обществе, у того же Чернышевского например, с которыми были даже в приятельских отношениях, зная их как людей честных, не рутинных взглядов, но все же в общении соблюдалась известная дистанция, и каковы их особенные взгляды, в какой мере эти господа сплочены между собою, на каких основаниях строятся их отношения в их собственном кружке, этого Михайлов и Шелгунов не знали. Могли только догадываться, что кружок их — не просто светский кружок, что между собою эти господа так же открыты, как открыты между собою Михайлов и Шелгунов, ломают головы над теми же проклятыми вопросами, над которыми ломали головы все основательные люди, более того, могли смотреть на них как на достойных кандидатов — будущих возможных членов своего кружка. Но не больше того! Понятно, что точно так смотрели на самих Михайлова и Шелгунова и великорусы.

Великорусы, как и Михайлов с Шелгуновым, мечтали о своей типографии, об издании подпольной газеты, с ко-

торой связывали большие надежды. Они смотрели на газету не только как на средство распространения в обществе новых взглядов, но и как на средство *организации*, объединения всех оппозиционных сил России. В программе, которую они энергично обсуждали в самом начале 1861 года, этой роли будущей газеты отводилось много места. С помощью газеты они рассчитывали организовать всероссийскую кампанию по сбору подписей под адресом царю, адресом, который содержал бы первоочередные требования, прежде всего — созыва народных представителей. И проект адреса, и полную программу необходимых, по мнению великорусов, преобразований в стране предполагалось издать и распространить в обществе и в народе с помощью подпольной газеты.

Но вопрос в том, как организовать это дело. И возможно ли его организовать слабыми силами молодого кружка, в условиях полицейского государства, политической апатии основной массы образованного общества и летаргии народной массы? Стоит ли вообще игра свеч?

С тем и сошлись на квартире Чернышевского в феврале, еще до известий о подписании государем манифеста о воле, четыре великоруса, чтобы обсудить все эти сомнения и вопросы. Точно так сходились у него для подобных целей члены кружка Михайлова и Шелгунова и члены кружка Жераковского и Домбровского и многих других кружков, и не только петербургских...

Молодыми людьми, пришедшими к Чернышевскому, были Обручев-младший, Петр Иванович Боков, старший Серно-Соловьевич (Николай, автор острых статей о положении крестьян, весь прошедший год пропутешествовавший за границей, где встречался с Герценом и Огаревым, теперь готовил для «Современника» серию политических статей, с ним Николай Гаврилович особенно близко сошелся в последнее время) и Александр Васильевич Захарьин, чиновник из Калуги, родственник Чернышевских

(младший брат Ольги Сократовны по отцу — его незаконный сын), часто приезжавший в Петербург и останавливавшийся у Чернышевских. Молодые люди, излагая свои вопросы, все сворачивали на адресную кампанию, более всего были озабочены этим делом.

— Действовать на народ мы всегда успеем. И на радикальную публику тоже. А вот попытаться объединить всех противников существующего порядка, покуда обстоятельства благоприятны, не мешало бы поторопиться,— горячо говорил Серно-Соловьевич.— Наше общество еще не имело случая испытать себя в деле такого масштаба. Дадим ему этот случай.

— Возможно, что из этого опыта ничего не выйдет. Неважно. Отрицательный результат — тоже результат,— рассуждал Обручев.— Всем станет ясно, что надежды на серьезные уступки обществу со стороны власти бессмысленны.

— Это верно,— согласился Чернышевский.

Идею адресной кампании он одобрил. «Идея, конечно, фантастическая. Утопическая идея. Надеяться на то, что удастся собрать достаточно большое число подписей и что это заставит власть пойти на уступки — чистейшая утопия,— говорил Чернышевский.— Но Россия — оригинальная страна. Здесь если что когда и осуществлялось путное, так только самым немыслимым, фантастическим образом. Стоит вспомнить хотя бы Петра и его реформы. Чего хотел Петр — перенести к нам западную цивилизацию? Да нет, он лишь хотел устроить сильное русское войско по западному образцу. Однако некоторое изменение в жизни и нравах общества произошло... Надо попробовать. Ну а если пробовать, то следует продумать тактику. Я бы не советовал, например, начинать дело прямо со сбора подписей. Сил вашего кружка на это не хватит. Предварительно было бы недурно попытаться завести повсюду особые кружки или комитеты, со специальной задачей — готовить-

ся к сбору подписей под будущим адресом каждому комитету в своей местности. А еще бы недурно было предварительно провести две-три кампании поменьше, по каким-нибудь частным вопросам общей программы. Например, можно было бы попробовать провести кампанию против цензуры. От имени петербургских журналистов или даже от всей российской журналистики потребовать от правительства отменить предупредительную цензуру. Момент для такого ходатайства подходящий. Вся Европа теперь занимается вопросами свободы печати. Пример, как всегда, подает Франция, сам император Луи вдруг осознал, что при нынешнем брожении умов в цивилизованном мире нужны реформы и надобно дать печати бóльшую свободу. Теперь в Париже собран законодательный корпус, ожидают либеральных законов. Ожидают либеральных законов в Австрии, Пруссии... А хотите, господа, я и попробую начать такую кампанию? При первом же большом собрании журналистов выставлю это предложение...»

Мысль о кампании по поводу цензуры, явившуюся в этом разговоре с великорусами, Николай Гаврилович высказал с улыбкой, еще не уверенный, основательна ли она, но великорусы одобрили ее, сочли стоящей, успех такой кампании имел бы немалое агитационное значение, и он, подумав, решил, что, пожалуй, она и в самом деле не так уж дурна, что попробовать стоит.

Первым большим собранием журналистов оказался тот обед с цензорами, на котором Николай Гаврилович сошелся с Вернадским, на этом обеде он и высказал свое предложение...

Ничего этого, понятно, не мог он открыть Вернадскому.

Не мог открыть, впрочем, не только потому, что не был близок с Иваном Васильевичем настолько, чтобы доверить ему конспиративную тайну. Дело было не в недоверии к нему. Напротив, насколько его знал Николай Гаврилович,

он был как раз такой человек, которому можно довериться. Это был либерал в лучшем значении этого слова. Он желал бы, чтобы в один прекрасный день в России кончилось самовластие, которое он считал главной помехой свободного экономического развития страны, и установился конституционный порядок, как в передовых странах Западной Европы. Любую общественную инициативу, направленную на устранение или хотя бы ограничение самовластия, он был готов поддержать. Предложение Чернышевского об адресе против цензуры было, по существу, направлено на ту же цель, и он с готовностью это предложение поддержал. Поддержал бы, пожалуй, и идею всероссийского адреса с требованием созыва народных представителей и некоторые другие пункты программы великорусов, если бы Николай Гаврилович открыл ему их программу. Однако программа великорусов вовсе не сводилась к борьбе с самовластием. Говорить же с ним о том, что выходило за пределы этой программы, о том, что он мог отнести к разряду утопий, было бы вполне бесполезно... Утопиями были для него все те социальные теории, которые рисовали возможное будущее общественное устройство. Если теория описывала общественные механизмы, которых еще нельзя было наблюдать в жизни, она была утопией. Утопией была для него и экономическая теория трудящихся Чернышевского с ее принципиальной установкой на выравнивание благосостояния всех людей, хотя Вернадский и признавал ее бо́льшее соответствие потребностям времени по сравнению с любой из существующих теорий капитала, признавал это, несмотря на то, что не переставал считать экономически все же более эффективной систему, основанную на частной собственности и соперничестве. Однако он понимал, что бо́льшая эффективность могла оказаться недолговечной в исторической перспективе. Составляющая существо гипотетического общества трудящихся забота о благосостоянии массы

и об развитии, он понимал, всего вернее гарантирует развитие высших благ всех классов общества на современном, промышленном этапе цивилизации, основанном на прогрессе знаний и распространенности их... Но эта теория описывала небывалое общество, следовательно, это была утопия.

Бесполезно было бы ему доказывать, что надо же как-то пытаться приблизить лучшее будущее, что всякому важному улучшению в жизни общества всегда предшествует теория, любые порядки вводятся искусственно, законодательными мерами власти,— власть, убеждаемая теоретическими соображениями ученых людей, и принимает соответствующие законодательные меры; и надобно бороться за то, чтобы в жизнь вводились меры, более сообразные с потребностями времени. На все это Иван Васильевич отвечал бы, посмеиваясь: вы верите, что надобно бороться, вы и боритесь, а меня увольте. Сумеете осуществить вашу утопию — я первый признáю ее благодетельность для человечества. А покуда она остается для меня утопией... Бороться надо не за утопии, а за те социальные формы, которые уже где-то вошли в жизнь,— нам, русским, надобно сперва догнать передовые народы. За что надо бороться? За конституцию. За отмену цензуры. За уничтожение всяких форм несвободного труда. За многое другое, чего у нас нет, но что есть у других. А то, чего нигде нет, может и вовсе не осуществиться... Всякому улучшению в жизни общества предшествует теория, так. Но кто может знать заранее, какой теории суждено осуществиться, а какой так и остаться утопией? Как и почему входят в жизнь новые общественные формы — это тайна, и не нам с вами ее разгадывать. В лучшем случае мы можем обнаружить в характере смен этих форм проявление исторической случайности. А можно ли предсказать случайность? Уже сама постановка такого вопроса абсурдна... Поговорить обо всем этом, конечно, можно. Отчего

не поговорить? Поучительно. Обсуждение утопий вообще полезно для науки: дразнит воображение и в то же время дисциплинирует ум, учит сосредоточивать внимание на существенных вопросах и отбрасывать соблазнительные пустяки. Поговорить можно. Но действовать для осуществления утопий — увольте. Словом, вы считаете, что будущее предсказуемо, я считаю, что нет. Доказать что-либо безусловное ни вы, ни я не в состоянии. Но одно можно доказать с уверенностью: если мы будем меньше горячиться по поводу неведомого будущего — реже будут разжигаться костры для особенно нетерпеливых из нас, которых никакая власть не любит. Меньше костров — меньше ненависти в человечестве, ровнее процесс совершенствования жизни...

3

В субботу, 25 марта, Николай Гаврилович забрал у Бекетова последние подписанные им корректуры третьей книжки «Современника», оставалось Бекетову просмотреть и подписать всего две страницы объявлений книжных магазинов, которые лишь накануне были посланы в типографию и теперь, должно быть, уже были набраны, их не привез Николай Гаврилович потому, что приехал к Бекетову прямо из дома, думая, что Бекетов и на этот раз подпишет не все корректуры, которые держал у себя, но тот вдруг проявил прыть. В отношении объявлений договорились, что Николай Гаврилович, когда будет в типографии, перешлет их Бекетову с мальчиком.

Итак, работа по третьему нумеру кончилась. Можно было ехать в Москву.

Можно было ехать в Москву, несмотря на то что одно дело так и не было сделано: не написал Николай Гаврилович прокламацию к барским крестьянам. Однако не написал не по своей вине. Дело задержалось из-за москвичей. Все не было от них никаких вестей, и еще в середине не-

дели, встретившись, Чернышевский и Михайлов решили, что не стоит писать до получения положительных известий о том, что в Москве все готово к печатанию. Мало ли что там у них могло случиться? Благоразумие требовало не слишком торопиться с писанием. Вчера снова виделись и решили, что Николаю Гавриловичу нет надобности ставить его поездку в Москву в зависимость от этого дела: когда ему нужно будет ехать — пусть едет. Если ко времени его отъезда еще не будет вестей из Москвы, ему придется в Москве навести справки, может быть, даже съездить к Костомарову домой, посмотреть на него в домашней обстановке. Во всяком случае, нынче вечером Михайлов должен был еще раз заглянуть к Николаю Гавриловичу.

Выйдя от Бекетова, Чернышевский поехал в контору Николаевской железной дороги, взял на завтра два билета до Москвы в вагон второго класса — для себя и Елисеева, который вызвался ему в товарищи по цензурному делу,— и затем отправился в типографию, передал Елисееву билет, метранпажу — корректурные листы с поправками Бекетова, послал Бекетову с типографским учеником корректуру объявлений и занялся корректурами собственных статей.

К трем часам он освободился и пошел домой.

Когда переходил Садовую, вдруг подумал, как хорошо было бы, если бы сейчас вдруг он встретил здесь Анну Аркадьевну. Отчего бы этому было и не случиться? Как и тот раз, так и теперь она могла захотеть его увидеть и прийти сюда в этот час, когда он должен возвращаться из типографии. И почему бы ей не захотеть этого? Захотел же он сам теперь увидеть ее, хотя тогда, полторы недели назад, вовсе не предполагал, что когда-нибудь захочет этого. И думал о ней все это время, особенно почему-то часто в последние дни... В тот раз она вышла из-под крайней арки Гостиного двора. Может быть, и теперь оттуда

выйдет? Что, если в самом деле выйдет? Вот пройдут молодые купчики в цилиндрах, выходящие теперь оттуда, и бедно одетые высокий барин и толстая барыня, и две бабы с коромыслами, и оборванец с лотком, заслоняющий собою арку, и появится она? Было бы славно... было бы кстати. От той их встречи осталось впечатление праздника, чего-то необычайного, очень свежего и яркого, дразнящего... Вот сейчас... сейчас появится из-под арки...

Впрочем, почему из-под арки? Она может идти и по Невскому...

И едва подумал об этом, как тут же и увидел ее.

Он даже остановился от изумления. Неужели и правда она? Точно, она! Она шла по Невскому, вдоль Гостиного двора, почти по самому краю тротуара, медленно шла ему навстречу и улыбалась.

И остановилась, увидев его. Смотрела на него с напряженной улыбкой, как бы виноватой.

Он почувствовал, как сильно стукнуло в груди и заходило ходуном сердце. Он пошел к ней, чувствуя, как лицо помимо воли расплывается в радостную улыбку. Заметив его улыбку, и она расцвела улыбкой. И пошла к нему, вскинув голову и ускоряя шаг. Вынув руку из муфты, быстро поднесла ее к лицу как бы для того, чтобы поднять вуаль, но вуаль и без того уже была откинута на шляпку. Она тут же забыла о руке и так с поднятой рукой и шла, не сводя с его лица радостно-удивленного взгляда.

Они сошлись, как старые друзья. Не имел он привычки целовать руки дамам, никогда никому не целовал, исключая единственно Авдотью Яковлевну Панаеву, которую душевно любил и уважал, а тут не в силах был удержаться, схватил руку Анны Аркадьевны и поцеловал.

— Анна Аркадьевна, как хорошо, что мы встретились! — не отпуская ее руки, сказал он с совершенной искренностью и радуясь этой своей искренности.

Она счастливо засмеялась:

— И я... так рада!

— А я уж собирался писать вам, хотел просить о свидании. И, представьте, хотел предложить вам встретиться, где бы вы думали?

— Здесь, да?

— Ну, конечно, здесь! А вы — вот она! Какая вы умница, что догадались...

— А я боялась... ужасно трусила...

— И напрасно...

— Не могла с собою справиться... Ужасно боялась, что вы рассердитесь...

— Когда увижу вас здесь, да?

— Да. Что я навязываюсь вам...

— Да, я так и думал, что вы будете этого бояться...

— Я же не знала... Но я догадывалась...

— Что и я захочу вас увидеть?

— Да,— засмеялась она.

И он засмеялся. И подумал со счастливым чувством, с наивным мальчишеским тщеславным удовлетворением, что вот и он разговаривает с женщиной, с прекрасной женщиной, так же естественно и свободно и так же они понимают друг друга с полуслова, с полунамека, как разговаривали недавно Иван Федорович и Ольга Сократовна, когда он позавидовал им, позавидовал вот такому их согласию...

Однако надо было идти куда-нибудь, на них уже обращали внимание. Какой-то чиновник в рваной зеленой шинели, в фуражке с наушниками, пробегая мимо, остановился возле них, торопливо заглянул в лицо Николаю Гавриловичу, потом Анне Аркадьевне, потом снова Николаю Гавриловичу, чему-то вдруг страшно поразился и дальше побежал, все оглядываясь на них и натыкаясь на прохожих.

— Пойдемте отсюда,— сказал Николай Гаврилович.— Я провожу вас? Как в тот раз?

— Да...

Они пошли вдоль Гостиного двора.

— У меня к вам уйма вопросов,— сказал он.

— Да, и у меня к вам...— ответила она.

— Знаете, ведь я прочитал вашу статейку в «Русском вестнике», хотя вы и отговаривали меня от этого... Да! Ведь я прежде хотел спросить, что же ваша история с пощечиной?

— Я прекратила отношения с теми господами, из-за которых все началось. Конечно, уведомив их об этом. Вот, собственно, все...

— И с вашими родственниками тоже? В доме которых это случилось?

— И с ними тоже.

— Ничего, еще поправятся ваши отношения с ними,— смеясь, непроизвольно смеясь, не в силах сдержать своего ликующего чувства, сказал он, стараясь, однако, придать своему голосу утешительный оттенок.

— Не знаю. Не уверена,— не приняла она его утешения.

Она шла, не опуская вуали, должно быть, забыв про нее, пожалуй, так и не привыкнув к этому элементу модного туалета, которым едва ли пользовалась часто на своем провинциальном приволье, и он с наслаждением рассматривал ее лицо, откровенно любуясь им...

С юности оставалась неисполнившейся мечта о женщине-друге, с которой он мог быть на равных во всем, во всех своих понятиях и интересах, влечениях, как можно быть на равных с другом-мужчиной. Еще в юности он пришел к убеждению, и с годами это убеждение укреплялось, что только тогда, когда подобное равенство между мужчиной и женщиной станет нормой человеческих отношений и обычным явлением, можно будет всерьез надеяться изменить жизнь человечества так, чтобы большинство вырабатывалось в достойных людей... Надеялся, что суме-

от сделать таким другом Ольгу Сократовну. Что ж, может быть, когда-нибудь и станет она для него таким другом. Может быть. Но когда это будет? И будет ли?

Неужели теперь исполнилась мечта? Не слишком ли поздно? Да не обманывается ли он?

— Так вот, о статье,— сказал он.— Она оставила во мне несколько загадок. И первая из них...

— Семейная святыня? — с улыбкой подсказала она.

— Да. Что же вы имели в виду? Свою семью?

Она ответила, помедлив:

— Скорее, идеальную семью...

— Так. Идеальная семья. Но и своя семья... Мы с вами еще так немного знаем друг о друге. Вы обо мне знаете больше. Расскажите о себе. Что же за семья у вас, когда вы с мужем не вместе? Ведь вы одна живете?

— Да...

— Он дурной человек?

— Нет, он был очень хороший человек. Ему я очень многим обязана...

— Почему был? Он умер?

— Нет, жив... Он несчастный человек... Это длинная история.

— Что же, что длинная? У нас с вами теперь, кажется, будет много времени, чтобы и об этом, и о многом другом поговорить... Что же муж, остался в Перми? Он служит?

— Да. Но...— она была в затруднении, похоже, ей не очень-то хотелось говорить о муже.

Он поспешил ей на помощь:

— Я хочу спросить, на какие средства вы живете? Судя по всему, вы не миллионщица.

— Не миллионщица, нет,— покачала она головой, принимая его помощь с видимым удовольствием.

— Однако и не из бедных?

Она улыбнулась.

— Я живу своим трудом,— это она произнесла с гордостью.— Или, пожалуй, правильнее сказать, стараюсь жить своим трудом. У матери небольшое имение, и она, конечно, присылает немного денег. Но и своим трудом зарабатываю. Немного переводами и статейками. Немного работой в мастерской. У нас с тетушкой... с саратовской тетушкой... здесь, в Петербурге, небольшое дело, швейная мастерская, мы обе там выполняем некоторые обязанности за заработную плату.

— За заработную плату? — не понял Николай Гаврилович.— В *своей* мастерской? (Подумав, что, может быть, ослышался, переспросил.) Вы говорите, это *ваше* дело?

— Да, наше дело.

— То есть основано на вашем капитале?

— Да,— она смотрела на него со сдержанной улыбкой, явно наслаждаясь его удивлением.

— Что же значит эта ваша заработная плата? — спросил он, помолчав.

Она засмеялась, довольная впечатлением, произведенным на него словами о заработной плате. Ответила:

— В двух словах трудно объяснить. Это не коммерческое предприятие...

— Ах, вот как! Кажется, я начинаю догадываться...

— Да,— кивнула она. — Я давно хотела поговорить с вами об этом... Мы с тетушкой хотели. Хотели посоветоваться с вами. Еще в прошлом году, когда только раздумывали, с чего начать, как подступиться к делу. Это было весной. Но так получилось, что нам предложили на выгодных условиях приобрести действующее заведение, раздумывать было некогда, мы решились и все лето занимались финансовыми операциями. А осенью, когда я стала вас встречать у Шелгуновых, я так и не решилась к вам подойти.

— А ваша тетушка тоже бывает у Шелгуновых?

— Бывает, но редко и ни разу не встретила вас. Ина-

что бы вы уже были знакомы, она не стала бы церемониться, как я. Меня она все время ругает, что я такая (она весело посмотрела на него) квашня. Она меня так называет.

— Вы меня заинтриговали и мастерской вашей, и вашей тетушкой.

— Да, тетушка у меня редкая женщина... Дело в том, что мы с нею решились осуществить один проект моего мужа. Они с тетушкой были в большой дружбе. Оба увлекались политической экономией, даже организовали кружок в Перми, она одно время жила с нами в Перми. Читали французских и английских экономистов, делали доклады. И Милля читали. Еще до ваших переводов из него. Потом, кажется, и ваш перевод читали, с вашими примечаниями и дополнениями... Нет, это уже мы с тетушкой вдвоем читали, когда переехали в Саратов, в прошлом году. Там же, в Саратове, прочли и вашу статью «Капитал и труд». Я об этом говорю потому, что мы тогда и подумали, что вас должно заинтересовать то, что нам предложил муж. И когда мы собрались в Петербург, то решили, что прежде всего надобно будет посоветоваться с вами.

— Что же предложил ваш муж?

— Он сделал расчет нормы вознаграждения капитала за участие в производстве...

Николай Гаврилович с удивлением и даже испугом посмотрел на нее, спросил разочарованным тоном:

— Он защищает право капитала на вознаграждение?

Анна Аркадьевна засмеялась.

— Да нет же! Я, наверное, неправильно выразилась. Наверное, надо говорить не о вознаграждении, а как-то иначе, я не умею сказать. Речь о том, чтобы с помощью капитала, ссудой капитала работникам помочь им стать со временем, по возвращении ими ссуды, владельцами всего капитала, хозяевами дела...

— Ах, вот что! Это совсем другое,— сказал Николай Гаврилович с видимым облегчением. — Ссуда с уменьшающимися процентами по ней. Милль пишет об этом.

— Ну да, только Милль не дает никаких расчетов. А муж сделал расчет и предложил нам с тетушкой его осуществить.

— У вас были деньги?

— Двадцать тысяч. Мне их передал муж после того, как мы решили разъехаться. Я не хотела их принимать, тогда он предложил свой проект как способ употребить эти деньги с общественною пользою. Мы с тетушкой подумали и согласились.

— В чем же суть проекта?

— Лучше будет, Николай Гаврилович, если об этом вы поговорите с тетушкой. Она лучше меня понимает дело, да она и ведет его, я только помогаю кое в чем. Притом вам все равно предстоит с нею познакомиться. Она очень хочет показать вам мастерскую.

Они уже повернули в Чернышов переулок и шли к Екатерининскому каналу, по правой стороне. В переулке было совсем как зимою — много снегу, нападавшего в последние дни, всюду громоздились грязные сугробы, собранные дворниками, колдобистая, вся в проталинах и лужицах, ноздреватая ледяная корка тротуара была густо посыпана желтой золой. В этом переулке всегда почему-то сильно пахло лошадьми, то ли этот запах приносило от извозчичьей биржи у Гостиного двора, то ли так уж застаивался он здесь, цепляясь за старые, насквозь просыревшие, желтые стены зданий и каменных заборов, мешаясь с запахами снега и сена, ржавого железа, ошметков навоза, раздавленных копытами лошадей на влажном снегу. Теперь в плотном и липком туманном воздухе этот запах был особенно резок, как только и бывает в начале весны.

— Анна Аркадьевна, еще хочу вас спросить, да не

решаюсь... — заговорил осторожно Николай Гаврилович и умолк.

— Есть ли у меня дети, да? — тихо закончила она за него.

— Да.

Она ответила не сразу.

— Был ребенок, мальчик, и умер вскоре после родов,— голос у нее дрогнул при слове «мальчик», но она справилась с голосом и закончила фразу твердо: — И к счастью, что умер, потому что был бы мучеником всю жизнь, родился больным.

— Что с ним было?

Помолчав, она заговорила горячо и напористо, и с горечью:

— То, что бывает с детьми таких родителей, как его отец. Его отец...

Больше она ничего не успела сказать. Тут случилось весьма странное происшествие, которое вынудило ее умолкнуть.

Они уже были в конце переулка и собирались перейти на другую сторону его, когда с набережной канала в переулок вымахали дровни с двумя пьяными молодцами в тулупах. Переходившие переулок три мужика с котомками и длинными палками, застигнутые на середине мостовой, заметались перед скачущей лошадью, бросились врассыпную, толкая друг друга и увязая в снегу. «Р-расступись! Канальи!» — изображая барина, выпячивая грудь, размахивал кнутом возница. Он правил стоя, под распахнутым тулупом была видна холщовая серая разодранная до пупа рубаха, вся грудь наружу. Другой лежал на боку, хохотал и подзуживал: «Дави сиволапых! Лупи!» Возница вытянул кнутом застрявшего в сугробе мужичонку и замахнулся на Николая Гавриловича. Николай Гаврилович, отступавший вместе с Анной Аркадьевной назад от мостовой, оказался нос к носу с возницей, кото-

рого вынесло на него раскатившимися на повороте дровнями.

Но ударить вознице не пришлось. Николай Гаврилович бросился на него, повалил и сам вместе с ним повалился в сани, вожжи натянулись, лошадь встала.

Яростно тряхнув несколько раз пьяного, Николай Гаврилович вырвал у него кнут, переломил палку и отшвырнул далеко в сторону. Выбрался из саней и пошел к Анне Аркадьевне, отряхиваясь: полы шубы были в соломенной трухе.

Все это произошло так неожиданно и так скоро кончилось, что Анна Аркадьевна не успела понять, что же произошло. С изумлением смотрела она на подходивших к ней Николая Гавриловича, воинственно напряженного, взъерошенного, без шапки, шапка соскочила с него в тот момент, когда он бросился в сани, и старика крестьянина, который нес подобранную шапку. Подойдя, Николай Гаврилович усмехнулся — забавной показалась ему растерянность Анны Аркадьевны — и оглянулся назад, на дровни. Присмиревшие пьяные тихо возились в санях — что-то устраивали или искали — и тоже оглядывались, со странным недоумением. Возница пошел за кнутом.

— Экой бусурман какой, скажи на милость! — тоже оглядываясь на возницу, качая головой, говорил старик, подходя с шапкой Николая Гавриловича; подал ее с поклоном, спросил с участием: — Не расшибся, милый человек?

— Нет, дедушка, слава богу! Спасибо,— ответил Николай Гаврилович, забирая шапку.

— И слава богу. И слава богу,— повторил старик, посмотрел на Анну Аркадьевну, задержался на ней взглядом, ласково поклонился ей и снова повернулся к Николаю Гавриловичу: — И дай бог тебе долгого счастия с твоею светлою красавицею.

Он еще раз поклонился и пошел к своим товарищам, дожидавшимся его на углу.

Николай Гаврилович и Анна Аркадьевна переглянулись и засмеялись.

Посмотрели на пьяных. Возница уже нашел кнут, бросил его в сани, уселся и тронул тихонько лошадь, все оглядываясь.

— Какой вы, однако,— сказала Анна Аркадьевна, когда они с Николаем Гавриловичем отправились дальше. — Вот не думала, что вы горазды на такие прыжки и скачки.

— Меня возмутило, как этот негодяй налетел на мужика. Не могу выносить, в глазах темнеет, когда обижают мужиков... А обо мне вы еще и не то узнаете,— заговорил он другим тоном. — Вот погодите, дождемся лета, и если ничего неожиданного не произойдет, наймем с вами на островах дачи по соседству, и вы узнаете, какой я, например, гребец. Обожаю сидеть на веслах...

— Правда? — обрадованно встрепенулась Анна Аркадьевна. — И я безумно люблю сидеть на веслах!

— Я так и думал... — посмотрев на нее, на ее плечи, заметил он, решив сказать ей комплимент, и умолк, сообразив, что, пожалуй, это было бы бестактностью.

Она весело засмеялась, поняв, что он хотел сказать:

— Да, у меня матросская фигура, я знаю. Мне еще в детстве это говорили. Я с детства занимаюсь греблей. Меня приучил папа́...

— Ваш отец жив?

— Нет, умер. Пропал на охоте. Он был азартный охотник. И меня всегда таскал с собой на охоту. Летом, на уток. Я была у него гребцом и охотничьей собакой,— засмеялась она. — Да, да! Он воспитывал меня как мальчишку, приучал ничего не бояться и не гнушаться никакой работы. Когда он брал с собою меня, то не брал собаку и заставлял меня доставать подбитых уток, плавать за ними.

— Он был образованный человек?

— Да. Он был горный инженер. Учился в Англии. Оттуда и вывез страсть к охоте и гребле и меня учил тому и другому... И языкам научил. Вообще своим образованием я обязана ему... и мужу,— прибавила она, задумываясь.

— Ваш муж тоже инженер?

— Нет... — она продолжала что-то обдумывать, что-то, должно быть, связанное с мужем. — Он не инженер, нет. Он юрист, но не служит... то есть служит, но не по своей специальности. Впрочем, теперь, кажется, и вовсе не служит... Я вам начала рассказывать о ребенке,— перебила она себя. — Он родился больным, потому что его отец... мой муж... пьет. Очень. У таких не могут быть здоровые дети... Я это слишком поздно поняла...

— Анна Аркадьевна, я вижу, вам тяжело об этом говорить. Может быть, и не надо?

— Нет, нет! — она испуганно посмотрела на него. — Я должна... я хочу вам рассказать!.. Я вышла за него, когда мне было двадцать лет. К тому времени я решила, что никогда не выйду замуж. Мне никто не нравился. Папа́ уже не было, мы жили вдвоем с матерью... И вот появился Петр Степанович... так зовут моего мужа. Его перевели к нам из другой губернии после какой-то скандальной истории... Я его раньше знала, много лет назад. Он был студентом и приезжал на каникулы, приходил к папа́, они много спорили, горячились. Я была совсем еще девочкой и ничего не понимала в их споре, но меня он тогда поразил. Вот тем поразил, как спорил. И папа́ отзывался о нем уважительно, говорил, что он — будущий Сперанский или Робеспьер. И вот он появился снова — совсем другой...

— Что же с ним случилось? Слабый характер?

— Нет, слабохарактерным его не назовешь. Впрочем, не знаю... Он сломался, как я позже поняла, после сорок восьмого года...

— Ах, вот что! Да, это сломало многих образованных людей его поколения... И не только молодых людей... Как же вы решились выйти за него... такого?

— Я решила его спасти,— с горькой усмешкой сказала Анна Аркадьевна. — Тогда я серьезно думала, что сумею заставить его перемениться... Мы несколько раз встретились, и я предложила ему жениться на мне. Он отказывался, отговаривался тем, что я загублю свою жизнь и ничего не добьюсь, что он не сможет перемениться и ему незачем меняться. Я убеждала: надо же попробовать... Все-таки убедила...

— Как же он объяснял, что ему незачем меняться? — спросил Николай Гаврилович.

Они уже перешли через канал и шли по Гороховой. Они шли медленно, она опиралась на его руку, но иногда, когда ей нужно было видеть его лицо, она делала в сторону шаг или два и поворачивалась к нему, и он поворачивался к ней, и так, повернувшись друг к другу, шли они боком несколько шагов, потом снова сходились, она осторожно брала его под руку. Разговор ее возбудил, лицо порозовело, взгляд был сосредоточенный, исподлобья, упорный и неожиданно тяжелый.

— Объяснял так, что ему не для чего себя беречь,— ответила Анна Аркадьевна. — Лучшее, что в нем есть,— это его убеждения, такие же, какие были у моего папа... а папа называл себя социалистом... Но эти убеждения бессмысленны, потому что нелепо думать, будто можно по ним переделать общественную жизнь где бы то ни было, не говоря уже о России. Хорошо было об этом мечтать дедам нынешних французов, они не имели исторического опыта. Но мечтать об этом теперь, после стольких бесплодных попыток народов Европы... А если ни к чему не пригодны убеждения, зачем и дорожить собою, своею жизнью... ну и так далее в этом духе.

— Все-таки вам удалось его убедить...

— Удалось... Да он и привязался ко мне... — сказала она сдержанно и умолкла. Потом снова заговорила. — Год мы прожили хорошо. Этот год мне очень много дал. Муж, как оказалось, хорошо знал историю женского вопроса и французскую литературу об этом предмете, а я об этой литературе и понятия не имела. Имя госпожи д'Эрикур, например, мне ничего не говорило. Теперь и я стала это читать... А потом,— она вдруг заторопилась, как бы испугавшись, что не успеет или не решится сказать то, что должна сказать,— потом родился больной ребенок и умер, и я почувствовала, что больше не могу. У меня появилось к нему... к мужу... чувство отвращения. Я не могла больше выносить его прикосновений, запаха... главное, этот запах... от него всегда шел этот ужасный запах... запах перегара. Я и прежде не переносила этого запаха, а теперь мне просто делалось дурно... И тогда я поняла, что никакой любви у меня нет. И не было. Была потребность любви. А любить мне было некого... К человеку, которого любишь, не будешь испытывать отвращение, ведь правда?.. Он все понял... и мы расстались. Вот и... все.

Она умолкла.

— Ваш муж,— спросил, тоже помолчав, Николай Гаврилович,— передал вам порядочную сумму денег. У него, что же, состояние?

Анна Аркадьевна улыбнулась:

— Деньги у него были от игры. Он игрок и очень удачливый. Иной раз у него бывают большие деньги. Но он их тут же спускает. У него два рода игры: коммерческая, для выигрыша, и в банк, для души, когда он все спускает...

— А, это мне знакомо! Некрасов так же играет,— с живостью сказал Николай Гаврилович, хотел было еще что-то сказать, но удержался. Умолк, задумался.

До самой площади со статуей они шли молча.

Исповедь Анны Аркадьевны вызвала в нем странные,

противоречивые чувства: он и сочувствовал ей, и вместе с тем что-то в этой истории ему не нравилось, что-то вызывало его протест, досаду, хотелось в чем-то ей возразить. Держала себя Анна Аркадьевна в этой истории, что ли, не лучшим образом, сама в чем-то была виновата? Однако разобраться в этом теперь было невозможно. Для этого надо было еще о многом ее спросить. Но не теперь было спрашивать...

Когда шли через площадь, Николай Гаврилович, как и в прошлый раз, не удостоил статую и косого взгляда. И опять Анна Аркадьевна, заметив это, засмеялась:

— А вы последовательны. Я наблюдала за вами: так и не взглянули на статую.

Он усмехнулся:

— А вы сомневались? Плохо вы меня еще знаете. Нет, этой «красотой» вы уж с Дружининым любуйтесь. Кстати, вы с ним не знакомы ли?

— Я была у него в прошлом году.

Николай Гаврилович оживился, с интересом повернулся к ней, спросил:

— Ну и какое он на вас произвел впечатление? Понравился?

— Нет, не понравился. Очень уж высокого мнения о своей особе. Это у него на лице написано. Притом какой-то двусмысленный господин... не умею объяснить, чем именно.

Николай Гаврилович засмеялся:

— Таков он и в полемике. — Усмехнувшись, прибавил: — Почти все, что он пишет, он пишет против «Современника», вы это заметили? Можно подумать, что, исчезни «Современник», он и писать перестанет...

— А почему вы не отвечаете ему, Николай Гаврилович? — перебивая его, спросила Анна Аркадьевна.

— Да зачем? Ведь он безвреден. Кто его слушает или

читает? Пусть себе бранится. Притом мне его совестно обижать. Знаете, ведь и он в известном смысле жертва сорок восьмого года, как ваш муж.

— Да? Я ничего об этом не знаю.

— Как же! Он начинал в «Современнике», при Белинском, с той же самой «дидактики», какую теперь преследует. Писал обличительные повести, шельмовал «аристократических стервецов». После революции сорок восьмого года цензура уже ничего подобного не дозволяла, а журнал надо было чем-то заполнять, вот и приходилось им с Некрасовым заполнять книжки всякой чепухой, игривой болтовней в духе Сенковского. У Дружинина это недурно получалось. За семь лет цензурного террора он так набил руку на этом, вошел во вкус, что уже и не захотел возвращаться к небезобидным темам, когда стало полегче дышать, после смерти Николая. Лакейство развращает... Впрочем, надо быть к нему справедливым. Без него Некрасов едва ли один вытянул бы журнал в то трудные годы... Да, жалкая, как подумаешь, история... — обрывая себя, заключил Николай Гаврилович.

— Николай Гаврилович, а Каткову вы не отвечаете по той же причине, что и Дружинину? И он безвреден? — неожиданно спросила Анна Аркадьевна.

— Нет,— засмеялся Николай Гаврилович. — Катков — другое дело. Ему можно ответить. Да и отвечал я ему прежде... А ведь и Катков — жертва эпохи сорок восьмого года,— продолжал Николай Гаврилович. — Когда-то он был единомышленником Белинского, Станкевича, Бакунина, входил в их кружок. Да скоро понял, что более или менее последовательная фронда — дело неверное... Кстати, я завтра еду в Москву. Буду у Каткова. Нет ли у вас поручений к нему? Мог бы исполнить.

— Нет...

Разговаривая, они уже почти подошли к дому Анны Аркадьевны. Перед подъездом с ажурным железным на-

носом стояла голубая извозчичья карета. Анна Аркадьевна издали приглядывалась к ней.

— Кажется, это тетушкина карета,— сказала Анна Аркадьевна, когда они подошли совсем близко. — Утром, когда она уезжала из дому, она наняла точно такую же. Значит, она уже вернулась... Если так, то сейчас я вас и познакомлю.

4

В самом деле, карета была тетушкина, саму тетушку они встретили в подъезде, едва вошли, она стремительно спускалась по широкой лестнице в сопровождении прислуги, на ходу отдавая какие-то распоряжения. Это была крупная дама лет сорока пяти с очень энергическими движениями, с мясистым лицом и круглыми светлыми, как у племянницы, глазами. Она изумилась, увидев племянницу в сопровождении незнакомого мужчины, остановилась на последних ступенях.

— Аня? С кем это ты? — спросила с восхитительной непосредственностью, бесцеремонно рассматривая гостя. Вид у нее был при этом довольно грозный. Она так низко нагнула голову, что взгляд ее казался взглядом исподлобья, хотя стояла она на возвышении.

— Позволь тебе, Надя, представить нашего гостя, господина Чернышевского,— быстро подойдя к ней, с торжеством сказала Анна Аркадьевна, нисколько не обращая внимания на ее грозный вид, и повернулась к Чернышевскому. — Николай Гаврилович, это и есть моя тетушка, Надежда Яковлевна Абуткова.

— Николай Гаврилович? Не может быть! — еще больше изумилась тетушка, не сводя с него бесцеремонного взгляда и не меняя позы.

— Представь, Николай Гаврилович может провести с нами час или даже больше,— весело говорила Анна Аркадьевна. — Правда, Николай Гаврилович?

— Правда,— поклонился он, с улыбкой смотря в доброе лицо Надежды Яковлевны, особенное лицо, все в оригинальных наплывах, буграх и складках, которые и создавали неистребимый характер доброты, очень своеобразной, трогательной и эксцентрической, как ни старалась тетушка придать лицу строгое или даже воинственное выражение.

— Не может быть,— повторила тетушка и сошла со ступенек вниз. — Что же ты, Аня, не предупредила? Ах, ты не могла предупредить... А я, видишь, должна ехать, заезжала на минуту. Но теперь не поеду. Вот что, милая,— повернулась она к прислуге,— пойди скажи кучеру... Нет, постой, лучше оденься да съезди-ка... Нет, не нужно, ступай, я напишу записку, передашь кучеру, он сам ее отвезет... Пойдемте наверх! — повернулась она к племяннице и гостю.

Все это она говорила громко и живо, темпераментно, не стесняясь тем, что они были не одни на площадке, тут стоял, по-солдатски навытяжку, старик швейцар, смотревший на нее как на полковника, прошла по лестнице вниз какая-то солидная пара, дама и господин, поглядевшие на нее с удивлением, из квартиры первого этажа выглянула на громкий голос чья-то лохматая голова, то ли женская, то ли мужская, и скрылась.

Пошли наверх, на третий этаж. В передней, когда раздевались, Надежда Яковлевна заметила, что шуба Николая Гавриловича сильно испачкана в соломенной трухе, всплеснула руками:

— Господи, где это вы так вывозились?

Николай Гаврилович снял шубу, стал отряхивать ее, ответил с усмешкой:

— Неудачно вылез из саней... у Гостиного двора...

— И вы в таком виде шли через весь город! Аня, а ты куда смотрела? Вы встретились у Гостиного двора? Как же ты, милочка, за этакую дорогу и не заметила! (Снова

Николаю Гавриловичу.) Ну, конечно, она заговорила вас! Кого угодно заговорит. Невозможная госпожа. Говорит, и говорит, и говорит,— тетушка отобрала шубу у него и отдала прислуге, велев вычистить. Потом дамы повели его в гостиную.

Квартирка их была небольшая, в три или четыре комнаты анфиладой, гостиная и начинала анфиладу, вход в гостиную был прямо из передней. Пока привыкали друг к другу, говорила главным образом тетушка. Она отдавала приказания прислуге и одновременно рассказывала гостю о себе и о племяннице, об их жизни в Саратове и Петербурге.

Напрасно она сказала о племяннице, будто та невозможная госпожа, кого угодно заговорит. Это больше подходило к ней самой. Тетушка не умела говорить тихо, в ней было много буйной энергии, которая требовала выхода, и тетушка не говорила, а кричала, вскакивала, размахивала руками, не давала говорить другим, перебивала, торопилась сказать больше, больше, мешая в один монолог важное и неважное. Однако, заметил Николай Гаврилович, она знала, что́ говорила, и не говорила того, чего, по ее мнению, не следовало говорить. Например, ни разу не упомянула о муже Анны Аркадьевны: не знала, что́ об этом известно Николаю Гавриловичу. А о себе не стеснялась рассказывать свободно, без всякой утайки. О себе она сказала, что она вдова, детей нет, живет доходами с саратовского имения, и вся ее энергия уходит на организацию просветительских кружков, учреждение благотворительных фондов, а теперь вот и на устроение промышленной ассоциации работников, женского промышленного заведения, мастерской, для чего они с племянницей переехали в Петербург.

— А почему женского заведения? Вы не случайно решили устроить именно женское заведение? — спросил Николай Гаврилович.

— Не случайно, это ее фантазия,— кивнула тетушка на Анну Аркадьевну. — Она воюет за женское равноправие. Для нее наше заведение только потому и имеет смысл, что оно женское, стало быть, можно связать с женским вопросом...

— Но это совсем не так! Не преувеличивай, моя милая,— запротестовала Анна Аркадьевна, но тетушка не обратила на ее протест внимания.

— А для вас? — спросил тетушку Николай Гаврилович.

— Для меня важна идея ассоциации сама по себе. А мужская она или женская, это все равно.

— А чем она для вас важна?

Тетушку не смутил прямой вопрос, она словно бы ждала его и с удовольствием стала отвечать:

— Я ваша партизанка, Николай Гаврилович. Не знаю, говорила вам Аня или нет, но я разделяю ваши взгляды, как они изложены у вас в статье «Капитал и труд». Я убеждена, что на смену существующему порядку придет социалистический порядок. В этом для меня нет сомнений. Сомнения начинаются, когда думаешь о том, как это будет происходить. Меня сильно беспокоит распространенное мнение, будто смысл и цель социализма заключаются в насильственном уравнивании состояний. Будто иных путей для создания экономики трудящихся нет. Мол, не отдадут же капиталисты добровольно свои капиталы, а без наличного капитала как работники создадут собственные социалистические предприятия? Это мнение пугает, потому что может соблазнить многих кажущеюся простотою решения, а распространившись в массе, перейти в программу действий, и тогда не избежать ужасных и бессмысленных последствий. Между тем политэкономия знает способы честного, как говорит ваш Милль, приобретения работниками капитала...

— «Честные ссуды»?

— Да, «честные ссуды». Принцип известен, но странно, что никто из писателей-социалистов им серьезно не занимается, все как будто примирились с неизбежностью насилия в будущем. И насилие станет неизбежным, если не думать об иных путях. Словом, принцип заслуживает того, чтобы его пропагандировать. Всего бы лучше — осуществить на практике. Вот поэтому мы с Анею и взялись за это дело, когда нам предложил попробовать и предоставил средства... один господин,— она запнулась на слове «господин» и посмотрела на племянницу.

— Предложил Петр Степанович, муж Анны Аркадьевны? — выводя Надежду Яковлевну из ненужного затруднения, сказал Николай Гаврилович.

— А, вы знаете о нем? Тем лучше. Да, Петр Степанович, ее муж. Ее несчастный муж,— прибавила тетушка многозначительно, явно с целью мимоходом уязвить племянницу.

— Надя! — строго сказала Анна Аркадьевна. Видимо, между ними шла война из-за неодинакового отношения к Петру Степановичу.

— Что — Надя? — вдруг вспылила Надежда Яковлевна. — Нечего мне, милочка, указывать, что мне говорить! Что хочу, то и говорю. Да, несчастный муж! Не той достался, которой достоин. Другая на ее месте ни на шаг от себя не отпускала бы, холила, дышала на него, а эта ни с того ни с сего: видеть его не могу... Ее муж — необыкновенный человек,— говорила теперь, повернувшись к Николаю Гавриловичу. — Ну, пьет. А кто не пьет? (Анне Аркадьевне, распаляя себя.) Это еще не причина, матушка моя, мужьями швыряться! Сердце у тебя жестокое... Ребенок родился урод! Беда; ну так что же? Вот у меня нет детей и никогда не будет, так что мне, не жить? А ты еще молода... Глупости. Легко любить ангела, а ты полюби такого...

Как неожиданно началась, так неожиданно и кончи-

лась буря. Надежда Яковлевна сказала племяннице вдруг совершенно мирным голосом:

— Прикажи сменить самовар, душа моя.

Когда Анна Аркадьевна вышла, тетушка сказала с болью, с тоской:

— Бедная! Жаль мне ее. Одинокой женщине какое счастье? А будет всю жизнь одинокой. Так ей, видно, по роду написано. Мать ее такая же. Также вот выходила замуж немолодой девушкой, не по любви, а по уму, потому что встретился образованный человек. И всю жизнь, покуда он был жив, заставляла себя его любить. А как можно любить человека, которому ничего не нужно и жить-то не больно нужно? Разбитый человек, исковерканная душа... Вы не смотрите, что я на Анну-то напустилась. Это уж так. Я-то понимаю: что за радость быть за таким мужем? Тут не знаешь, что лучше, быть за таким или быть одинокой... Да и за что такая судьба? Нет, мы, женщины, сами губим свое счастье, стремясь к образованию. Хотя, конечно, как осудишь за это безрассудное влечение к нему? Но что оно безрассудное, уж, верно, так. И...

Но тут вошла Анна Аркадьевна с подносом, следом за ней шла прислуга с самоваром, и тетушка умолкла, занялась чаем. Налила Николаю Гавриловичу, подала ему чашку.

— Надежда Яковлевна, я снова хочу вернуться к вашей мастерской,— заговорил Николай Гаврилович, принимая чашку. — Скажите, какой предел выплатам по ссуде вы положили?

— Предел определен размером капитала: выплаты будут производиться до тех пор, покуда не будет возвращена сумма вложенного в мастерскую.

— И все? И никаких процентов?

— Никаких процентов,— горделиво подтвердила тетушка.— Мы вложили в мастерскую двадцать тысяч,

вернем их, а вернем года за три, а то и скорее и больше не будем получать с мастерской. Кроме заработной платы, конечно, если и тогда что-то будем делать для мастерской.

— Да, это справедливо. Но вашему примеру не многие последуют.

— Да уж, пример не для всех. Тем более что вырученный капитал мы опять вложим в подобное дело — в эту ли мастерскую или новую такую же заведем, будет видно... А все же есть и такие, которые последуют!

— Сколько у вас всего работниц?

— Двадцать человек, если не считать трех гладильщиков-мужчин да двух сторожей, истопника, кучера... Еще мальчик на посылках. И двух кухарок недавно взяли...

— Да это целая фабрика...

— Все же мы предпочитаем называть мастерской... Вам нужно побывать у нас, Николай Гаврилович. Когда вас ждать?

— В ближайшие месяцы едва ли смогу себе это позволить. Разве летом. Правда, в августе меня не будет в Петербурге. Я собираюсь съездить в Саратов...

— В Саратов! — обрадовалась Анна Аркадьевна. — И мы собираемся в августе в Саратов! Вы должны будете нас навестить. У нас усадьба на самом берегу Волги. От города недалеко...

— Да вы можете жить у нас! — с воодушевлением подхватила тетушка. — У ваших в Саратове, я знаю, теперь тесно. Отчего не пожить у нас? Устанете от города — перебирайтесь к нам!

Николай Гаврилович смеялся, соглашался:

— Хорошо, устану — переберусь. В самом деле, отчего не пожить?

Посидев еще немного, он откланялся и уехал домой, очень довольный часом, проведенным в обществе этих

оригинальных дам. И всю дорогу, трясясь на ваньке, чувствовал на лице улыбку, перебирал в уме разговоры с Анной Аркадьевной и ее тетушкой, вспоминал лицо Анны Аркадьевны, давление ее взгляда, который ощущал на себе и тогда, когда говорил не с нею, а с тетушкой, а сама она молчала. И то, что обе они говорили о мастерской, тоже было хорошо, интересно и ново, по крайней мере в России это было ново и заслуживало внимания.

5

Дома он застал все семейство в полном сборе, чего давно уже не было, со времени последней ссоры Ольги Сократовны с Еничкой. Все это время Пыпины пропадали на своей половине, выходили в зал лишь тогда, когда Ольги Сократовны не было дома, и исчезали, как только она появлялась, панически боялись попасться ей на глаза. Это было немного смешно, потому что сама виновница ссоры совершенно не думала о размолвке с Еничкой, давно забыла о ней и не понимала, отчего это Пыпиных не видно, почему вдруг стало тихо в доме.

Теперь снова все были вместе. И хотя Пыпины — а это бросалось в глаза — держались скованно, были настороже, даже сели все рядком и на самых дальних от Ольги Сократовны местах, тем не менее все они были налицо — оба брата и обе сестры. Ольга Сократовна сидела за самоваром. Тут же, за столом, были и дети с бонной.

Центром, собравшим всех в зале, был Александр Васильевич Захарьин, приехавший, должно быть, незадолго до прихода Николая Гавриловича, он был еще в том возбуждении, в каком бывают люди только что с дороги. Перед ним одним был обеденный прибор, все остальные, давно отобедавшие, пили чай с кренделями, слушали его.

Захарьин выбежал из-за стола навстречу Николаю Гавриловичу, они обнялись, и Ольга Сократовна усадила

их напротив друг друга, велев прислуге подать обед и Николаю Гавриловичу.

Сидел Александр Васильевич подле сестры, и Николай Гаврилович, поглядывая на них, вдруг обратил внимание на их удивительное внешнее сходство. Оба были черные, цыганистые, у обоих были крупные, с горбинкой, толстоватые и как бы вислые, но вполне аккуратные носы, выступающая вперед верхняя губа. Александр Васильевич начал запускать бороду, и она неожиданно делала его похожим на армянина.

Приехал он в Петербург по делам службы. Занимаясь в Калужском губернском правлении газетной частью, был в курсе всех губернских новостей и теперь рассказывал о главнейшем, о ходе крестьянского дела в губернии, о настроении крестьян. А настроения крестьян были такие, что местным помещикам хоть убегай из своих вотчин, и те, кому было куда бежать, оставляли имения на управляющих и убегали в Калугу, в Москву, в другие города,— никогда так людно не было в Калуге в это время года, как теперь.

Поговорив с Захарьиным, Николай Гаврилович ушел к себе. Он рассчитывал, что и Ольга Сократовна пойдет с ним, поможет ему собрать саквояж, но она не пошла, осталась в зале. Сказала, чтобы он пока работал, а уложиться ему она поможет позже. Ей хочется еще послушать Захарьина. Хочется — так хочется. Николай Гаврилович ушел один.

Но осталась она в зале, конечно, совсем не потому, что ей хотелось послушать Захарьина. Как Пыпины избегали ее, так и она в последнее время избегала Николая Гавриловича, старалась не оставаться с ним наедине, слишком запомнив тот их разговор, который он завел в день ее ссоры с Еничкой, когда сказал о возможном мужицком бунте и своем неизбежном участии в нем, слишком запомнила и вполне резонно опасалась, что Николай Гаврило-

вич еще будет делать попытки вернуться к нему. Она рассчитывала: чем ближе к ночи, тем меньше будет у них времени для досужих разговоров, только бы успеть собраться и уложиться, тем легче будет ей остановить его попытку заговорить с нею, если он вздумает заговорить.

В кабинете, сняв сюртук и надев свой закапанный воском теплый халат, запалив сигарку и отворив форточки, Николай Гаврилович принялся за Милля: еще десяток страниц перевести — и будет кончен раздел об обмене, и можно будет составить свой очерк теории обмена... Только бы не помешали какие-нибудь обстоятельства. Порядочно надоел этот Милль. Впрочем, он еще гораздо лучше всех этих последователей смитовской школы. Эти смешные люди, считающие себя деятелями, независимыми от политики, сосредоточили все силы на изучении законов накопления богатства и сознательно исключили из поля зрения труд, анализ отношения наемного труда и капитала. В сущности, старая система — это только начало экономической науки, к будущей системе она относится как арифметика к высшей математике...

6

Приехал Михайлов. Он был возбужден и озабочен одновременно.

— Николай Гаврилович, от Костомарова явился посланец, московский студент Сороко,— объявил Михайлов. — В Москве все готово. Просят присылать, что́ мы хотим отпечатать. И просят денег, хотя бы рублей сто. Что будем делать? Сороко уезжает в Москву послезавтра, вы — завтра. А у нас ничего не готово.

— И у Николая Васильевича не готово? — спросил Чернышевский.

— Он сейчас пишет. Пишет к солдатам. Начал к обществу, да не вышло. Не так-то просто, оказывается, на-

писать. Так что же будем делать? Я имею в виду обращение к крестьянам. Откладывать бы не хотелось.

— Что ж, попробуем написать.

— Прямо сейчас?

— А почему нет? Попробуем.

— Ну, что ж... Чем я могу вам помочь, Николай Гаврилович? Вы, верно, хотите диктовать? Я готов писать под вашу диктовку. Где прикажете устраиваться? — Михайлов решительно направился к письменному столу, намереваясь расположиться здесь, но его испугали открытые форточки, и он пошел к квадратному столу.

Чернышевский его остановил:

— Нет, лучше сделаем так. Пойдите замените Захарьина в зале, займите общество, а его пришлите ко мне. Мне уже приходилось ему диктовать, он хорошо пишет. Часа за два, за три, я думаю, мы покончим...

— Ну и прекрасно,— с легким сердцем согласился Михайлов, подвигаясь к двери.

— Если вы за это время не уйдете, заберете текст сегодня же. Нет — завтра утром заедете. Впрочем, я сам могу заехать к вам по дороге на станцию. Тогда решим и насчет денег. И, кстати, решим, нужно ли будет мне в Москве заходить к Костомарову. Я не уверен в том, что нужно. Но подумаем об этом.

— Хорошо.

Когда Михайлов вышел, Чернышевский принялся ходить по комнате. Итак, вот оно, начинается! Что ж, давно пора. Не все-то быть наблюдателем. Хотя бы и невольным... Удобно, конечно, смотреть со стороны, как совершаются исторические события. Можно даже уверить себя, что положение наблюдателя, вынужденное обстоятельствами времени и места, несмотря на эту вынужденность, бог знает как важно и полезно для судеб человечества. Далеко видно. Видишь ошибки действующих. Видишь, как должны бы действовать люди... Конечно, ты не только

наблюдаешь, но, хочется думать, в известной мере и воздействуешь на людей. Твои журнальные статьи читают повсюду. И все же... и все же...

Но эти мысли быстро отступали под напором другого рода мыслей, нахлынувших на него. Это были мысли о том, что́ он будет сейчас диктовать. Много раз уже думал он об этом, в сущности, текст воззвания сложился в уме, был общий план, были готовы самые первые фразы и начальные фразы важнейших разделов воззвания, было ясно, в каком тоне и каким языком должно быть все изложено. И теперь, мысленно перебирая план, припоминая отдельные фразы и чувствуя, как нарастает при этом возбуждение, он уже с нетерпением поджидал Захарьина, чтобы начать диктовать...

Пришел Захарьин, несколько встревоженный: должно быть, Михайлов, изымая его из общества и конспирируя, не успел объяснить, для какой цели он срочно понадобился Чернышевскому.

— Александр Васильевич,— обратился к нему Чернышевский,— я хочу вам продиктовать одну бумагу, только это должно остаться между нами. Дело весьма деликатного свойства. Впрочем, вы все поймете по ходу дела. Страниц десять. Может быть, пятнадцать. Вы сможете написать?

— Конечно! — с готовностью ответил Захарьин. По серьезному тону Чернышевского он понял, какого рода бумагу тот намерен продиктовать. Между великорусами не раз заходила речь о листках, с которыми надо было бы обратиться к народу и обществу. Вероятно, теперь дошло до этого...

Захарьин сел за квадратный стол, Чернышевский положил перед ним несколько листков плотной почтовой бумаги, перенес с конторки чернильницу и стальное перо, и когда Захарьин приготовился писать, отошел к конторке, облокотился об нее и начал диктовать:

— Пишите так: Барским крестьянам от их доброжелателей поклон. Это заголовок. Затем с абзаца: Ждали вы, что даст вам царь волю, вот вам и вышла от царя воля. Хороша ли воля, какую дал вам царь, сами вы теперь знаете...

Продиктовав первые фразы, остановился, задумался.

Захарьин ждал молча, у него возбужденно блестели глаза.

Чернышевский думал о том, как дальше писать. Сначала, конечно, надо объяснить суть реформы. Но надо ли разбирать все несчастья, которые ожидают крестьян, или не входить в подробности, которые могут занять слишком много места, так что вместо воззвания выйдет экономическая статья? Вспомнил, как на прошлой неделе, разговаривая с ванькой, крестьянином из-под Луги Федором Михеевым, рассказывал ему, что сулит мужикам царский манифест, и решил так и писать, как тогда рассказывал: не скупиться на подробности при объяснении, по крайней мере, важнейших перемен в положении крестьян. Тут главное, чтобы самому темному мужику стало ясно, прочти ему кто эту бумагу, что никакой воли не будет крестьянам от дарованной воли ни через два года, ни через двадцать лет и жить им станет тяжелее, чем прежде,— чтобы никто из них, по крайней мере, не обольщался на этот счет. Бедные мужики! Кончится ли когда-нибудь эта их проклятая нужда, эта вековечная их нищета?

— Пишите,— сказал Чернышевский.— Много тут рассказывать нечего. На два года остается все по-прежнему: и барщина остается, и помещику власть над вами остается, как была. А где барщины не было, а был оброк, там оброк остается либо какой прежде был, либо еще больше прежнего станет. Это на два года, говорит царь. В два года, говорит царь, землю перепишут да отмежуют... Пять лет либо десять проволочут это дело. А там что? Да почитай, что то же самое...

А отмежуют землю так, объяснял Чернышевский, чтобы нельзя было крестьянам своею землею прокормиться. Это для того так придумано, чтобы вынуждены были мужики идти к помещику на его земле батрачить, чтобы, значит, не пустовала помещичья земля.

— Так вот оно к чему по царскому-то манифесту да по указам дело поведено,— диктовал Чернышевский,— не к воле, а к тому оно идет, чтобы в вечную кабалу вас помещики взяли, да еще в такую кабалу, которая гораздо и гораздо хуже нонешней...

Через полчаса после того, как Чернышевский начал диктовать, вошел Михайлов, сказал смеясь:

— Прошу извинить, Николай Гаврилович, отвлеку вас на минуту, убегаю, не могу больше сидеть. Как там Николай Васильевич? Может быть, ему моя помощь нужна. И вы, верно, еще не кончаете?

— Да, еще не скоро.

— Так я вас жду утром! Прощайте,— он пожал руку Чернышевскому, с особенным чувством потряс руку Захарьину, ласково на него посмотрев, и ушел.

Николай Гаврилович подошел к столу.

— Будем продолжать. Пишите: А знал ли он... Нет, не так. А не знал он, что ли...

И снова остановился (сбил немного с ритма Михайлов), склонился над рукописью:

— Вместо «он» напишите «царь»,— подождал, пока Захарьин вносил поправку, и отправился на свое место к конторке; но, не дойдя до нее, повернулся кругом, принялся ходить по комнате, продолжая диктовать: — А не знал царь, что ли, какое дело он делает? Да сами вы посудите, мудрено ли это разобрать? Значит, знал. Ну, и рассуждайте, чего надеяться вам на него. Оболгал он вас, обольстил он вас. Не дождетесь вы от него воли, какой вам надобно. А почему не дождетесь от него, тоже рассудить можно.

Царь — тот же помещик, рассуждал Чернышевский. Удельные крестьяне — это его крепостные крестьяне, помещики — его слуги, он над ними помещик. «Значит, что он, что они — все одно. А сами знаете, собака собаку не ест. Ну, царь и держит барскую сторону». А что манифест да указы выпустил, будто бы волю дал, так это он «только для обольщения сделал». Потому сделал, что стыдно ему было перед французами да англичанами, у которых нет крепостного народа, которые ему глаза кололи, что у него народ в кабале. «Вот он им пыль-то в глаза и подпустил: для похвальбы это сделано, для обману сделано».

А какая это воля? Разве такая воля бывает? Вот у французов и англичан — воля. Там нет разницы между людьми по званию — сословной разницы, паспортов нет, надо всеми одно начальство, суд для всех один. Ни рекрутчины, ни подушной подати. «А то вот еще в чем у них воля: никто над тобою ни в чем не властен, окроме мира. Миром все у них правится. У нас исправник, либо становой, либо какой писарь, а у них ничего этого нет, а вместо всего староста, который без миру ничего поделать не может и во всем должен миру ответ давать. А мир над старостою во всем властен...»

Захарьин уже исписал девять страниц, пора было переходить к последнему пункту воззвания. Чернышевский продиктовал:

— А как же нам, русским людям, в исправду вольными людьми стать? Можно это дело обработать; и не то, чтобы очень трудно было; надо только единодушие иметь между собою мужикам, да сноровку иметь, да силой запастись. Вот вы, барские крестьяне, значит, одна половина русских мужиков. А другая половина — государственные да удельные крестьяне. Им тоже воли-то нет. Вот вы с ними и соглашайтесь, и растолкуйте им, какая им воля следует, как выше прописано...

И не только с ними, прибавлял Чернышевский, но и с

солдатами надо соглашаться, чтобы за мужиков стояли, когда те волю себе добывать станут. И просить солдат надо, чтобы они учили мужиков «плечом к плечу плотнее держаться», «пустого страха не бояться». А до поры, пока еще не все между собою согласились, надо силу беречь, себя напрасно в беду не вводить: «Что толку-то, ежели в одном селе булгу поднять, когда в других селах готовности еще нет? Это значит только дело портить да себя губить». И вот, когда между всеми мужиками единодушие будет, тогда и выйдет от их доброжелателей назначение, что пора всем дружно начинать. «Тогда и легко будет волю добыть. А до той поры готовься к делу...»

Кончив диктовать, Николай Гаврилович пробежал глазами исписанные странички, всего вышло двенадцать страниц, поправил кое-где описки Захарьина, сложил листки втрое, положил в конверт и засунул во внутренний карман сюртука.

7

В двенадцатом часу утра 27 марта Чернышевский входил в переднюю квартиры Михаила Никифоровича Каткова в Москве, в Кривоникольском переулке. Немолодой угрюмый лакей, открывший ему, с видимой неохотой понес его карточку в глубину квартиры — очевидно, было неурочное время для визитов — и почти тут же вернулся назад с торопливостью, которая говорила о том, что ему приказали немедленно просить гостя. Это было хорошим признаком.

Лакей любезно бежал впереди, отворял двери и при этом каждый раз кланялся и повторял: «Пожалуйте-с. Извольте-с...» Прошли две или три комнаты, весьма странных, узких и темных, загроможденных какими-то то ли шкафами, то ли большими ящиками, в темноте нельзя было разобрать толком, и стояли они в беспорядке, как будто

были только-только привезены. Лакей с поклоном впустил гостя в просторную светлую комнату, кабинет хозяина, и остался за дверьми, плотно притворив их.

Катков с улыбкой шел навстречу Чернышевскому через громадное пустое пространство середины комнаты. Они встретились на середине и обменялись крепким рукопожатием, пытливо вглядываясь друг в друга. Катков был пониже ростом, и Николай Гаврилович чувствовал, что ему досадно и неуютно от того, что он должен смотреть на Чернышевского снизу вверх, и тем более ему неуютно, что они с Чернышевским в порыве каких-то им самим не вполне понятных чувств подошли слишком близко друг к другу, так что Каткову даже приходилось несколько задирать голову, в то время как Чернышевскому, напротив, приходилось клонить ее вниз. Дружелюбно улыбаясь, Катков поспешил отступить от него на полшага, потом еще на полшага. Потом, резко повернувшись, показал на кресла.

— Прошу вас!

Они пошли к низким кожаным креслам, стоявшим сбоку от письменного стола, ближе к окнам, сели друг против друга, и Николай Гаврилович достал письмо Вернадского, протянул его Каткову:

— Иван Васильевич Вернадский, который свидетельствует вам свое почтение, решил в письме изложить причину моего визита к вам. Пожалуйста, прочтите, и вам станет ясно, почему я свалился вам на голову.

Катков кивнул, улыбнулся протестующей улыбкой в ответ на последние слова Чернышевского и стал читать, весь ушел в чтение.

Пока он изучал письмо Вернадского, Николай Гаврилович оглядывался по сторонам. Его кресло стояло возле правого крыла стола, на столе с этой стороны стояло несколько фотографических и акварельных портретов в рамках, некоторые из них были повернуты к нему, и среди них он вдруг увидел портрет Всеволода Костомарова! Ко-

нечно, это был портрет не Костомарова, а самого Каткова, но юного Каткова, лет двадцати с небольшим, сколько теперь было отставному улану. Сходство юного Каткова и Костомарова показалось Николаю Гавриловичу занимательным, и он стал всматриваться в этот портрет. На портрете был изображен франт в клетчатых панталонах и пестром жилете, сидевший в небрежной позе с видом довольного собой и жизнью провинциального барчука или, пожалуй, купеческого сынка, только что кончившего университетский курс. У него было несколько одутловатое лицо, полные, сочные губы, сложенные в легкую усмешку, и в глазах застыла ленивая рассеянная усмешка. Такое же выражение рассеянной, усмешливой лени проступало и в лице Костомарова, когда с него слетала напускная мрачность. Только лоб у Каткова был, в отличие от костомаровского, не такой заваливающийся, то есть он заваливался не от самых бровей, как у улана, а в верхней своей части, и оттого казался выпуклым.

Сильно же он изменился, однако. Ничего в его теперешнем облике не осталось от того рассеянного сибарита, каким он был, судя по портрету, в юности. Николай Гаврилович не в первый раз видел Каткова, приходилось встречаться в обществе, но только теперь, сравнивая его лицо с портретом, обратил внимание на то, какое у него высушенное, изнуренное, неживое лицо, и эту его безжизненность еще усиливали темные бородка и усы. Одни глаза только и жили на этом лице фанатика, горели ровным, упорным, пастойчивым светом.

Катков кончил чтение, с широкой улыбкой посмотрел на Николая Гавриловича:

— Письмо прочитал, все понял и от души приветствую ваше начинание. Разумеется, готов всеми силами поддерживать. Должен вам сказать, что о необходимости ходатайствовать об отмене предупредительной цензуры и мы здесь думали. Но вы, петербуржцы, как всегда, опередили

нас в деловом отношении, начали дело. Вернадский пишет, что вы будете просить меня собрать господ редакторов московских изданий для обсуждения проекта адреса. Так? Дельно. И устроить это нетрудно. Дайте мне сутки на это, и завтра в это же время мы соберемся хотя бы тут, у меня. А проект, помянутый Вернадским?..— он умолк, выжидательно глядя на Николая Гавриловича.

Пока он говорил, Чернышевский вытягивал из кармана сюртука сложенную рукопись своей записки, вытянув, передал ему. Катков принялся ее просматривать, уже не вчитываясь, как вчитывался в письмо Вернадского. Просмотрел и опять широко, одобрительно улыбнулся Николаю Гавриловичу:

— Дельно! Вижу, что составлено с учетом реальных возможностей и обстоятельств момента,— похвалил он, выразив и голосом и улыбкой приятное удивление; такое же удивление выражал и Вернадский по поводу тона записки.— Что ж, завтра и обсудим. Но оставьте мне это. Я после прочту внимательнее и дам прочесть тем, кто будет завтра участвовать в совещании. Хорошо, если господа предварительно прочтут это. Едва ли все успеют прочесть, но хотя бы некоторые...

— Хорошо бы, чтобы все успели,— сказал Чернышевский.— Попробуем это устроить. У меня есть копия записки, и еще есть копия у Елисеева, который приехал вместе со мной, он тоже уполномочен вести переговоры. Мы с ним можем объехать кое-кого из редакторов, кого укажете. Кстати, через полтора часа мы с ним условились встретиться у Аксаковых.

— Ну и прекрасно. Я дам вам адреса некоторых господ. Если угодно, предварю ваши визиты к этим господам записками от себя. Сейчас же пошлю человека по этим адресам.

— Сделайте одолжение.

Катков перешел к столу, подал Чернышевскому список

московских редакторов, выбрали, к кому удобнее поехать ему и Елисееву, и Чернышевский выписал на карточки с десяток адресов.

Покончили с этим, и Чернышевский встал. Катков смотрел на него с пристальным интересом, но удерживать, конечно, не стал. Они раскланялись, Катков позвонил, и угрюмый лакей со всей возможной предупредительностью проводил гостя обратно в переднюю, подал ему шубу и, выйдя на крыльцо, подсадил на извозчика.

Весь день прошел в разъездах и хождениях по городу. Разделили с Елисеевым адреса, которые дал Катков, на каждого пришлось по полдюжине адресов. Извозчика Чернышевский скоро отпустил, в нем не оказалось надобности, все редакторы жили недалеко друг от друга, между Арбатом и Тверской. Да, кроме того, и приятно было побродить по Москве без большой спешки и по знакомым с юности местам, узнавать старинные особняки, затейливые церквушки, резные заборы, мимо которых когда-то проходил. И день был славный, солнечный, звонкий, со всех крыш капало, тротуары, испещренные ручьями, были будто в морщинах. От домов исходил домовитый дух, свойственный только московским домам, теплый дух лампадного масла, горячих блинов, солений, сена.

Прошел мимо церкви Воскресения на Бронной, и дрогнуло сердце: когда-то жила здесь, пожалуй, жила и теперь очаровательная Александра Григорьевна Клиентова, старшая дочь священника этой церкви, умненькая, начитанная; в юности она была подругой Натали Герцен, с которой долго переписывалась, покуда не вышла замуж и муж, молодой дьякон, не потребовал, чтобы она прекратила переписку со ссыльными. Когда с ней познакомился Николай Гаврилович, она уже была вдовой. Последний раз видел ее десять лет назад, когда ехал из Петербурга служить в Саратов, был влюблен в нее, держал в мыслях жениться на ней, уговаривал ее приехать в Саратов, обещал ей, что

посвятит ей первое, что напечатает... Не сдержал обещания. Почему? Забыл? Нет, не забыл. Но в те годы, когда начал печататься, в его душе была уже одна Ольга Сократовна...

Все время, пока шел мимо церкви, и долго после того, как свернул с Бронной, все ждал, что встретит ее. Хотелось бы, конечно, увидеть ее. Но так, чтобы она не узнала его. Просто зайти к ним было невозможно. Встреча была бы мучительной. Было бы больно, и только. Ему было бы больно, и ей, может быть, тоже. Не состоялась ее судьба. Она так и осталась одна, он знал это от саратовцев — она сама была родом из Саратова,— осталась с сестрами, а теперь и племянниками на руках. А ведь могло быть иначе. Как знать, случись ему тогда еще раз заехать в Москву или решилась бы она тогда приехать в Саратов, может быть, и сложилась их жизнь по-другому. И все было бы по-другому. Совсем по-другому...

Попытался было представить себе лицо Александры Григорьевны — и представил лицо Анны Аркадьевны. Они вовсе не были похожи, черты лица Александры Григорьевны были миниатюрнее, тоньше, и сама она была меньше, субтильнее. Но чем-то были и похожи. У обеих была нежная и тонкая, прозрачная кожа лица, такой красивой кожи лица не встречал он больше ни у кого из женщин. Подумал об Анне Аркадьевне и повеселел. И поймал себя на том, что уже не в первый раз воспоминание о ней выводит его из невеселого расположения духа. И об этом тоже было весело подумать.

В тот же день, после того, как обошел редакторов, Николай Гаврилович побывал у Плещеева, передал ему корректуру своей статьи о его поэтическом сборнике и спросил адрес Всеволода Костомарова. Уезжая из Петербурга, Николай Гаврилович специально обсудил с Михайловым пункт о Костомарове, и они решили, что все же надо будет ему в Москве зайти к Костомарову. Но не

сразу по приезде. Сначала постараться разузнать побольше о нем и о его приятелях-студентах у общих знакомых, у того же Плещеева например. И если эти сведения окажутся благоприятны, тогда и зайти. Зайти для того, чтобы забрать с собою в Петербург все, что к тому времени будет отпечатано в тайной типографии.

Выходило, что уже 30 марта могли быть готовы первые оттиски воззваний к барским крестьянам и к солдатам: 28 числа Сороко доставит рукописи прокламаций в Москву, если допустить, что в тот же день студенты начнут набирать и будут набирать весь следующий день, а они, конечно, будут торопиться, они же понимают, как важно исполнить это скорее. Вот, стало быть, 30 числа и зайти к Костомарову. Стоило ради ускорения доставки и распространения прокламаций не особенно обременяться правилами конспирации. Ходили теперь в народе разные грамотки, смущали народ нелепыми сказками, подбивали на бессмысленные действия. В самый бы раз теперь пустить в ход прокламации, и были в Петербурге молодые люди, которые могли доставить их в губернии, распространить среди мужиков, с прицелом на грамотеев, на тех, к которым прислушиваются в общинах...

Плещеев мало что знал о студентах, обещал навести справки, но о Костомарове отзывался тепло, высоко ставил его способности переводчика и компилятора, с сочувствием говорил о его бедности и каких-то непонятных трудностях в семье, которые мучили его. Жил Костомаров в Марьиной роще, в собственном доме.

8

В полдень 28 марта в квартире Каткова, в его большом кабинете, собралось человек двадцать редакторов и издателей московских газет и журналов. Все это был народ солидный, многоопытный, ученый, коммерсанты, по-

литики и дипломаты, готовые министры первого же временного правительства, случись в России политический переворот, который привел бы к замене монархии республикой. Все они знали себе цену и держались с достоинством и, рассаживаясь вокруг длинного овального стола, во главе которого сел Катков, старались сесть как можно более обособленно, отдельно от всех. Самые независимые из них, вроде Аксакова, редактора славянофильского «Дня», или Корша, редактора университетских «Московских ведомостей», сели и вовсе в сторонке, в кресла. Когда все расселись, Катков, обращаясь ко всем, сказал:

— Господа, не будем терять время, начнем. Вы читали записку петербургских редакторов, поэтому зачитывать ее теперь не будем. Я лишь позволю себе выделить главные пункты. Редакторам издающихся в России журналов и газет предлагается ходатайствовать перед правительством об отменении предупредительной цензуры. С этим пунктом записки, кажется, мы все согласны: об этом надо ходатайствовать. Но вопрос в том, какие практические меры должны составить цензурную реформу, что мы, литераторы, можем тут предложить правительству? Записка предлагает некоторые из этих мер: привести в порядок существующие цензурные правила и постановления и обнародовать их, учредить особый суд по литературным проступкам и преступлениям, учредить посреднический между литературою и судом цензурно-следственный комитет и тому подобное. Однако авторы записки оговариваются, что вполне удовлетворительно вопрос о том, в чем должна состоять цензурная реформа, может быть решен только после свободного и широкого обсуждения этого вопроса в печати. И они предлагают прежде всего об этом и ходатайствовать, то есть ходатайствовать о дозволении на определенное время такой свободы, чтобы статьи об этом предмете не подвергались предварительной цензуре... Что скажете на это, господа? Прошу высказываться.

Сидевший за столом неподалеку от Каткова мешковатый, похожий на купца редактор и издатель еженедельника «Акционер» Чижов сказал, с недовольным видом глядя на Чернышевского и Елисеева:

— Прежде всего пусть господа объяснят, почему записку, которую они привезли из Петербурга, подписала только часть петербургских редакторов? Такое важное дело, а нет подписей некоторых лиц, значительных по своему положению в литературе. Нет подписей Дружинина, Аскоченского...

— Объяснение тут простое,— ответил Чернышевский. — Некоторых господ не было в Петербурге в то время, когда обсуждалась записка, некоторых мы не успели повидать до нашего отъезда из Петербурга: по ряду причин, впрочем неважных, надобно было поспешить с отъездом. Но положительно могу сказать, что под будущим адресом подпишутся все петербургские редактора. Предварительно велись переговоры, и они показали, что все согласны с главным требованием — освобождения от цензуры.

Редактор «Нашего времени» Павлов, сидевший в самом дальнем из кресел, дальше Корша, человек уже немолодой, резкий, ожесточенный и готовый крушить — печатно — всех налево и направо, старинный недоброжелатель «Современника», от которого ему не раз доставалось за эту его безразборчивую ожесточенность, вскочив со своего кресла, подбежал к Коршу и, обращаясь к нему, а не к Каткову или к петербуржцам, с возмущением и сарказмом закричал:

— Да о каком адресе, объясните мне ради всех святых, здесь идет речь? О чем мы должны ходатайствовать, об отмене цензуры или о том, чтобы нам дозволили поболтать об этом предмете, как будто мы и без того мало переливаем из пустого в порожнее? Объясните мне! Я ничего не понимаю!

— Это мы и должны теперь решить, какой адрес составить... — начал было снисходительно Катков, но Павлов не дал ему говорить.

— Что решить! — поворачиваясь к нему каким-то птичьим скачком, вскричал Павлов. — Нечего решать! Все давно решено. Господа, хватит уж нам ходить вокруг да около. Я понимаю дело так. Если ходатайствовать, так надобно составить на имя государя просьбу о совершенной отмене цензуры и объявлении полной свободы печати. Если просить, так просить сразу много.

Острая речь Павлова всех задела, вызвав гневный, протестующий шум и смех. Павлов, очевидно, не ожидал такой реакции и умолк, с удивлением озираясь.

Незнакомый Чернышевскому господин с очень тонким голосом (Чумиков, издатель журнала «Воспитание», как подсказал Чернышевскому сидевший рядом Елисеев) взволнованно поднялся со своего места.

— Господа, позвольте мне сказать! — дождавшись тишины, продолжал патетически. — Господа, на наших глазах совершается необыкновенное событие. Впервые русская литература, несмотря на различие взглядов, на раздоры и полемику, соединяется вместе для общего дела. Так будем на высоте задачи, не позволим себе увлечься химерами. Если мы теперь же будем просить полной свободы печати, мы должны будем оставить всякую надежду на какое-либо улучшение положения печати в ближайшем будущем. Между тем надобно постараться уже теперь добиться улучшения. Давайте об этом думать...

Павлов, постояв, послушав, махнул рукой в ответ на призыв Чумикова и вернулся к своему креслу.

К концу речи Чумикова снова стал нарастать шум голосов, последние его слова совсем потерялись в этом шуме. Все заговорили разом.

Катков, настойчиво пытавшийся обратить на себя общее внимание, стоял с поднятой рукой и повторял: «Госпо-

да, прошу внимания». Наконец на него обратили внимание.

— Господа, успех дела зависит от того, как мы с вами его поведем,— внушительно заговорил Катков. — Совершенно очевидно, что мы ничего не добьемся, если будем требовать преобразования существующих учреждений. Мало того, боюсь, что мы ничего не добьемся даже в том случае, если будем настаивать на тех мерах, которые предлагают петербургские редактора. Не говорю уже о предложении требовать свободного обсуждения в печати цензурной реформы. Уверяю вас, это предложение и рассматривать не будут. Ни в министерстве, ни при дворе. Нет, господа. Надобно найти такую формулу цензурной реформы, чтобы она била наверняка. Надобно предложить правительству способ улучшить положение печати не посредством разрушения существующего порядка, а посредством его улучшения. Весь вопрос в том, возможно ли это?

Он остановился на мгновение, интригуя. Все на него смотрели с интересом.

— Возможно ли это? — повторил он вопрос.— Да, возможно. Все дело в том, как составить адрес. Пусть в нем речь идет не об отмене цензуры, а лишь о том, чтобы придать целесообразный характер отношениям цензуры с литературою. Пусть главное внимание будет сосредоточено на вопросе об ответственности. Ныне ответственность разделяется между цензором и редактором-издателем или автором. Надобно предложить правительству возложить всю меру ответственности,— он помедлил,— на редакторов журналов и газет, передав цензорские обязанности им самим. Тем самым как бы принять их на государственную службу... Эта формула, мне кажется, устроит правительство. Доказать выгодность такой перемены будет нетрудно. Редактор газеты или журнала, равно как и самое издание, находится постоянно под рукою правительства, редак-

тор — столько же известное правительству лицо, как и цензор, и всегда может быть подвергнут взысканию в случае нарушения закона, и он больше заинтересован нравственно и материально в продолжении издания, чем цензор, так что ответственность цензора является здесь делом совершенно излишним... Вот это развить в предполагаемом адресе было бы, думаю, полезно.

Катков умолк. Его слушатели тоже молчали, напряженно вникая в смысл сказанного им.

А Чернышевскому было весело. Он вдруг понял секрет странного воздействия Каткова на публику. До сих пор никак не мог понять. Как же так, думал, пишет человек из года в год банальности, а его читают, читают и почитают, величают первым журналистом в России? Почему? Только ли потому, что писания его представляются банальными лишь специалистам, каков сам Чернышевский, а большинство публики не доросло до возможности судить о таких вещах? Да нет, дело не только в этом. Мало ли публицистов, пишущих банальности? Однако им всем далеко до популярности Каткова. Теперь понял: как бы то ни было, Катков — незаурядный человек, он артистически изобретателен в тех пределах, которыми ограничены выражаемые им воззрения, виртуозно владеет искусством передать банальность в яркой и неожиданной форме,— не слишком разборчивый почитатель его принимает блестящую форму за оригинальное содержание. Что представляют собою пределы Каткова? Да те же это, по существу, пределы, которым поклоняется Иван Васильевич Вернадский. Классические основания консерватизма: поклоняемся тому, что нам известно и уже вошло в жизнь, предаем анафеме то, что представляется нам пока лишь как возможность...

Предложение Каткова было всеми москвичами единодушно одобрено, и ход совещания переломился, разговор тотчас принял практическое направление: о чем следует

написать в будущем адресе в обоснование и развитие мысли об ответственности редакторов. Без споров было принято предложение Чумикова взять из записки петербуржцев пункт о цензурных правилах и постановлениях, о необходимости их обнародования: они должны быть известны всем редакциям и не могут составлять, как составляют ныне, государственной тайны. Много споров вызвал вопрос о способах разрешения конфликтов между литературой и законом. Сошлись на предложении Каткова просить о придании Главному управлению цензуры лишь до некоторой степени судебного характера с дозволением присутствовать при обсуждении дел печати особым ходатаям за литературу, которые имели бы совещательный, а не решающий голос... Были споры и о мерах наказания журналистов за нарушения закона. Но тут спорящих неожиданно примирил Павлов, пересевший поближе к центру дискуссии, к Каткову, и предложивший развить в адресе мысль о постепенных мерах взыскания. Например, после известного числа предупреждений правительство может сначала лишить журнал на какое-то время права печатать статьи политического или духовного характера, не запрещая в то же время печатать, например, беллетристику...

Составить адрес было поручено, разумеется, Каткову. Договорились, что, когда текст будет составлен и одобрен москвичами, его перешлют Чернышевскому в Петербург для обсуждения петербургскими редакторами, и, если содержание всех устроит, тогда и будет дан бумаге должный ход.

Чернышевский был доволен: дело завертелось и теперь пойдет собственным ходом, без всяких усилий с его стороны. Пожалуй, числа тридцатого он сможет уехать в Петербург.

Не имело смысла оспаривать предложение Каткова. Какое имело значение, что ляжет в основу адреса — пред-

ложение Каткова или какое-то другое предложение — в условиях, когда неизменными остаются устои деспотического государства? Важнее было раскачать москвичей. Их энтузиазм мог раскручивать и раскручивать дело. И в добрый час.

9

Дом Костомарова в Марьиной роще был не такая уж и развалюха, как представлял себе Николай Гаврилович с его слов. Довольно уютный, опрятный домик, похожий на собственный Николая Гавриловича саратовский дом, в один этаж и с мезонином, только размерами поменьше, да окно мезонина смотрело на улицу, а не во двор, да стоял дом, в отличие от саратовского, отступя от тротуара, в глубине сада, к нему вела от калитки узкая дорожка между деревьями. Вход был с тыловой стороны, дорожка обходила дом слева.

Костомаров из окна заметил Николая Гавриловича, входившего в калитку. Выглянул он в окно, должно быть, на дребезжание каких-то подвешенных к калитке железок, загремевших, как только Чернышевский открыл калитку; судя по всему, эти железки должны были извещать о появлении на территории усадьбы непрошеных гостей. Выбежав навстречу гостю, Костомаров с сияющим видом объявил, что он так и думал, что Николай Гаврилович навестит его, он знал о приезде Николая Гавриловича в Москву, знал и то, что Николай Гаврилович справлялся у Плещеева о нем и об его адресе, это он узнал от самого Плещеева, потому и решил, что Николай Гаврилович навестит его. Правда, ждал он гостя еще вчера и даже третьего дня, но это не имеет значения, он рад видеть Николая Гавриловича у себя. Вот только жаль, что Николай Гаврилович не приехал хотя бы на полчаса раньше, дома теперь никого нет, ни матушки, ни сестер, а он бы хотел

познакомить Николая Гавриловича с ними, нет дома даже их жильца, его товарища, студента Сулина, тот и вовсе был бы счастлив познакомиться с Николаем Гавриловичем. Впрочем, оно и к лучшему, что никого нет, никто не помешает им поговорить. Ведь Николай Гаврилович приехал, верно, для какого-то разговора?

Говорил Костомаров восторженным, ликующим тоном, чем-то он был сильно и радостно взбудоражен, вид у него был такой же летящий, как тогда, в Петербурге, когда Николай Гаврилович разбирал его переводы. Взбудоражен он был, конечно, не визитом Николая Гавриловича самим по себе, это было ясно, однако ясно было и то, что визит Николая Гавриловича увеличивал его возбуждение и радость. Ясно было: он догадывался, с какою целью явился к нему Николай Гаврилович, и готов был ко встрече с ним, у него были для Николая Гавриловича хорошие вести,— верно, полным ходом шло или даже уже завершилось печатание прокламаций. Но он не знал, как подступиться к Николаю Гавриловичу с этим разговором. Первым заговорить о прокламациях он не решался, должно быть помня урок, преподанный ему Чернышевским в Петербурге. Ждал, что Чернышевский сам об этом заговорит. Только дал ему понять, что догадывается о том, с какой целью он приехал.

Николай Гаврилович ответил, что приехал посмотреть, как живет Всеволод Дмитриевич, а кроме того, привез ему оттиски его перевода из Бернса, помещенного в третьей книжке «Современника», и следуемые ему за этот перевод деньги. Костомаров поблагодарил за внимание, и они вошли в дом.

Ждать, однако, когда Чернышевский заговорит о прокламациях, Костомаров был явно не в силах, и, едва вошли в дом и прошли в его комнату, маленькую, с голыми стенами, оклеенными темными обоями, с железной койкой, покрытой ярким клетчатым пледом, с единственным

стулом у письменного стола, заваленного книгами и рукописями, и Николай Гаврилович сел на предложенный хозяином стул, Костомаров вытащил из какой-то груды бумаг большой лист с отпечатанным текстом и подал его Николаю Гавриловичу:

— Вот... посмотрите.

Сам он сел на койку. Он смотрел на Николая Гавриловича со сдержанной улыбкой. Откинулся к стене, сложил руки на груди и стал следить за выражением лица Чернышевского, рассматривавшего лист.

Это был оттиск с набора прокламации «Барским крестьянам», четыре колонки текста, заглавие было набрано тем же шрифтом, что и весь текст.

«Уже отпечатали?» — хотел было спросить Николай Гаврилович в первое мгновение, как увидел оттиск, но тут же и понял, что оттиснут далеко не весь текст, только часть текста прокламации, первая треть или даже четверть текста. Оттиск был нечеткий, печать слепая.

— Что это? Начало набора? — спросил Чернышевский.

— Да, мы уже начали набирать! Мы... — заговорил Костомаров радостно, ликующе, победно и остановился, заметив разочарование на лице Чернышевского.

Нечего было играть в прятки, и Чернышевский прямо сказал:

— Всеволод Дмитриевич, как вы понимаете, меня просили справиться об этой бумаге, готова ли она. И если не готова, то узнать, когда же можно ожидать первые экземпляры,— это прозвучало довольно сухо и досадливо, но Чернышевский не стал менять тон. — Вы же понимаете, бумага требуется срочно.

— Набрано уже больше половины текста,— торопливо стал объяснять Костомаров,— просто оттиснута пока только одна форма, четыре полосы, для пробы. Всего будет, вероятно, шестнадцать полос. Мы бы еще вчера кончили набирать... и хотели вчера кончить, в крайнем случае но-

чью бы набирали, мы понимали, что вы приедете... Но попробовали оттиснуть — и вот... слепой оттиск. Нужно что-то изменить в станке. Нужна катушка... такой, знаете, тяжелый каток с ручкой, для прокатки... чтобы бумага плотнее прижималась к форме. Сегодня мы ее уж не купим, а вот завтра...Я к тому, что еще день или два — и начнем печатать. Это поздно, да?

Он спросил это упавшим голосом. Он был сильно огорчен, даже подавлен. Он ждал от Чернышевского похвал, а получил выговор, которого не заслуживал. В самом деле не заслуживал. Он и его товарищи сделали все, что было в их силах... Николай Гаврилович ответил, смягчив тон:

— Да нет, не поздно. Просто я думал... Нет, ничего. Ничего страшного! А набор хороший, сделан грамотно, ошибок нет,— перевел разговор Николай Гаврилович, снова принимаясь рассматривать оттиск. — Нет, вот ошибка. Но это не ваша... верно, не ваша ошибка, а тех, кто составлял текст. Тут везде написано «срочнообязанные», а правильнее писать «временнообязанные», как это называется в Положении. Лучше бы поправить.

— Вы думаете, надо перебрать? — со значением спросил Костомаров. Похвала набору ободрила его, он снова повеселел.

— Да, переберите,— подтвердил Чернышевский. Возвращая оттиск, спросил с улыбкой: — Где же вы держите вашу типографию, неужели здесь, в доме?

Вместо ответа Костомаров, вскочив, стремительно шагнул к двери, позвал за собой:

— Идемте!

И быстро вышел из комнаты. Чернышевский вышел за ним.

Они прошли через небольшой зал со множеством цветов и каких-то вьющихся растений, покрывающих собою стены от пола до потолка и часть потолка, прошли через

кухню и из маленького тесного коридорчика поднялись в мезонин по узкой и крутой сильно скрипучей лестнице. Костомаров отпер ключом дверь, и они вошли в низкую комнату с кроватью в одном углу, деревянным диванчиком в другом и простым столом в третьем, самом дальнем от окна. На столе стоял громоздкий предмет, накрытый одеялом. На диванчике тоже что-то стояло громоздкое, прикрытое тряпицей.

— Здесь живет мой товарищ, Сулин, сюда никто из моих не заходит, и прислуга не заходит,— сказал Костомаров, когда они вошли.

Он подошел к столу и откинул одеяло. На столе был собран чугунный печатный станок с массивной рамой, стойками и рычагами, плитой для прижимания бумаги к набору. Потом Костомаров подошел к диванчику и сдернул тряпицу. Под тряпицей оказалась наборная касса с разложенными по ячейкам металлическими буквами, шпонами, бабашками, с несколькими верстатками.

— Вот и паша типография,— сказал Костомаров с гордостью. Чернышевский присматривался к станку, и Костомаров, снова подойдя к столу, стал объяснять. — Принцип простой. На эту плиту, талер, ставится набор, кладется бумага, этой плитой накрывается, поворот рычага — и готово. Но вот что-то тут не в порядке...

Они снова спустились вниз, вернулись в комнату Костомарова. Николай Гаврилович передал Костомарову оттиски его перевода и деньги, которые не успел еще передать. Костомаров, извинившись, стал торопливо читать напечатанное.

— В следующей книжке выйдет ваше «Отворенное окно»,— сказал Николай Гаврилович, с улыбкой следя за его лицом. Костомаров кивнул, не отрываясь от чтения. Он был явно доволен и фактом опубликования большого, на нескольких страницах, стихотворения, и тем, надо было полагать, что ничего в его тексте не было поправлено,

и тем, что при чтении не натыкался на типографские ошибки.

Когда он кончил читать, Николай Гаврилович спросил:

— Чем вы теперь занимаетесь, Всеволод Дмитриевич? Как ваш сборник? Статью о Гейне еще не трогали?

— Нет, теперь не до сборника,— усмехнулся Костомаров, поведя головой вверх, намекая на мезонин.— Впрочем, со сборником все в порядке, Катков обещал отпечатать в своей типографии. Обещал к осени. А статью о Гейне я выкину, мне теперь действительно некогда заниматься ею. И не только поэтому, — опять повел он головой вверх. — Последнее время я занимался вещами, далекими от Гейне. Во-первых, увлекся сербами, народной поэзией...

— Песнями?

— Да, песнями. Много перевел. Пишу статью о них. А во-вторых, я скоро предложу «Современнику» целую книгу статей по истории мировой литературы. Она у меня почти готова. Составлена по Шерру, Шлоссеру, Шлегелю. Предложить?

— Предлагайте. Можно будет и в журнале печатать, и отдельно издать. В этом я вам помогу. И цензурные хлопоты возьму на себя.

— Спасибо, Николай Гаврилович... Ну, и еще кое-что делал. Писал. Свое, не переводы.

— Стихи?

— Поэму...

— Опять о религии?

— Не совсем, — принужденно засмеялся Костомаров. — То есть даже совсем напротив. Собственно, не столько писал, сколько обдумывал. Очень трудная тема. Не знаю, как и подступиться.

— О чем же?

— Даже страшно сказать, о чем,— снова скованно за-

смеялся Костомаров. — Вы меня перестанете уважать... перестанете принимать всерьез. Скажете: поверхностный человек Костомаров, вздумал, о чем писать в такое время... Нет, вы-то как раз ничего такого не скажете! Потому что это только на первый взгляд может показаться, что не ко времени. А на самом деле это теперь так важно, как никогда... Может быть, это теперь важнее всего...

Он вынужден был на секунду умолкнуть, так вдруг взволновался, не мог говорить. При этом он пристально смотрел на Чернышевского, как бы что-то проверяя в нем.

— Вам я скажу... Вам могу сказать. Михайлову мог бы сказать и вам могу, потому что... Но это неважно почему... Я хочу написать поэму о любви,— сказал он, с вызовом смотря на Николая Гавриловича. — Да, о любви. (Помолчал.) Об однолюбе. Герой поэмы — однолюб. Вот о его любви. Об обете любить одну во всю жизнь... Но это внешнее! Тут главное, что за этим стоит. Тут — социальная сторона!.. Нет, об этом после... Видите ли, я с шестнадцати лет или даже и раньше мечтал встретить такую девушку, которую мог бы полюбить... любить всю жизнь. О таком браке мечтал. Уж если жениться, так только так, чтобы любить ее одну, только ее, всю жизнь... Я знаю: чувства проходят. Знаю! Но знаю и то, что это не про меня. Меня это не может коснуться и не коснется. Потому что я знаю: только такой брак имеет смысл... Не подумайте, что я собираюсь проповедовать домострой, вовсе нет. По домострою, человек свою индивидуальную душу спасает, а теперь человеку не спастись в одиночку, мы можем спастись только все вместе. Все вместе! О, я это понимаю! Я теперь это *так* понимаю!.. Но это социальная сторона, об этом после... Так вот, написать о браке, в основе которого полная открытость и потому беззащитность друг перед другом, а значит, и вера друг в друга, уверенность друг в друге. Я уверен в ней, как в самом

себе, и она так же уверена во мне. И сознание этого... того, что мы оба есть одно... господи, что же может быть дороже этого в жизни? Вы понимаете? Понимаете?

Он требовательно смотрел в глаза Николаю Гавриловичу, вызывая на такую же искренность, такой же исповедальный тон. И невозможно было не поддаться этому нажиму, не откликнуться на этот призыв.

— Да, понимаю,— ответил Николай Гаврилович со странной улыбкой. — И я, знаете, в юности мечтал о подобном... о таком браке...

— Правда? — радостно вспыхнул Костомаров.

— Да. Мечтал любить одну во всю жизнь. Думал, что буду мучиться, если моей женой станет не первая моя любовь...

— Но ведь и я так же думал! — восторженно вскричал Костомаров. — Такими же словами! Вот о том же, что мучиться! А почему мучиться? Потому, что часть жизни моей души не ей будет принадлежать... Значит, и не мне! Это же себя обеднять... И вы так думали? Да?

— Да. И еще думал: я бы стал ревновать себя за свою жену к моей первой любви...

— И я то же думал! Именно ревновать! Себя — и за нее... Господи, как мы похожи...

— Похожи... Но, знаете, для такого брака надобно слишком много условий, чтобы он мог осуществиться не в мечте только. Ваш друг женщина должна не только понимать вас, но и стремиться к тому же, что и вы. Иначе ничего не выйдет. Ваш обет будет смешон... не достигнет цели. Но вот найти такого друга женщину, с которой вы могли бы быть на равных, пока еще, знаете ли... Впрочем, теперь могут быть такие женщины. Ваше поколение счастливее моего...

— Но почему, почему? — растерянно запротестовал Костомаров. — Разве так уж необходимо быть на равных? Если встретится простая и умная чистая девушка... чи-

стая душой. Разве этого мало? Было бы влечение... обоюдное...

Николай Гаврилович засмеялся:

— Это только по молодости нам кажется, что довольно одного влечения. Нет, Всеволод Дмитриевич, не обольщайтесь. Увы, не довольно... Правда, вот если бы вы задались целью обратить такую простую и чистую девушку в товарища себе, тогда другое дело. В этом случае ваш обет имел бы смысл, но лишь как способ воздействия на вашего друга, принуждения, определенного рода насилия над ним. Трудно выделывается человек. Переделать куклу в человека трудно, тут без принуждения не обойтись. Но в этом случае не надо говорить о любви. Любовь по природе своей беззаботна, а если есть в ней какая-нибудь забота, принуждение, значит, в ней что-нибудь не так, как следует быть. Влечение, конечно, вещь натуральная, может быть и к кукле. Но любви, о которой вы говорите, но брака такого, о котором говорите, не будет. Не выйдет у вас ничего... Но положим, что я не прав, а правы вы. И что же? Какой в таком браке социальный смысл? Вы упоминали о социальной стороне. В чем же она?

— Да, социальная сторона... — машинально повторил Костомаров, обдумывая то, что услышал от Чернышевского, пораженный признаниями, которых никак не ожидал от него. — Социальная сторона в чем же? Да в том, о чем я уже сказал, в вере... в уверенности друг в друге... и отсюда моя уверенность в том, что есть в жизни некоторая абсолютная для меня ценность, не зависящая ни от каких перемен в мире, даже перемен во мне самом. Я могу меняться как угодно, но эта ценность всегда останется для меня абсолютной, как абсолютной ценностью всегда останется физическая жизнь... Вот теперь все ищут почву. Ищут, откуда бы взять идеалы обновления России и всего человечества. Одни ищут в допетровской Руси, другие — в православии и панславизме, третьи...

— Неужели в браке?

— Да нет же! — с обидой и с досадой возразил Костомаров. — Я не к тому вел! Совсем напротив. Я хотел сказать: теперь не почву надо бы искать, не идеалы социальных перестроек,— это дело второе, а первое дело — найти, для чего человеку жить, и если жить, то для чего жить нравственною жизнью, а не в свою утробу только? Для чего свою индивидуальную свободу обратить не на разрушение и смерть, а на жизнь, и жизнь созидательную, жизнь в человечестве? Никто этого не ищет. Никто не думает о душе нового человека. О душе прежнего человека подумать много охотников, а до нового человека никому нет дела. Почему? Или тут не о чем думать? Нет вопроса? Так нет же! Потому и почву ищут, что слишком чувствуют вопрос. Ищут почву, потому что *боятся* нового человека, его свободы, разнузданных сил народа и нигилизма, как говорит Катков. *Боятся*, и уходят от вопроса... Зарываются в почву...

— И Катков боится?

— Катков первый между теми, кто и слышать не желает об индивидуальной свободе человека!

— Вы его, должно быть, знаете лучше, чем я. Объясните, как вы понимаете его? Если, конечно, это вас не сбивает...

— Катков! О, Катков! Это — штучка. Я долго не мог его понять. Не мог понять, чего же он хочет, чего добивается. Он-то о свободах больше всех в России пишет! Прямо первый либерал. Восторгается английскими порядками, желает таких же порядков для России. И ведь действительно желает, это не поза. И в то же время нападает на всякие теории революционных переворотов. Как будто английские свободы не революциями достиглись... Как это соединить? А дело вот в чем. Он не против свобод, и не только социальных, готов примириться и с личной, индивидуальной свободой отдельного человека, более то-

го, не против и постепенного их расширения, но не теперь. Когда-нибудь, очень нескоро, в туманной дали будущих поколений, может быть, и встанет перед человечеством вопрос о царстве свободы. Может быть. И вот тогда-то можно будет содействовать свободе. Но — не теперь... Он опасается беспредельного расширения свобод в современном обществе. Полагает, что теперь человек не справится со своей свободой. До сих пор справлялся, потому что религия удерживала человека в известных пределах. А теперь бог умер, и если не принять некоторых мер, очень скоро наступит всеобщий нигилизм и разрушит жизнь. Какие же меры надо принять? Оживить религию? Ну, нет. Михаил Никифорович не так прост, чтобы строить иллюзии насчет религии. Религия — это прошлое, ушло навсегда, это он не хуже любого материалиста понимает. С развитием наук и промышленности, проникновением всюду их методов анализа и проверки истин меняется характер мышления человека, об этом он сам говорит, нового человека уже не заставишь на веру принимать не им установленные истины. Но если умер бог, то остается власть. Человеческая, земная власть. Власть должна занять место бога. Нужно отдать ей нашу свободу. Вот к этому он и призывает. Призывает добровольно уступить нашу свободу власти. Любой наличной власти, какая ни выработалась в ходе истории к настоящему моменту. Какою бы ни была власть, последнее слово во всех общественных вопросах должно принадлежать ей. Не ссориться с нею надобно, но содействовать ей и безусловно повиноваться. Это — меньшее зло, чем пытаться революционным путем переделывать общественные формы, какими бы ветхими они ни были. Переделывать-то будут недоделанные люди! Они и новые формы создадут по своему недоделанному подобию. Переделкою общественных форм пусть занимается власть. Удел человека — себя переделывать, вырабатывая стойкость к соблазнам опасной свобо-

ды. Самое большее, что можно себе позволить,— советом содействовать власти в ее реформаторстве... Что?

Костомаров остановился, потому что Чернышевский вдруг засмеялся. Глянул на Чернышевского подозрительно.

— Нет, ничего,— с улыбкой успокоил его Чернышевский.— Просто мне показался занятным этот ваш этюд. Пожалуй, похоже на Каткова. Но я вас перебил, извините.

— Что этому можно противопоставить? Надобно показать пример... если не в жизни, так хотя бы в искусстве... положительный идеал выхода из соблазна опасной свободы. Показать, что не обязательно новый человек воспользуется своей свободой во вред себе. Это я и хочу показать в поэме. Показать нового человека, человека с новыми ценностями... Новые ценности — это пока любовь, брак. Но ведь может быть и иное? Мало ли такого, что может быть для человека абсолютной ценностью, откуда выводить основания для нравственного выбора? Хотя бы влечение к новому знанию. Влечение к красоте... Только это надобно сперва вывести... обдумать сперва для самого себя... я говорю о себе... Но это после! А теперь... пока... эта поэма...

Опять он, разволновавшись, как только заговорил о поэме, задохнулся и вынужден был остановиться, не мог говорить. Но высказался он как будто вполне и смотрел на Чернышевского в тревожном ожидании. Его сильно беспокоило, что скажет на это Чернышевский.

— Что ж, в добрый час, Всеволод Дмитриевич. Буду с интересом ждать, когда вы кончите вашу поэму. Вы правы, теперь никто не думает об атеистических основаниях добра. О новом человеке, об его, как вы говорите, индивидуальной свободе. Его душе. Некому думать. Кто мог бы думать, тем не до того. А думать надобно... Вы правы.

Костомаров просиял от этой похвалы, залился румянцем удовольствия, облегчения.

Чернышевский выпрямился на стуле, как бы собираясь встать, но, помедлив, остался сидеть.

— А вот о Каткове... — произнес как бы нерешительно, как бы сомневаясь, стоит ли говорить. — Да ведь противопоставить ему можно не только положительный поэтический идеал. Можно поступить проще — проверить его логику. Положим, что плата за исторический прогресс, достигаемый революционным путем, действительно непомерна и может оказаться еще выше со временем, когда распространится нигилизм в массе народа и в революцию будет приходить больше плутов, чем приходило до сих пор. Положим. Но по той же логике с течением времени плутов больше будет становиться и на всех ступенях власти. А почему плата за ту оттяжку нужных перемен в обществе, которая произойдет из-за этого, будет ниже цены, которою оплачиваются революции? Почему? Кто это может подсчитать? Кто возьмется подсчитать? Катков? Вот разве что Катков. По его подсчету, уж конечно эта плата окажется ниже. Потому что не Катковы будут при этом платить... Вот и весь сказ. Платить будет тот самый разнузданный и дикий народ, который так невежествен, что даже не понимает ужаса своего жалкого положения. Ну, и натурально: когда так, то и ничего с ним не случится, если и впредь останется в этом спасительном неведении... Однако тут всего не обговоришь, а мне пора уходить, — поднялся Николай Гаврилович, ласково смотря на Костомарова, который следил за его рассуждением с лихорадочным напряжением. — Я хочу сегодня уехать. Билетов еще не брал... Жду вашу поэму, Всеволод Дмитриевич!

Глава пятая

1

Всю весну и часть лета 1861 года волновалась крестьянская деревня, разочарованная царским манифестом и Положениями 19 февраля, которыми не обещались народу ни земля, ни настоящая воля от помещиков. Начавшиеся в марте, тотчас по объявлении манифеста, крестьянские волнения достигли высшей точки в апреле — мае, с наступлением поры весенних полевых работ, когда крестьян вновь, как и прежде, погнали на барщину, только теперь уже гнали на основании Положений 19 февраля. В неспокойные уезды направлялись регулярные войска, применявшие оружие, когда не хватало обычных полицейских мер заставить крестьян повиноваться помещикам.

Особенно драматичный характер приняли события в Казанской и Пензенской губерниях. В Казанской губернии с первых дней по обнародовании манифеста стал распространяться слух, что настоящая воля объявлена в селе Бездна, ее вычитал из манифеста молодой грамотный крестьянин Антон Петров. Чтобы послушать Петрова, в Бездну стали сходиться и съезжаться крестьяне из ближайших и дальних уездов Казанской и соседних Самарской и Симбирской губерний. Всем приходящим Петров объявлял, что крестьяне теперь вольные и не должны ходить на барщину, платить оброки, давать подводы. Всем надлежит держаться вместе и требовать волю, и чем боль-

ше народу соберется вместе, тем скорее получится чистая воля. Все это, мол, записано царем в манифесте намеренно неясным языком, яснее он, царь, написать не мог, потому что тогда помещики да чиновники вовсе не допустили бы обнародования манифеста. Стоять же за волю надобно до конца, без страха наказания или даже и смерти. Когда власти пришлют войско и станут стрелять, надобно держаться до третьего залпа, потому что после третьего залпа стрелять не будут, а объявят настоящую волю.

К 12 апреля, когда в Бездну прибыл с 12 ротами флигель-адъютант граф Апраксин, здесь сошлось до десяти тысяч крестьян, большая часть их собралась возле дома Петрова. На требование Апраксина выдать Петрова и разойтись толпа отвечала криками: «Воля! Воля! Умрем за царя...» Апраксин приказал стрелять. Только после третьего залпа толпа дрогнула и побежала. Когда подсчитали число жертв, убитых оказалось 70 человек, раненых — больше сотни.

И в Пензенской губернии движение началось со слухов о том, что правда о воле скрыта властями, а тот манифест, который читают, вымышлен или его неверно читают. И здесь, как и в Казанской губернии, центром притяжения народа стал толкователь «истинной воли», им здесь был старик молоканин Леонтий Егорцев из большого села Кандеевки, говоривший, что царь приказал всем крестьянам выбиваться от помещиков на волю до пасхи. И в Кандеевке, подобно тому, как это было в Бездне, крестьяне стойко выдержали три залпа, никто не побежал, после каждого залпа из толпы кричали с жаром: «За бога и за царя умрем все до одного». Как и в Бездне, здесь были уверены, что после третьего залпа стрелять уже не будут и сами начальники объявят чистую волю... После третьего залпа толпу рассеяли штыковой атакой.

Стреляли в народ, слышно было, еще в двух или трех местах, впрочем, как будто без больших жертв. Вообще

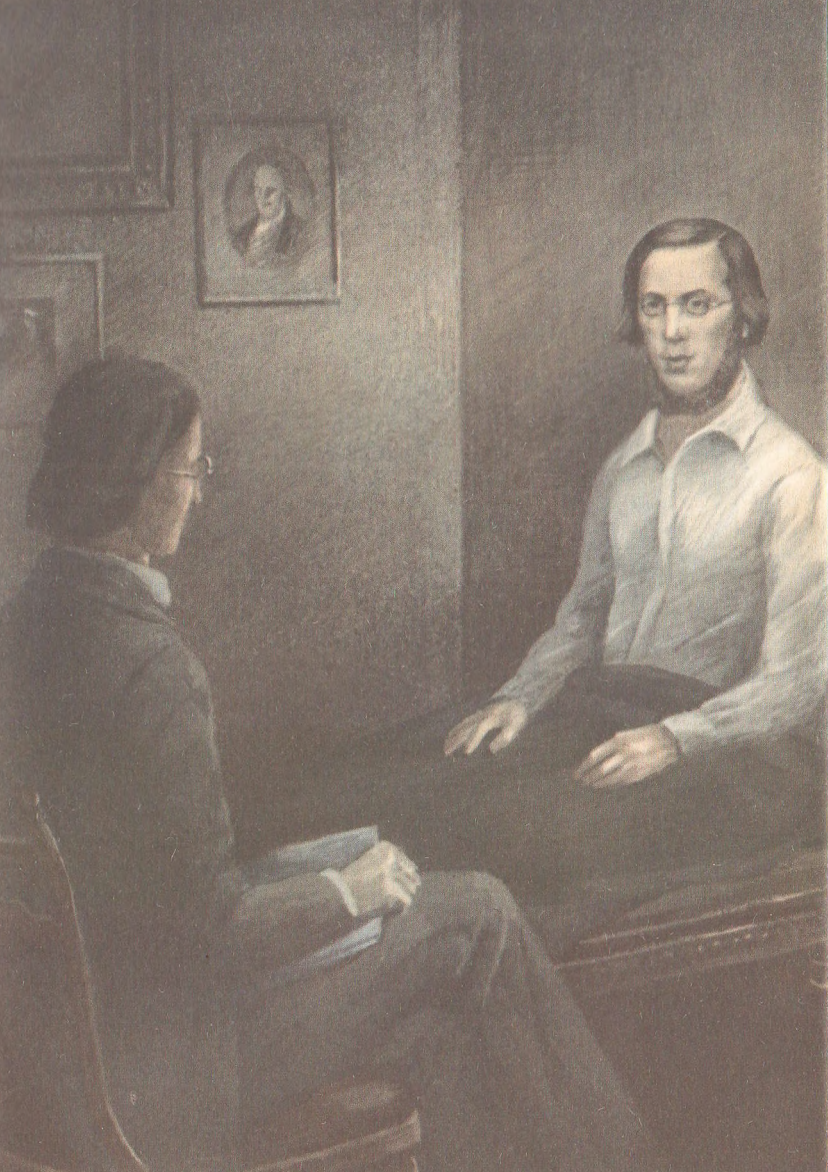
особой надобности в этой крайней мере, это власти поняли очень скоро, не было. Крестьянские волнения нетрудно было подавить. Довольно было одной угрозы расправой, правда достаточно внушительной угрозы, довольно было, например, ввести в неспокойное селение карательный отряд во главе с решительным командиром, категорические и твердые требования и распоряжения которого не оставляли бы у крестьян сомнений в том, что в случае их неповиновения он прикажет солдатам стрелять, и беспорядки прекращались. Сила, как всегда, была лучшим аргументом власти в пользу правды, лучшим способом доказать народу, на чьей стороне правда. В данном случае важно было доказать, что правда на стороне властей, что их объяснение манифеста и Положений 19 февраля соответствует царскому благоволению, на их стороне правда, а не на стороне полуграмотных толкователей выдуманной воли. Входило войско в селение, командир приказывал волновавшейся толпе разойтись и выдать зачинщиков возмущения, и толпа расходилась. Как было не разойтись? Если царское войско на стороне начальствующих, значит, и в самом деле манифест истинный, а не подложный, сила не может быть на стороне неправды. Расходились, и выдавали своих вчерашних пророков, толкователей воли, и удивлялись себе, качали головами, не понимая, как могли они поверить этим самозванцам больше, чем законным властям. Зачинщиков примерно наказывали розгами или увозили в острог, и порядок окончательно восстанавливался в селении.

Но почему, возникал тут вопрос — этот вопрос мучил многих из тех, кто внимательно следил за развитием событий в деревне,— почему для всех крестьян было довольно одной угрозы расправой, чтобы заставить поверить в подлинность манифеста, а для кандеевских и бездненских мужиков этого оказалось недовольно, понадобилось крещение огнем и смертью, чтобы и они поверили? Может

быть, не всюду прошла молва о трех залпах, после которых якобы не должны уже были больше стрелять, тайну трех залпов знали только в этих деревнях, потому тут и не дрогнули перед силой, не вняли угрозам? Или, может быть, пример расправы над кандеевскими и бездненскими послужил достаточным уроком для всех? Сами же кандеевцы и бездненцы такого урока еще не имели, волею случая оказавшись первыми жертвами сказки о трех залпах. А преврати кто-нибудь другой свою судьбу в такой урок — и точно так же, как все, удовлетворились бы лишь угрозой расправы, склонились перед авторитетом силы? Как бы то ни было, но после Кандеевки и Бездны войскам уже не приходилось или почти не приходилось пускать в ход оружие. Довольно было угрозы — и все успокаивалось.

И уж конечно разрозненные крестьянские выступления не связались вместе, не вылились в общее движение, как ни были одинаковы повсюду мотивы этих выступлений. Сами связаться между собою крестьяне отдаленных местностей не могли, а связать их было некому. То есть, пожалуй, и было бы кому, и в какой-то мере уже и было кому, были в городах радикальные кружки, и делали радикалы попытки сойтись с бунтовавшими крестьянами, делали такие попытки московские, казанские и петербургские студенты, агитировали между крестьянами, но не было организации, которая связала бы вместе самих агитаторов, направляла бы, координировала их усилия в масштабе целой страны. Не удавались пока в России попытки создать такую организацию. А делались такие попытки и в обеих столицах, и на западных окраинах империи. Не удалась, провалилась даже попытка хоть как-то связать агитаторов посредством прокламаций, сделанная весной группой литераторов, близких к «Современнику». Ничего не вышло у них из затеи с тайной типографией — из московской затеи...

В начале апреля примчался из Москвы в Петербург Всеволод Костомаров, мрачный, встревоженный. Объявил, что типографию пришлось ликвидировать, так как обнаружилась слежка полиции за типографщиками-студентами и за ним самим, во всяком случае за его домом. Слежку обнаружил Сороко, за ним в последнее время ходили неотступно два агента, он, должно быть, притащил их с собою на хвосте из Петербурга, они следили за ним еще в Петербурге, и с одним из них он столкнулся недавно в Марьиной роще, возле дома Костомарова. А несколько дней назад, в самый тот день, когда по окончании всех приготовлений к печатанию, когда уже была куплена и опробована накатная катушка и почти полностью кончен набор прокламации к крестьянам и наконец-то начали тискать первую форму, ту самую, слепой оттиск с которой Николай Гаврилович видел у Костомарова в марте в Москве, в этот самый день Костомаров получил по городской почте записку, предупреждавшую о том, что за ним следят и что он должен быть осторожен. Подписана записка была с какой-то подозрительной напыщенностью, неуклюжей претензией на что-то или каким-то дурацким намеком, заставлявшим думать, уж не розыгрыш ли это («По обязанности ваш недоброжелатель»,— подписался анонимный предупредитель), тем не менее отмахнуться от этого предупреждения было нельзя, и типографщики решили свернуть дело. Станок разобрали и спрятали — до лучших времен; студенты его увезли в какое-то имение. Набор, увы, пришлось рассыпать. Оттиснуто было немного экземпляров с первой формы, Всеволод не решился взять оттиски с собою в Петербург, помня о слежке (и правильно сделал, что не взял, одобрили его Михайлов и Чернышевский), спрятал их в надежном месте в Москве, спрятал там же оригиналы крестьянского и солдатского воззваний и часть шрифта, все это можно будет использовать позже. Но вот беда. Пока разбирали станок и перевозили его, обнару-



жилась пропажа нескольких оттисков. Сама по себе потеря их не имела, разумеется, большого значения. Хуже, если, как подозревал Всеволод, эти оттиски стащил его братец Николка. Это был выродок в их семье, маленькая бестия, наглая и жестокая, от него можно было ожидать всякой пакости. Еще в феврале, пронюхав про связь Всеволода со студентами и тайное печатание, он шантажировал брата, угрожал донести, если тот не откупится полутораста рублями, паясничая, на виду у Всеволода принимался писать донос, наслаждаясь возмущением и отчаянием Всеволода; пришлось отдать негодяю деньги, он и в самом деле мог отослать донос, с него бы сталось. Если Николка выкрал оттиски, быть беде... Впрочем, типография в безопасности, большой беды не будет.

Но как быть с воззваниями, как их издать? Всеволод понимает, как они нужны теперь, и не может примириться с неудачею, и не желает мириться. Но что можно сделать? Можно ли теперь что сделать? Да, можно! Он все обдумал. Есть выход, и весьма простой. Если невозможно теперь издать воззвания в России, надобно издать их за границею, хотя бы у Герцена, едва ли Герцен откажется помочь в этом деле. Всеволод сам готов ехать в Лондон. Нужно будет — станет наборщиком у Герцена, своими руками наберет прокламации. Вот только не на что ехать. Если бы петербуржцы устроили ему поездку, он бы все исполнил с радостью.

Мысль о Лондоне понравилась Михайлову, похвально отозвался о ней и Чернышевский. Они беседовали втроем ночью в Знаменской гостинице, в нумере Костомарова, на столе стоял остывающий самовар, никто не захотел пить чай, Михайлов нервно ходил по диагонали просторной комнаты; Чернышевский стоял у стены, скрестив руки на груди, он почти не говорил, был замкнут, насторожен; Костомаров сидел на низком и широком подоконнике. Решили, что поедут вместе Михайлов и Костомаров,

позже к ним присоединятся за границей Шелгуновы, которые собирались ехать в мае, Михайлову же и Костомарову надобно ехать немедленно, нельзя терять времени. Пусть Всеволод Дмитриевич пока отправляется в Москву и готовится к поездке, ему дадут знать, когда выезжать...

Но и из этой затеи ничего не вышло. Михайлов уехал за границу один в двадцатых числах апреля, уже после того, как в Петербурге получились известия о бездненском и кандеевском расстрелах; Костомарову что-то помешало уехать, хотя с его поездкой дело устроилось скоро и хорошо, тут неожиданно помогла Ольга Сократовна, связавшая его с одним богатым русским туристом, который собирался в Англию и с радостью согласился взять с собою молодого поэта в качестве компаниона.

Михайлов почти три месяца пробыл вместе с Шелгуновыми за границей, вернулся в Петербург в середине июля, привез в чемодане с двойным дном 600 экземпляров прокламации «К молодому поколению», составленной им с Шелгуновым и напечатанной в Лондоне, в типографии Герцена; напечатали только эту прокламацию, оставив мысль о воззваниях к народу и к войску, потому что, как объяснил Михайлов, за границею им очень скоро стало ясно, по газетам и по свежим впечатлениям о русских событиях многочисленных туристов, выезжавших из России уже после них, что Бездна и Кандеевка — не начало, а конец крестьянского возмущения, высшая точка его, что больше ничего не будет в деревне, стало быть, и нечего пениться по поводу деревни, по крайней мере теперь.

Прокламация, которую привез Михайлов, была, однако, неудачно составлена, размерами с журнальную статью, была расплывчатой, путаной по содержанию, с расхожим «самобытническим» зарядом. Утверждалось, например, что Россия может обойтись без экономических законов, что

конституционализм в России ведет к консерватизму. Дурное впечатление на публику мог произвести и излишне запальчивый тон. В одном месте говорилось: «Если для осуществления наших стремлений — для раздела земли между народом пришлось бы вырезать сто тысяч помещиков, мы не испугались бы и этого...» Чернышевский посоветовал не пускать эту прокламацию в ход, уничтожить ее или по крайней мере спрятать подальше. Михайлов как будто согласился с его доводами и спрятал прокламацию...

Не все, однако же, было дурно и безнадежно в это тягостное время весны и лета 1861 года, не все-то были неудачи и разочарования. Были и удачи. Правда, объявились они уже после того, как стала спадать волна крестьянского возмущения.

2

В конце июня к Николаю Гавриловичу зашел Владимир Обручев и, поздоровавшись, положил перед ним на конторку пачку сложенных в несколько раз — как бы для вложения в почтовые конверты — отпечатанных типографски листков. По первому взгляду на листки, еще не разворачивая их, по тонкой бумаге и дурной печати Николай Гаврилович догадался, что это «Великорусс», газета, печатанием которой, точнее, налаживанием печатания великорусы занимались последнее время, оборудовав тайную типографию где-то под Петербургом или, может быть, даже в самом Петербурге. Николай Гаврилович взволновался.

— Так. Сделали дело. Все-таки сделали. Вот — дело. Ничего не скажешь. Я, признаться, не ожидал... Это что же, все — мне? — тронул он рукой пачку, потянул из пачки один листок.

— Да. Может быть, захотите послать кому. Это пер-

вый нумер. Приготовлены второй и третий, скоро можно будет печатать. Я принес вам показать статьи.— Обручев положил рядом с печатными листками сверток с рукописями.— Я вам оставлю их, потом просмотрите...

— Сколько же всего сделали оттисков? — развернув печатный листок, рассматривая его, спросил Николай Гаврилович.

— Типографщики передали мне пока две сотни оттисков, не знаю, сколько будет всего. Из этих двухсот почти все уже разослали. Рассылали на адреса известных в обществе господ и журналистам. Вчера рассылали в провинции, нынче по Петербургу.

— Как же рассылали — неужели по почте?

— А что? Покуда в Третьем отделении хватятся, почта свое дело сделает.

— Так. Значит, пошло дело...

Со все возрастающим волнением Николай Гаврилович смотрел на листок. Пробежал глазами текст. Текст был ему знаком. Обращаясь к образованным классам, всем оппозиционным силам России, «Великорусс» призывал их взять в свои руки ведение дел в стране, обуздать правительство и руководить им. На обсуждение читателя ставились два вопроса: должна ли состоять сущность нового порядка вещей в устранении абсолютистского правления и замене его законностью, и способна ли царствующая династия отказаться от неограниченной власти добровольно?

Отложив листок в сторону, Николай Гаврилович развернул сверток со статьями для второго и третьего нумеров газеты и их тоже бегло просмотрел. В статье для второго нумера содержался ответ на первый из вопросов, поставленных в первом нумере газеты, о сущности нового порядка вещей, в статье для третьего нумера — ответ на вопрос о династии. Главными требованиями программы «Великорусса» были пересмотр реформы 19 февраля

и установление в России конституционного строя. В свертке был и набросок будущего адреса на имя Александра Второго с требованием созыва народных представителей для осуществления этой программы. Великорусы приняли мысль Чернышевского о специальных конспиративных комитетах, которые должны бы были организовать адресную кампанию, и в третьем нумере обращались ко всем патриотам, своим единомышленникам, с рекомендацией составлять такие комитеты...

— Дело,— повторил Чернышевский. С улыбкой взглянул на Обручева.

Обручев, однако, не ответил на улыбку, выражение его нежного, совсем девичьего лица, всегда как бы немного обиженного, было меланхолическое, с таким выражением он вошел в кабинет, и оно не изменилось, покуда Николай Гаврилович просматривал статьи.

— Опять хандрите? — с полушутливым осуждением спросил Николай Гаврилович. Спросил, потому что *это* с молодым человеком случалось. И в характере его, не только в лице, было что-то девичье, мягкое, мечтательное, эти бы качества его сестрице Марии Александровне. Но, когда нужно было, умел он быть не хуже сестрицы и упорным, и сосредоточенным, и поражал феноменальной трудоспособностью: написать ли статью, сделать ли срочный перевод надобно было — мог сидеть за столом двое и трое суток подряд, ни на минуту не отвлекаясь от работы, и укладывался в нужный срок. Однако временами находили на него приступы смутной задумчивости, тогда спрашивать с него работу было бесполезно.

Обручев, слегка пожав плечами, повернулся и пошел к креслам, сел прямо и неудобно, опустив на грудь голову, будто кивнул, и уставил на Чернышевского исподлобья светлый, очень спокойный, слишком спокойный глаз.

— Что-то вы как будто не очень радуетесь этому успеху? — продолжал Чернышевский.

— Почему не радуюсь? Радуюсь. Только особенно-то радоваться чему ж? — ответил Обручев ровно, со своим чрезмерным, ненатуральным спокойствием.— Стольких сил стоит это. А будет ли прок? Прочтут, положим, тысяча, две тысячи человек. Что это изменит?

— А вы какого проку хотите? Чтобы назавтра уже установилась конституция по букве вашего адреса, а послезавтра и республика? А не угодно ли завтра же быть изгнанным со сцены и на всю последующую жизнь остаться человеком, успевшим в жизни сделать только одно это дело? Да еще благодарить судьбу за то, что хоть это удалось сделать?.. Такого в России еще не было,— положил Чернышевский руку на пачку «Великорусса».

— Да я не жалуюсь. Я только хочу сказать, что все мы, живущие здесь и пытающиеся что-то делать, странный народ. Живем как во сне. Понимаем, что сделать ничего нельзя. Не сдвинуть с места эту тысячелетнюю колоду, обросшую мхом. Никакими призывами или конспирациями. Даже бунты народа теперь ничего не значат. При современных средствах связи и сообщений, когда за день, за два можно переместить целые корпуса на громадные расстояния, никакие народные выступления уже не могут представить серьезной опасности для власти. Понимаем это и все же пытаемся что-то делать. Делом спасаемся. Абсурд. Пропасть, разделяющую нас и большинство нации, тысячу лет надобно заполнять неизвестно чем.

Чернышевский слушал, кивал. Соглашался — и не соглашался. Так, конечно: живем, как во сне. И делом спасаемся. И тысячу лет надобно заполнять пропасть. Абсурд. Так. Да что же делать? Спасаемся делом — так будем делать дело.

— Бросьте хандрить,— бодро заговорил Чернышев-

ский.— Мало вам этого дела — пайдите себе другое. Займитесь-ка снова переводами. Что это вы Шлоссера запустили? Не годится. Серно-Соловьевич уже спрашивал об вашем томе, надобно его сдавать в типографию. Когда кончите этот том? Уж, пожалуйста, кончайте скорее да принимайтесь за следующий том. Вот вам... и другое дело, да не безнадежное, а верное. Заполняйте томами Шлоссера вашу пропасть, покуда цензура дозволяет этого достойного писателя. Будете переводить?

— Буду, конечно.

— Вот и прекрасно.

Николай Гаврилович был весел. С любовью поглядывал на Обручева, с наслаждением перебирал покоробленные печатью ломкие листы «Великорусса». Безнадежное дело? Ну нет! Не может быть безнадежным дело, которое так или иначе меняет исторические обстоятельства. А это дело уже что-то глубоко и необратимо изменило в жизни пации — самим фактом появления на свет этих неказистых листков уже произведено это изменение. Он это чувствовал, ясно чувствовал...

В самом деле, листок «Великорусса» своим появлением произвел впечатление на общество, о нем сразу и всюду заговорили. Такого в России еще не было: свободное, бесцензурное издание, дерзающее выходить периодически, и не за морями, а в самом центре империи, обратилось к обществу в полный голос и повело свою речь уверенно и спокойно, взвешивая каждое слово, трезво оценивая обстоятельства.

Несколько дней спустя с запискою от брата Владимира Обручева Николая к Чернышевскому пришел молодой чиновник Александр Александрович Слепцов, приехавший из-за границы, где он встречался с Герценом и Огаревым и некоторыми русскими путешественниками, общими их с Чернышевским знакомыми, и речь между этими людьми и Слепцовым шла об организации тайного

общества в России, обсуждались практические вопросы устройства такого общества. С тем же разговором явился Слепцов и к Чернышевскому. Николай Гаврилович много уже слышал о Слепцове — и от Обручева, и от братьев Серно-Соловьевичей, с которыми Слепцов был особенно близок, зная их по Александровскому лицею, слышал о нем и от бывшего своего ученика по саратовской гимназии московского студента Юрия Мосолова, одного из фундаторов тайной студенческой организации, объединившей московских и казанских студентов, так называемой «Библиотеки казанских студентов»; с Мосоловым и его кружком был хорошо знаком Слепцов. Николаю Гавриловичу было известно, с каким разговором должен был прийти к нему Слепцов, об этом его предупредил Николай Серно-Соловьевич. От него же Чернышевский узнал и то, что Слепцов решился выйти в отставку, чтобы полностью посвятить себя делу организации тайного общества. Подготовленный этими сведениями о молодом человеке, Чернышевский встретил его ласково и был с ним откровенен, они сразу же, без околичностей заговорили о деле.

— Что же, думаете теперь организовать тайное общество? — спросил Николай Гаврилович, когда в разговоре дошли до цели визита молодого человека.

— Теперь? Я этого, собственно, не предполагал, а полагал только, что надо сперва присмотреться к силам, а уже потом сорганизовать их,— ответил Слепцов, подумав. Он держался без напряжения, однако и без ненужной импульсивности, какую можно было бы ожидать от молодого энтузиаста: прежде чем ответить, несколько мгновений обдумывал ответ, это нравилось Николаю Гавриловичу.

— Что же, это — дело.

— Вот здесь теперь явились воззвания...— осторожно заговорил Слепцов.— Я имею в виду «Великорусс»...

— А он вас не удовлетворяет? — быстро спросил Чернышевский.

— Не знаю, как ответить... Удовлетворяет, как начало... Только, не зная среду, к которой обращаешься, говорить трудно...

— Вы полагаете, «Великорусс» не знает среду, к которой обращается?

— Об этом не берусь судить. Я хотел только сказать, что одно дело — обращаться к либералам, и другое — к радикалам. Внутри радикалов — свои несогласия, свои межи и заборы...

— Да, это так.

— Вот и надо сперва приглядеться и выяснить, какая почва для слияния разных кружков. Об этом, Николай Гаврилович, я, собственно, и хотел поговорить с вами, послушать, что вы скажете...

— А сами вы что об этом думаете? Кстати, с чего же вы думаете начинать переговоры в кружках?

— Да с чего начинать? Вероятно, с обсуждения программных вопросов, с выработки общего устава...

— Вы пробовали составить такого рода документ?

— Нет... Об этом-то как раз я и хотел с вами поговорить, просить вас...

— А вы бы попробовали? Интересно бы посмотреть, как у вас вышло бы.

— Вместо меня вы попытайтесь, Николай Гаврилович, а я как-нибудь на днях зайду к вам поговорить обстоятельнее.

Чернышевский засмеялся, его позабавило упорное стремление гостя заставить говорить именно его, Чернышевского, и приготовился ответить на это иронической тирадой, но удержался, побоялся обидеть молодого человека. Ответил коротко:

— Заходите, поговорим...

Слепцов понравился Николаю Гавриловичу, понра-

вился и деловитостью, и осмотрительностью. До своего отъезда в Саратов Николай Гаврилович еще несколько раз виделся с ним, и они говорили обстоятельнее и о программе, и об уставе, и о принципе строения общества (склоняясь к системе пятерок, из членов которых каждый должен был организовать около себя свою пятерку, и так далее), говорили и о том, что́ успел сделать практически или намечал сделать молодой организатор. Он вел дело с энергией и упорством, обещавшими успех.

3

В июне же Николай Гаврилович, всю весну деятельно переводивший Милля и немного не кончивший перевода (оставалось перевести всего страниц пятьдесят), отложил перевод до осени, до Саратова или до возвращения из Саратова, и начал писать свои «Очерки из политической экономии» с расчетом первый из очерков поместить уже в июньской книжке «Современника».

Итак, подошла к концу громадная работа — за полтора года переведено почти 1200 страниц убористого английского текста. Недурная производительность, если учесть, что параллельно с переводом составлялся комментарий к нему, весьма объемистый, по печатному листу в каждую книжку журнала, и сверх того в каждую книжку журнала приходилось писать по две-три другие статьи — для отделов политического, критического, библиографического и даже для добролюбовского «Свистка», это помимо текущей редакционной работы в журнале и выполнения общественных обязанностей члена комитета Литературного фонда, например. Из пяти книг труда Милля за весь миновавший шестидесятый год оказалось возможным напечатать в «Современнике» из-за большого объема труда только первую книгу, и если бы издание продолжалось в прежней форме, оно растянулось бы еще

на четыре года. Пришлось изменить форму. Пришлось пойти на то, чтобы печатать в «Современнике» взамен полного перевода очерки с некоторыми выдержками из остальных четырех книг и выпустить полный перевод трактата отдельным изданием. Но для этого надобно было сперва перевести весь труд Милля полностью. Этим и пришлось заняться с самого начала года, и поспешить с этим, чтобы, начав печатать очерки возможно скорее, постараться напечатать их в пяти-шести книжках «Современника», может быть, еще до конца года. Разные обстоятельства отвлекали от этой работы и зимою и весною. И вот теперь работа кончилась. Можно считать, что кончилась...

Принялся писать очерки и одновременно взялся читать русские журналы, уж очень нападавшие на «Современник» в последние месяцы; надо было, наконец, ответить на нападки, и решил ответить — всем журналам сразу — большой статьей или даже, может быть, серией статей, уже и название пришло — «Полемические красоты». Первым между нападавшими был все тот же Катков, почему-то еще более остервенившийся после их с Чернышевским весенних переговоров по цензурному делу, избравший, и как будто не случайно, скользкий, на грани банального политического доноса, булгаринский тон своих обличений «Современника» в последних книжках «Русского вестника», старательно, под видом беспристрастной, добросовестной научной критики, объяснявший читателю суть эзопова языка «Современника», прямо указывавший, какую именно социалистическую, или атеистическую, или пропагандно-революционную мысль заключает в себе тот или иной изощренно составленный абзац, пропущенный близорукой цензурой. А была, была тогда, весной, слабая надежда, что все же изменит подстрекательский тон Катков, поймет, что опасно играет, что ничего в литературе не возьмешь глумливостью, циничеcкой

неразборчивостью в средствах, с какою он вел свою полемику. С «Русского вестника» и начал чтение Николай Гаврилович, пересматривая книжки журналов за последнее полугодие, выписывая образцы полемических «красот», систематизируя их.

От Каткова, кстати, так и не получилась записка о цензуре, замерло дело у Каткова. Впрочем, не Катков тут, собственно, был виновник. В апреле — мае произошли важные перемещения в разных министерствах: людей либеральных, «людей реформ» замещали люди консервативного толка, представители крепостнической партии,— правительство, как и следовало ожидать, правело, напуганное собственным прогрессизмом, своей реформаторской ретивостью, мучимое естественным вопросом, не слишком ли оно далеко зашло в этом своем реформаторстве. Произошли перемены и в министерстве просвещения, которому была подведомственна цензура, вместо Ковалевского, благоволившего к литературе,— а его-то прежде всего и имели в виду литераторы, когда замышляли свой адрес против цензуры, на его содействие рассчитывали,— вместо Ковалевского министром был назначен адмирал Путятин, хороший моряк, но для сферы просвещения человек никак не подходящий. С его первых шагов в этой сфере стало ясно, для чего он назначен: подчинить школу духовенству, теснить университеты. Но было никакого смысла давать ход записке о цензуре...

К лету Чернышевские сменили квартиру, разъехались с Пыпиными: так и не наладились с ними отношения у Ольги Сократовны. И тут ничего нельзя было поделать. Жаль было Николаю Гавриловичу расставаться с братьями и сестрами, особенно со старшим из братьев, Сашей, историком литературы, молодым профессором университета и многолетним помощником Николая Гавриловича по «Современнику», с ним Николай Гаврилович не разлучался почти десять лет, но другого выхода не было.

Новая квартира располагалась в двух кварталах от Невского, в трех или четырех кварталах от Николаевского вокзала, на Большой Московской улице, в громадном доме по соседству с Владимирской церковью. Занимали Чернышевские шесть комнат в бельэтаже — три комнаты окнами на улицу и три во двор — и полуподвал, соединенный с квартирой, там были людская, кухня с русской печью, чуланы, а во дворе, кроме того, были ледник и сарай с конюшней для экипажей и пары рысаков, которых Ольга Сократовна завела еще в январе. Кабинет Николаю Гавриловичу отвела Ольга Сократовна в самой маленькой комнате с окном во двор. В сравнении с кабинетом василеостровской квартиры этот кабинет был менее удобен, и не столько тем, что был тесен, сколько тем, что соседствовал с шумными парадными комнатами, но по раскладке Ольги Сократовны выходило, что тут всего лучше быть кабинету, и Николай Гаврилович, разумеется, принял эту раскладку: лучше — так лучше. Да и умел он работать при шуме.

Жил Николай Гаврилович в новой квартире один все лето, Ольга Сократовна с детьми переехала в мае на дачу в Павловск, наняли дачу до самого октября, ездил к ним Николай Гаврилович раз в неделю, иногда раз в две недели.

Было и в эти летние месяцы много работы, много приходилось диктовать Студенскому, которого даже пришлось поселить у себя в квартире, чтобы всегда был под рукою, а все же, разделавшись с Миллем, вдруг почувствовал, что не так уж и катастрофически не хватает ни на что времени, как было в эти полтора года, когда действительно не хватало времени ни на что другое, кроме Милля и диктовки статей. Стало оставаться время и на посетителей, принимать которых не всегда мог себе позволить прежде, теперь установил для случайных посетителей приемные часы, ежедневно от один-

надцати до трех, оставалось время и на визиты к старым и новым знакомым, которых прибавилось за весну и лето. Бывал у Обручевых и у Слепцова, у Серно-Соловьевичей и у поляков из кружка Жераковского и Огрызко. Несколько раз виделся с Анной Аркадьевной и ее тетушкой. Вот только побывать в их мастерской никак не удавалось.

В один из этих летних дней к Чернышевскому явился в приемные часы незнакомый молодой офицер в пехотном парадном мундире с высоким твердым воротником, заставлявшим молодого человека держать голову как бы запрокинутой назад, представился, извинился, и, когда Чернышевский, закрыв дверь в коридор, сел против него в кресло, начал прямо, без обиняков:

— Я пришел к вам за советом, которого, вероятно, у вас просят многие, читающие ваши статьи в «Современнике» и отчаявшиеся ждать чего-либо путного от реформ нынешнего времени... нынешнего царствования,— поспешил прибавить офицер, чтобы у Чернышевского не оставалось сомнений насчет его убеждений.— Скажите, что делать? Мы, офицеры двух полков, квартирующих вместе, пришли к мнению, что надо же что-то делать. Народу угрожают нищета, гибель, физическое вырождение, а мы, считающие себя борцами за народ, ничего не делаем. Скажите, что мы теперь должны...

Чернышевский перебил его:

— Я не считаю себя борцом за народ. Вы, сударь, кажется, не по адресу явились...

— Как! — опешил офицер, его лицо побелело, но тут же стало наливаться густой краской.

— И я никому ничего не должен... Борцов за русский народ нет и не может быть. Русский народ не способен поддерживать вступающихся за него. Какому же человеку в здравом смысле охота пропадать зря? Я не имею такого желания.

— Вы шутите! — не мог прийти в себя от изумления офицер.

— Нет, не шучу.

— Но ваши статьи... Вы же пишете... всегда выступаете как бы от лица народа, от его интересов... защищаете его интересы. Зовете к борьбе за эти интересы...

— Кого зову? К какой борьбе?

— Зовете... да кого зовете? Всех... К последовательной борьбе... История — это борьба... а в борьбе нежность неуместна. Исторический путь — не тротуар Невского проспекта... Разве это не вы писали?

Офицер как будто справился со своим потрясением, у него теперь был не столько потерянный, сколько огорченный и озабоченный вид. Его большие светлые меланхолические глаза, вдруг напомнившие Чернышевскому глаза Обручева, смотрели на Чернышевского скорбно и с недоверием. Такие глаза не могли лгать. Чернышевский изменил тон.

— О какой борьбе вы говорите? Чьей и с кем? Образованного общества с угнетателями народа? Самого народа со своими угнетателями? — быстро, горячо заговорил он.— Об образованном обществе говорить нечего. А о народе...— он усмехнулся.— Я не меньше вашего желал бы, чтобы народ уже теперь был способен сам себя защитить. Или хотя бы был способен понимать тех, кто готов для него на жертвы. Но, согласитесь, работать для людей, которые не понимают тех, кто работает для них, очень неудобно для работающих и невыгодно для успеха работы. Это мучительно, это печалит и приводит в отчаяние, но что же делать? Народ пока еще не проснулся, он апатичен.

— Да, я понимаю. Народ пока не представляет опасности для правительства. Войско легко справится с любым мужицким выступлением. Весенние события это хорошо показали. Вот поэтому мы решили: против прави-

тельства должно выступить само войско. Мы готовы на это. Но вопрос в том...

Чернышевский не мог удержаться от улыбки, уж очень прям и бесцеремонен в своей доверительности был этот молодой энтузиаст. Невольно посмотрел на его эполеты, молодой человек имел уже чин поручика. Судьба, значит, пока благоволила к нему, если эта его открытость не мешала служебной карьере. Чернышевский снова перебил его:

— Скажите, много ли вы знаете людей, которые думают подобным образом... разделяют ваши убеждения? Много?

Тот ответил не сразу:

— Нет, не много... Понимаю. Вы хотите сказать, что еще не время для подобных действий? Надо выждать, когда нас станет больше?

— Всегда полезно выждать. Раньше времени ничего не следует делать,— сказал добродушным тоном Чернышевский. С этим юношей, пожалуй, лучше было говорить без иронии, как ни напрашивался он на нее своей бесхитростной, наивной прямотой.— Вот французские республиканцы в тридцатых годах подымали несколько восстаний, неудачно. Рассудили: подождем, пока будет сила. Ну и держались несколько лет смирно и набирали силы. Но опять недостало рассудка и терпения. Подняли восстание в самом конце десятилетия ну и поплатились так, что долго не могли оправиться. А чего было и соваться? Если бы было довольно силы, чтобы выиграть, то и сражаться-то было бы нечего: преспокойно получали бы уступки одну за другою, дошли бы и до власти с согласия самих противников... Ох, нетерпение. Сами судите, что выходит, когда берешься за дело, которого не можешь сделать. Натурально, что испортишь дело, выходит мерзость. У французов так было и в сорок восьмом году. Сочинили демократы февральскую революцию, когда

общество еще не было приготовлено поддерживать их идеи. Разумеется, вышла мерзость...

— Значит, теперь всего важнее готовить общество? — спросил офицер.

Чернышевский выразительно промолчал.

— Хорошо, я подумаю об этом,— сказал офицер.— А что бы вы посоветовали мне лично? Не считаете ли вы, что мне следовало бы выйти в отставку?

— Ну уж это вы решайте сами! — засмеялся Чернышевский, вставая.— Впрочем, может быть, я и в самом деле смогу быть вам полезен. Зайдите ко мне через неделю в это же время, потолкуем об этом.

— Чрезвычайно вам признателен,— вскочив, щелкнул каблуками офицер.

Чернышевский проводил его до передней, дорогою с улыбкой заглядывал в его чрезвычайно серьезное лицо, уже не пытаясь скрыть от него улыбки, поняв, что тот ее просто не замечает, сосредоточенный на своих чрезвычайно серьезных мыслях. Решив назначить ему встречу через неделю, Чернышевский подумал о Савицком и Жераковском: не возьмут ли на свое попечение этого юношу, может быть, из него и выйдет толк.

В тот же день, когда Чернышевского навестил молодой офицер-энтузиаст, навестил его и еще один энтузиаст, его бывший саратовский ученик, московский студент Мосолов. Этот был свой человек и, как свой человек, без церемоний напустился с упреками. Явился он уже после выхода книжки «Современника» с первым из очерков Чернышевского по Миллю, к Миллю и относились его упреки. Но начал он свои упреки с тех же, что и офицер, жалоб на странное время и с того же сакраментального вопроса: что делать? Что делать теперь порядочному человеку, когда все так безотрадно, безнадежно? И вот в такое-то время он, Николай Гаврилович, вместо того, чтобы искать ответ на этот вопрос, поддерживать

революционный дух читателей «Современника», печатает Милля. Зачем? Почему? Давайте больше «Политики», Николай Гаврилович, не нужно Милля... Милль не менее важен, чем «Политика», отвечал Чернышевский.

— Да это почти академическая наука! — возмущенно бегал по кабинету взъерошенный, похожий на ежа Мосолов, ножки его, обутые в русские сапоги, постукивали по полу дробно и хлопотливо, тук-тук-тук, тоже наводя на мысль о еже.— Прекрасная, конечно, вещь — наука, но не в такое же время этим заниматься. Это все равно, что сидеть дома, когда на улице строят баррикады.

— Именно так поступал Фейербах. На свете, говорил он, делаются чудеса, я не верю в чудеса, потому сижу дома, не могу позволить себе тратить время на пустяки. Между тем никто столько не сделал для мирового прогресса...

— Я спрашиваю серьезно, Николай Гаврилович. Не только я, многие наши в недоумении.

— Ну, а если серьезно,— ответил Чернышевский,— то Милль стоит хорошей политической программы. Впрочем, дело не в самом Милле. Нам с вами, Мосолов, надо думать не только о том, что делать сегодня, но и о том, что мы будем делать после того, как поломаем старый порядок. На каких экономических основаниях будем строить новый мир? Это мы должны хорошо себе представлять.

Посмотрев на Мосолова, уже сидевшего за квадратным столом, машинально вертевшего в пальцах какой-то карандашик, он будто собирался записывать за Николаем Гавриловичем, Николай Гаврилович поймал себя на том, что говорит с ним тоном учителя. Все повторяется? Вот так же когда-то, в Саратове, обращаясь к классу, оглядывая учеников, он задерживался взглядом на кудлатой голове Мосолова, и так же тогда тот слушал его — внимательно, почтительно. Только предмет лекции изме-

нился. Впрочем, очень ли изменился? И тогда, в Саратове, ему случалось объяснять ученикам значение политической экономии, говорить о пользе изучения ее... Что делать, если есть на свете вещи, которые надобно объяснять, и объяснять, и объяснять... Он продолжал тем же тоном учителя:

— Знание политической экономии ныне — это и практическая необходимость, Мосолов. Без этого знания не стоит и браться за дело будущего: ничего хорошего не построим, все жертвы будут напрасны. Пришло время смитовой политической экономии противопоставить политическую экономию будущего общества трудящихся. Милль — с определенными поправками, конечно,— дает такую возможность... то есть не Милль дает, а поправки к нему дадут, надеюсь. Милль — прекрасный повод к ним... Но этого мало. То есть теперь мало просто знать политическую экономию. Надобно уже и стараться вытягивать из будущего в настоящее все, что только можно вытянуть, что могут позволить вытянуть обстоятельства. Вот теперь некоторые господа пытаются устроить промышленные ассоциации по социалистическому принципу, устраивают коммуны. Работники приучаются к труду и жизни по-новому. Да не где-нибудь это делается, не на Маркизовых островах — здесь, в Петербурге. Это ли не дело?

— Дело,— согласился Мосолов.

— Может быть, это теперь самое важное дело. А вы говорите — зачем Милль?

4

Только в августе, накануне отъезда Анны Аркадьевны и ее тетушки в Саратов, Николай Гаврилович побывал наконец в их мастерской.

Заведение их было солидное, в том виде, в каком оно

перешло в их руки, существовало уже не первый год. Располагалась мастерская на Бассейной, собственно мастерская занимала первый этаж пятиэтажного доходного дома, во дворе были хозяйственные постройки, конюшня, в соседнем же доме — квартиры работниц. В мастерской было два довольно больших зала для приема заказов, залы были очень прилично обставлены. В глубине мастерской были рабочие комнаты закройщиц, гладильная и еще два зала с машинами, где работали швеи, и большая комната столовой («Столовая и зал вечерних собраний»,— сказала Надежда Яковлевна). Но кухня была не здесь, а в доме, где жили швеи, кухарки оттуда носили стряпню.

Провела Надежда Яковлевна гостя и по квартирам работниц, по «коммуне», как объявила она с особенною гордостью. Коммуна — а жили швеи действительно коммуною — и была предметом ее особенной гордости.

Уже дважды делили хозяйки мастерской свою прибыль с работницами: половина — на погашение ссуды, половина — работницам,— отдавали каждой ее долю с условием, что половину этой доли каждая может потратить, как ей нравится, но половину должна оставить в кассе, из этих денег, объясняли они, постепенно образуется запасный капитал, их, работниц, общий капитал, весьма важная во многих отношениях прибавка к основному капиталу мастерской, который тоже со временем, по выплате ссуды хозяйкам, станет их общей собственностью. Все это было, конечно, пока темно для них, они слушали эти объяснения вежливо, но поверить, будто они и в самом деле когда-то станут полными хозяевами дела, конечно, не могли. Они смотрели на ту часть своей доли, которую хозяйки, не выдавая им на руки, оставляли в кассе, вполне равнодушно, как на деньги, не им принадлежащие, а вот за другую часть благодарили сердечно щедрых хозяек, очень хорошо понимая, что им выпала

редкая удача, что их новые хозяева оказались не обиралами, а, напротив, людьми снисходительными, добрыми («совестливые, должно быть, из секты какой»,— вполне основательно объяснили себе работницы их необычную щедрость, заметила Николаю Гавриловичу, смеясь, Надежда Яковлевна). Со временем, конечно, все им станет понятно, все они поймут, и оценят, и будут сами, коллективно, распоряжаться делами в мастерской, и сами вести счета, а пока пусть думают хоть так, как думают, говорила тетушка, пока довольно и того, что они понимают: хозяйки их не обманывают, не обсчитывают, искренне желают им добра, хозяйкам они могут верить. «Не объясниться с ними с самого начала, не открыть нашу цель, существо дела, которое заводим, мы, конечно, не могли,— рассуждала Надежда Яковлевна.— Но и особенно много говорить об этом, убеждать их теперь с пеною у рта, что мы не сказки рассказываем, а так и будет, как говорим, тоже ведь лишнее. Рисовать заманчивые перспективы — дело приятное, а чем расплачиваться через минуту, когда пройдет первый восторг? Нет, лучше без лишней агитации. Лучше агитировать делом, когда дойдет до дела. Всему свой черед. Нас с Анею до сих пор не сочли помешанными, и больше пока ничего не нужно. Понемногу будем двигаться дальше».

То есть главная цель — передача мастерской в собственность и в управление самих работниц — это еще было делом будущего.

Но вот что́ уже теперь удалось, так это коммуна. Удивительно, как легко удалось склонить работниц на это дело. Правда, что начали дело не сразу, почти полгода спустя после приобретения мастерской, но зато, заручившись к тому времени доверием работниц, сумели убедить объединиться многих. Не всех, конечно. Однако больше половины швей согласились попробовать. Согласились те, кто мыкался со своими семьями по убогим и дорогим

петербургским углам. Доводам хозяек, что жить вместе удобнее и дешевле, поверили, их расчеты приняли и с начала года начали съезжаться на одну квартиру. Квартира эта составилась из двух больших квартир, выходивших на одну площадку и занимавших целый этаж, между ними пробили дверь, и получилась одна квартира с двумя десятками комнат, двумя кухнями, двумя парами выходов — на парадную и черные лестницы. Перебрались сюда швеи вместе со своими семействами, и всего здесь оказалось человек шестьдесят с детьми. Жить им здесь было и в самом деле удобнее и дешевле, почти втрое дешевле против прежнего. Расчет простой: между ними и владельцем дома не было больше посредника, нанимателя квартиры, они сами были хозяевами квартиры. Точно так вскоре согласились и с тем, что выгоднее вести общее хозяйство, завели сначала комиссионерство для закупок продуктов оптом, а с весны завели и общий стол, стали содержать двух кухарок. Конечно, сами работницы, без помощи хозяек, не смогли бы устроить ни коммуны, ни общего стола, все это устроили хозяйки, этим занималась Анна Аркадьевна, она вела переговоры с владельцем дома, с лавочниками и купцами, у которых закупалась провизия для коммуны, держала кассу коммуны, за эти услуги работницы положили ей небольшое жалованье.

Когда возвращались из мастерской, Николай Гаврилович спросил у Надежды Яковлевны:

— Как же вы все-таки объяснили работницам, зачем вы заводите такое дело, без всякой для себя выгоды?

Тетушка засмеялась:

— Объяснили так: у разных людей есть разные пристрастия — у иных к балам, у других к парядам или картам, и все такие люди готовы даже разориться для своего пристрастия, и многие разоряются, и никто этому не дивится. А у нас пристрастие вот к такому делу, каким мы и пробуем заняться, и мы на своем пристрастии не

то что не разоряемся, а даже и вовсе не тратим денег, только что рады им заниматься и без дохода от него себе. Кто же от своего пристрастия ищет дохода? Всякий еще деньги на него тратит. А почему у нас это пристрастие? Вот почему. Добрые и умные люди написали много книг о том, как надобно жить на свете, чтобы всем было хорошо, вы знаете одну такую книгу, библию, а есть и иные, и вот в них говорится, что тут самое главное в том, чтобы мастерские такие завести, в которых прибыльные деньги шли бы в руки тем самым мастеровым, за работу которых получены. Вот нам и хочется посмотреть, сумеем ли завести такую мастерскую...

— Да, натурально — совестливые, из секты.

Посмеялись, и Николай Гаврилович еще спросил:

— Что же, и никаких недоразумений до сих пор не было? Ни в мастерской, ни в коммуне?

Тетушка омрачилась:

— Как не было? Было. Главное несчастие — ссоры. Почему-то ссорятся часто, из-за какого-нибудь пустяка, пропавшего наперстка, могут целый день браниться и добраниться до драки. Иной раз делается страшно, как подумаешь, что же будет, когда останутся одни? Иные уходят. Недавно ушла швея, была тихая, незаметная, ее мать в коммуне прислуживала на кухне, и вдруг без видимой причины разругалась со всеми и ушла. И с такою злобою против всех! А больше против нас с Анею. И самое удивительное, грозила донести в полицию, что тут делается. А что делается?

Было над чем подумать...

Проводив Надежду Яковлевну и Анну Аркадьевну в Саратов — а уезжали они не без волнений и тревоги за свою мастерскую, которую оставляли впервые на самоуправление работниц,— Николай Гаврилович и сам стал собираться в дорогу, надеясь скоро вновь увидеться с милыми дамами в Саратове.

Готовясь к отъезду, он вдруг обнаружил, что не сможет уехать, не дождавшись Добролюбова, не передав ему из рук в руки редакционных дел, в которых за лето образовалась порядочная запущенность. А была мысль, что, может быть, в начале августа, приготовив августовскую книжку, сможет уехать без особенного ущерба для «Современника», если и будет Добролюбов задерживаться на неделю-другую. Но вот оказалось, что нет. При редакции он остался один, Некрасов уехал в деревню в июне и собирался пробыть там до ноября, помогавший по редакции Антонович еще не вполне ознакомился с типографскою и прочими процедурами. Притом от Добролюбова приходили странные письма, по ним невозможно было рассудить, когда же он намерен был приехать да и как со здоровьем его, помогли ли ему заграничные воздух, тепло и воды? Можно было его ожидать к середине или концу августа, но можно было и вовсе не дождаться в Петербурге в этом году. В таком случае поездка в Саратов отложилась бы.

Приходилось по разным делам выбираться из дому каждый день.

Шел, если позволяла погода, до конторы или типографии не торопясь, смотрел на дома, на лица прохожих, мог теперь позволить себе это удовольствие, в котором отказывал себе много лет, собственно, все годы, прожитые в Петербурге с того дня, как примчался сюда из Саратова с молодою женою и дерзкими планами, начал строить свою судьбу,— это были годы бешеной гонки, и вот теперь вдруг гонка кончилась...

Дня через три после отъезда саратовских дам попадобилось Николаю Гавриловичу заехать на Васильевский остров к Обручеву, жившему в Четвертой линии, неподалеку от прежней квартиры Чернышевских. Возвра-

щаясь от Обручева, пошел домой пешком. Было еще около полудня, день был нежаркий, солнечный, но не ясный, как бы туманный, самый милый петербургский день, в рассеянном свете такого солнечно-мглистого дня всего лучше любоваться Петербургом, академической красотою его дворцов, гнутых набережных Мойки и каналов, парадною панорамою набережных Невы. Выйдя на угол Большого проспекта и Второй линии, к своему прежнему дому, Николай Гаврилович повернул к Неве, к Университетской набережной.

Прошел совсем немного и тут обратил внимание на извозчика, медленно ехавшего от набережной ему навстречу. За несколько саженей до него извозчик стал останавливать лошадь, потянул с головы шапку, будто для поклона. Николай Гаврилович тоже приостановился, всмотрелся и вдруг узнал в извозчике мужичка из-под Луги, который однажды ранней весной подвозил его сюда от Исаакиевской площади и которому он тогда объяснял суть крестьянской воли. Только тогда у мужичка была крестьянская тощая вислобрюхая лошаденка, а теперь в линейку был запряжен громадный толстозадый рыжий австрияк с обрезанным хвостом.

— Доброго здоровьица, барин,— поклонился извозчик.

— Здравствуй, здравствуй! Ну, вот и встретились! Михеев, кажется, тебя звать? — пошел к извозчику Николай Гаврилович.

— Михеев,— засмеялся извозчик, обрадованный и встречей, и тем, что барин узнал его и имя вспомнил.

— Вот, говорят, случайностей не бывает,— весело говорил Чернышевский, тоже обрадованный встречей, подходя, любуясь новой михеевой лошадью, с удовольствием похлопывая по ее красно-золотистому гладкому, бархатному боку.— А уж какой редкий случай — встретиться этак...

— Да какой случай! — смеясь, возразил извозчик.—

Я тута с утра ездию, ну как, думаю, выйдет барин, которого вез, в пост-от, тебя, значит? Седоков-то теперь нету, что тута, что где, ну и ездию по этой улоке да по той,— чиркнул он кнутовищем поперек Второй линии, показывая на Большой проспект.— А ты — вот он!

— Нет, брат, случай. Живу-то я теперь в другом месте. Здесь по случаю оказался.

— Ну, выходит, впрямь случай. Садись, доставлю, куда тебе надобно.

— Что ж, поедем,— согласился Николай Гаврилович и полез на линейку.— Сперва на Невский, оттуда на Владимирскую, а там скажу куда.

Извозчик развернул своего австрияка и без жалости вытянул его кнутом, погнал с места крупной рысью.

— А ты, значит, снова в Питере? Что, ай опять обоз барину доставили? — заговорил Николай Гаврилович, передвигаясь поближе к извозчику.

— Э, барин, какой обоз? — странно глянув на седока, почему-то с укоризной произнес извозчик и отвернулся, мотая головой.

— А что такое?

— Да что? Ничто,— досадливо ответил извозчик, он явно не желал разговаривать.

— Вот тебе раз! — удивился Николай Гаврилович.— А я-то собрался с тобой поговорить. Хотел спросить, как вы, лужские, устраиваетесь-то по-новому...

— Лужские! Не лужские мы ноне,— проворчал извозчик сумрачно, Николай Гаврилович с трудом разобрал, что он сказал.

— Не лужские? Какие же?

— Были лужские, потом городецкие Витебской губернии, а теперь никакие. Неизвестно какие.

— Переселили вас, что ли?

— Что — переселили? Переселили — ничто...

— Да что случилось-то?

— Лучше, барин, не спрашивай.

Извозчик сердито умолк.

— Так. Понятно. Значит, не стало вам лучше по-новому-то. А уж я было подумал: ну, лужские жить лучше стали. Вон коня какого ты себе завел... Да твой ли это конь? — догадался спросить Николай Гаврилович.

Некоторое время извозчик молча погонял лошадь. Но у самого выезда на набережную вдруг резко натянул вожжи, стал осаживать австрияка:

— Стой, дьявол! Тпру! — осадил и стал разворачиваться в обратную сторону. Заговорил, поворотившись боком к седоку.— Лучше стало, не лучше, увидишь. А мне, точно, лучше. Как есть теперь вольный. И не барский и не крестьянский. И без кола и без двора. Один хомут на шее...

— Да куда ты меня везешь?

— Увидишь, лучше стало, не лучше...

Мужичок был сильно раздражен и все повторял эту задевшую его фразу, не объясняя, куда везет седока и что же такое случилось с ним и с другими лужскими крестьянами. Но потом успокоился, объяснил. Крестьяне его деревни Заяшни, как понял Николай Гаврилович из его рассказа, стали жертвами того пункта новых крестьянских Положений, по которому помещик мог предоставить отпускаемым на волю крестьянам в дар одну четвертую часть полагающегося им надела земли. Крестьяне-дарственники освобождались от выкупных платежей, их отношения с помещиками тут же прекращались. Этим-то и соблазнились в Заяшне несколько крепких мужиков и Михеев в их числе, еще до сева перебрались на новое место — помещик предоставлял даровые наделы в другом своем имении, в Городецком уезде Витебской губернии,— перебрались, рассчитывая прикупить здесь землицы, с тем и согласились на переселение, посеялись на новом месте, но оказалось, что в Витебской губернии купить

землю ничуть не легче, чем в Петербургской, и посреди лета, бросив свои нищенские наделы, продав их вместо с будущим урожаем здешнему миру, снова снялись с места, подались на Север, за Онегу, где, по слухам, были свободные государственные земли и можно было взять в аренду сколько хочешь. Городецкое начальство не задержало их, выправило бумаги, какие требовались им как вольным переселенцам. Но в пути, уже под Петербургом, заболел крестьянин, который вел всю партию, он-то и подбил всех на переселение, сам он побывал в тех краях, куда вел односельчан, отбывал там ссылку, а сослан был как один из зачинщиков бунта, того, запрошлолетошнего, о котором Михеев весной рассказывал седоку. И вот почти уже месяц сидели переселенцы в Петербурге, не решаясь ехать дальше без своего вожатого, дожидаясь, когда он поднимется, а на это все меньше оставалось надежд. В табор переселенцев и вез седока Михеев.

А у Михеева была своя особая беда. В пути пала от какой-то болезни его лошадь, пришлось покупать новую. Дотащился до Питера, а тут и новая лошадь пала все от той же неизвестной проклятой болезни, должно быть, чем-то был заражен корм, который он вез с собой. Тут бы ему с женою и двумя малыми ребятами с сумой подаваться, да выручил земляк, тот, у которого Михеев прежде, бывая в Питере, одалживался то экипажем, то чем, отдал ему в аренду лошадь и линейку. Да вот только на время отдал, до осени. А куда деваться осенью? В среде же односельчан-переселенцев он, безлошадный, был теперь отрезанный ломоть.

Расположились переселенцы табором на голом пустыре, за огородами, у небольшого ручья, неподалеку от Малой Невы, огородились торчащими вверх оглоблями распряженных телег, опоясались дымками семейных костерков. Мужики, бабы, дети возились у своих подвод и костров, каждая семья держалась особняком, отдельно одна

от другой. На подъехавшего с Михеевым господина никто не обратил внимания, видно, тут привыкли к визитам начальствующих или просто любопытствующих господ. Как подъехали к табору, Михеев умолк: дескать, вот смотри, лучше стало, не лучше. А что смотреть? Бедность и есть бедность. Бросались в глаза худые, изможденные лица взрослых и детей, немыслимые лохмотья, в которые все они были обряжены.

Впрочем, чрезвычайная худоба их была, это понимал Николай Гаврилович, не столько следствием того, что им нечего было есть теперь, сколько следствием их жестокой экономии,— у каждого из них оставалось кое-что в запасе, но им приходилось сурово ограничивать себя во всем, впереди были и осень, и зима, и надо было посеяться весной на новом месте и дотянуть до первого урожая. Притом, если сами они были изможденны, лошади их, это тоже бросалось в глаза, были в недурном состоянии, на лошадей они, видно, не жалели корма.

Михеев вел Николая Гавриловича к вожаку. Николай Гаврилович спросил у Михеева, куда же именно, в какое место за Онегой едут они, и оказалось, что Михеев этого не знает, сказал, что об этом лучше спросить у вожака. Они подошли к телеге, поставленной передком на борт другой телеги, над задним ее колесом, обе телеги были завешены мешковиной, получился как бы шалаш.

— Власов! — громко позвал Михеев, подходя к шалашу.— К тебе пришли. Поговоришь, нет ли?

— Откинь полог,— приказали изнутри.

Михеев закинул наверх дерюжку, прикрывавшую вход. За дерюжкой под вздыбленной телегой сидел, повернув голову к свету, еще молодой мужик с ясным иконным ликом, руки его были неподвижно опущены вдоль туловища, ноги прикрыты черным овчинным полушубком. У него, как объяснил дорогою Михеев, после припадка

падучей отнялись руки и ноги и скрючило его всего так, что он не мог распрямиться, не мог лежать, мог только сидеть, при этом всякое движение доставляло ему мучительную боль. Но теперь-то на красивом его лице не было и тени страдания или печали, он смотрел на незнакомого господина с живым любопытством, бодро.

— Объясни господину, Иван, куда мы идем? Место как называется али там что, куда идем? — спросил Михеев тоном уважительным, степенно.

— Место как называется? — повторил Власов, вглядываясь в лицо господина.— Место называется — вольная земля. Идем мы, господин хороший, неизвестно куда, туда, где мужику вольно жить. А где она, та земля, где вольно жить мужику? Ты такое место знаешь?

— Нет,— ответил Николай Гаврилович.

— И я не знаю. И никто не знает. А вот, поди ты, объясни им, что нет такого места, они этого не понимают,— кивком головы показал Власов на Михеева и на подходивших к ним в эту минуту других мужиков.

Подходили мужики, должно быть, на голос Власова, заслышавши его. Говорил Власов добродушным тоном, откровенно подтрунивая над односельчанами, но, должно быть, было для них в его голосе, в его личности что-то завораживавшее их, они подходили и становились полукругом перед его шалашом и принимались слушать его с полной серьезностью, истово, вникая в смысл его слов, не обращая внимания на его подтрунивание.

— Ты, говорят мне, Власов, знаешь такие места,— продолжал он в том же тоне,— ты везде был, ты и веди нас. Тебе верим. Ну, пускай, говорю, будет по вашей вере, я такие места знаю, такие места есть, точно. Хоть Емецк, хоть Онега, хоть Холмогоры. Идите в любое место, идите без меня, куды я такой? В любое из этих мест идите — это все одно. Почему все одно? А потому, что воля-то не в Емецке али Холмогорах. Где воля? А вот ежели есть

где воля, так в одном месте только, и нигде боле: в нас самих. Вот в тебе, вот во мне. Воля — там, где мы сами есть. А в Емецке вы ее найдете али в Холмогорах — это все одно. Идите хоть в Емецк. Нет, не понимают... И слово-то само, название места, Емецк, никак не упомнят. Спроси их вот счас,— может, и скажут его. А завтра спроси — не скажут, нет. Не припомнят. А зачем помнить, когда Иван есть? Ты, Иван, знаешь, куда вести, ты и веди нас. Тебе верим... А не будет Ивана — тогда что? Куды пойдете? Али не пойдете вовсе? На это у них один ответ. Ниче, Иван. Оправисси — пойдем... Так ли объясняю, мужики?

— Так, Иван. Ниче! Оправисси — пойдем,— подтвердили мужики.

Из-за телег вышла красивая простоволосая баба, возившаяся там у костра, загородила собою Власова от мужиков и господина.

— Будет! Ступайте себе,— пошла решительно на мужиков. А господину объяснила.— Как вот он поговорит так-то, совсем плох бывает, ночь не спит, мается. Не осуди, господин...

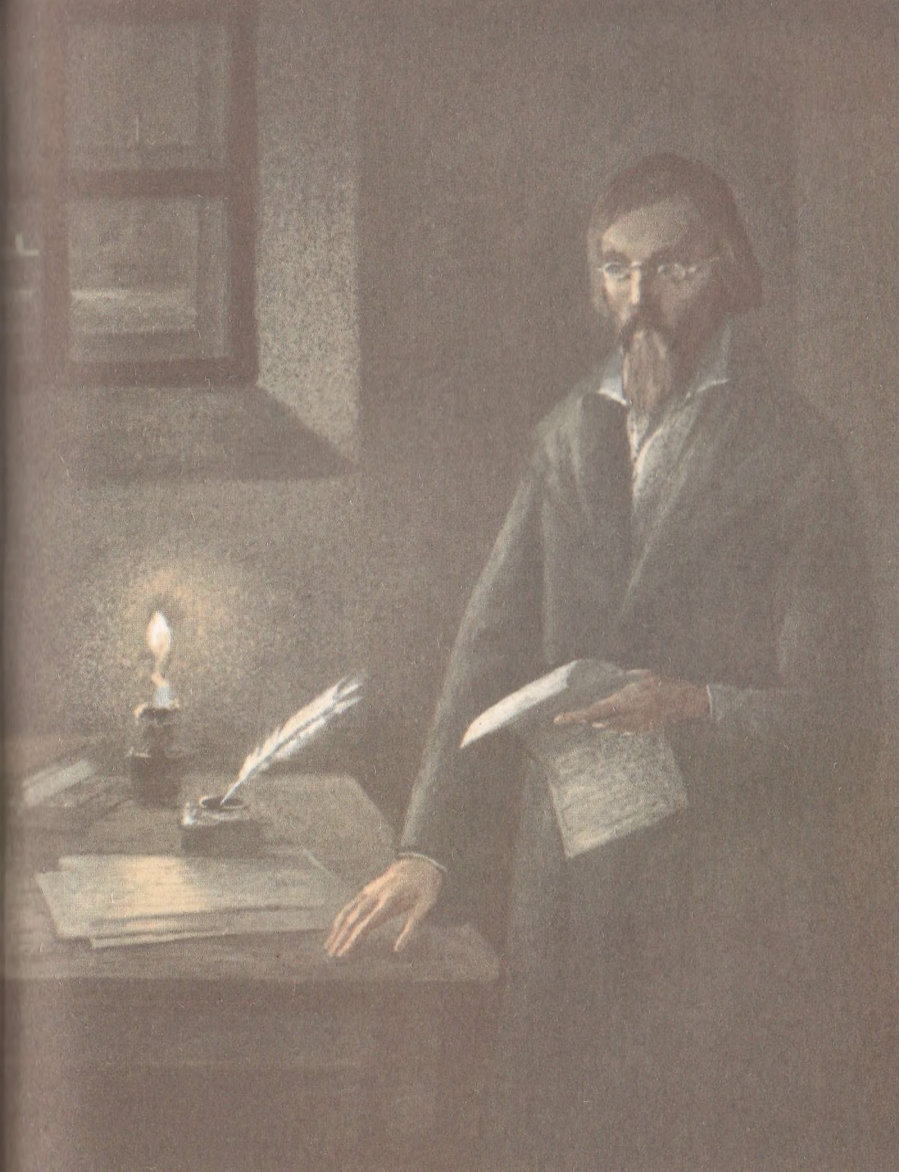
Когда поехали назад, Николай Гаврилович сказал Михееву, что сможет кое-что сделать для него и для его односельчан. Сможет, например, пригласить к их вожаку, Власову, хорошего доктора, который будет пользовать его бесплатно. Сможет выяснить через знакомых чиновников, действительно ли за Онегой есть удобные для хлебопашества свободные государственные земли, которые могли бы быть заняты переселенцами, в чем он сомневается, и если есть где-нибудь такие земли, то где. А что касается самого Михеева, то Михеева он, пожалуй, сможет взять к себе кучером, только для этого ему надобно переговорить с женою, у них сейчас есть кучер, но, кажется, он должен скоро отойти от них, это знает жена, с прислугою в доме она имеет дело...

Все так и сделалось, как предположил. К вожаку переселенцев попросил съездить Бокова, и тот съездил и поместил Власова в госпиталь, а самих переселенцев Николай Гаврилович поручил заботам Обручева и его друзей-студентов, Михеева же они с Ольгой Сократовной взяли к себе кучером.

Около середины августа приехал Добролюбов, так и не излечивший своей болезни, измученный долгой дорогой, но все же он мог работать и рвался к работе, и Николай Гаврилович, оставив на него «Современник», 17 августа выехал из Петербурга, рассчитывая провести в Саратово недели три.

6

К имению Надежды Яковлевны проехать можно было над Волгой, поверху высокого и крутого лесистого берега, свернув с почтового тракта за версту до въезда в усадьбу, и затем, спустившись перед самой усадьбой к Волге, обогнув усадебную ограду со стороны Волги, подъехать к тыльной стороне дома, к веранде, где обыкновенно проводили время хозяйки и их гости. Еще лучше было проделать этот путь пешком, и не по дороге, а по тропе, которая шла чуть ниже лесной дороги и с которой Волга открывалась во всю свою ширь и даль. Этот путь показала ему в его прежний приезд, три дня назад, Анна Аркадьевна, с нею он тогда вместе приехал из города, и они пробежали по тропе, увлеченные разговором, который вели от самого города, и он так толком ничего и не рассмотрел, хотя они и останавливались время от времени и она показывала ему открывавшиеся с тропы великолепные виды; но показывала она и смотрели они машинально, вовсе не думая о видах, продолжая думать о разговоре, который вели,— разговор их был тогда для них важнее видов. Но что-то он все-таки рассмотрел, что-то



все-таки запало в него тогда, отчего теперь вдруг неудержимо потянуло повторить этот путь, и когда, подъезжая к имению, подъехал к дороге, ведущей к береговым кручам, он велел извозчику свернуть на эту дорогу. Перед лесом он остановился, отпустил извозчика и пошел пешком по тропе.

Теперь он оценил те места, где останавливала его Анна Аркадьевна. Река была, как всегда в эту пору года, деятельна, на всем ее пространстве видны были суда и суденышки, парусные, весельные, и даже пароход, колесный буксир, шлепал по самой середине реки, тянул хлебный караван, его мельничное шлепанье слабо отдавалось здесь, наверху. Внизу, под обрывом, по песчаной кромке берега молча шли бурлаки, разморенные жарой, в драных рубахах, едва прикрывавших темные, с влажным гуттаперчевым глянцем, тугие плечи, тянули на лямках большую лодку, доверху нагруженную какими-то рогожными кулями, кормчий сидел на одном из кулей и вяло покрикивал: «Прибавь шагу, ребята». Два белых облака низко стояли над серединой реки, больше нигде — ни над рекой, ни над громадной плоскостью заволжья — не было видно ни облачка, дали смазывались в светлом стеклянистом мареве. Легкий ветерок приносил снизу, от берега, запахи рыбы и неостывшего бурлацкого кострища.

Почему его потянуло сюда, к реке, к лесу, к этим видам и запахам, на природу? Ни в юности, ни в молодые годы не замечал он в себе особенного пристрастия к природе, не тянули его ни поле, ни лес, книжка всегда была интереснее любого пейзажа, любого чуда природы. И это с ним не впервые за последние два-три года, со времени, пожалуй, его поездки два года назад в Лондон, к Герцену, когда, пересекая Европу в вагоне железной дороги, с удивлением обнаружил, что не наскучивает ему смотреть и смотреть в окно, что тянет его к себе не книга, лежащая на коленях, тянут эти меняющиеся, как будто

однообразные и вместе с тем непохожие одна на другую картины — равнины и косогоры, и перелески, и сельские улицы, игрушечные площади каменных городков, сквозь которые медленно протаскивался поезд. Думал: это Европа, экзотика. Нет, и в России стали случаться минуты, когда при созерцании этого божьего мира им овладевало незнакомое прежде чувство, это случалось при поездках на дачу, к знакомым, живущим в Лесном или на островах, чувство, похожее на обморок при полной памяти: все помнишь про себя и про этот мир, но что-то как бы смещается в привычных понятиях, сложившихся представлениях о ценностях. Так иногда на даче в жаркий день после купания, лежа на ворохе свежескошенной, но уже чуть подвядшей травы с этими ее остро-прохладными, резко-освежающими и в то же время терпкими и душными, мятными, сладкими, горько-полынными запахами, прислушиваясь к знойному стрекоту кузнечиков и бог знает каких еще жесткокрылых, начинаешь лениво подумывать: а ведь это состояние растворения в стрекоте и дурманах земли, трав, озерного воздуха, пожалуй, и есть главная ценность, а то, что делаешь в четырех стенах городских каменных мешков совсем не так даже и важно, во всяком случае, в сравнении со стрекотом и дурманами... Вздор, конечно, но с чего бы это? Стар становишься, что ли? Что ж, тридцать три года, не шутка. Возраст Иисуса.

Возраст Иисуса, а что сделано до сих пор? В сущности, ничего не сделано. Девятый год в Петербурге изводит чернила и бумагу, извел море чернил и горы бумаги и в результате нажил себе врагов в лице чуть ли не всей российской журналистики... Каждый месяц расходятся книжки журнала по стране и будто ухают в какую-то бездну, исчезают без следа, по крайней мере на большую часть из них не получается никакого отзвука. От этого можно прийти в отчаяние. И приходил, когда начинал

работать в «Современнике». Потом привык... Потом понял, что отзвук все-таки есть, только его надобно уметь улавливать. Отзвук можно улавливать не только в тоне и в характере писем, которые приходят редакторам «Современника» от читателей, не только в тоне и в характере журнальной полемики, по которой до некоторой степени можно судить о роли и значении журнала в жизни нации, отзвук можно улавливать и в том, что год от года становится в России больше и больше людей, своим развитием, высокой внутренней организацией обязанных «Современнику». Да ради уже только того, чтобы в недрах этой нации выработался такой феномен, как Добролюбов, стоило тратить жизнь на черную неблагодарную работу журналиста, публициста, просветителя общества...

И все-таки результат неудовлетворителен. Результат много ниже масштабов давних мечтаний и надежд, которые и теперь живы в душе, как ни заслонены злободневными заботами. Прав Владимир Обручев: мизерными утешаемся заботами... Результат ниже масштабов хотя бы той давней мечты о машинах, через которые когда-то рассчитывал уничтожить пролетариатство и всякую материальную нужду в человечестве. Мечтал создать такую машину, в некотором роде perpetuum mobile *, и стать благодетелем человечества, снять с человека проклятие подневольного, несвободного труда. Когда человечество решит эту свою первую задачу, оно устранит препятствия к занятию главною своею задачею — нравственною и умственною. И несколько лет подряд занимался расчетами, искал источник дешевой энергии для такой машины, с самого начала отвергнув паровую энергию — мало силы у пара, и дорого стоит топливо. Привлекала даровая сила рек, энергия их течения и водопадов, и сила воздушных потоков, подземных (вулканических) процессов, и моря,

* — непрерывное движение (*лат.*), «вечный двигатель».

и солнца. Но о солнечной энергии и энергии земли и моря нечего было и думать при достигнутом уровне науки и технологии, ближе было думать об энергии рек, и он придумал, еще студентом, машину, использующую энергию речного течения, форменное perpetuum mobile, и показывал в университете проект машины физику Ленцу, и позже, учительствуя в Саратове, показывал расчеты и чертежи Николаю Ивановичу Костомарову. Костомарова увлекли очевидные безупречность и убедительность расчетов, он предложил построить опытный образец такой машины, и они вместе начали строить его и, может быть, построили бы, если бы Николай Гаврилович не усомнился-таки в избранном принципе устройства (особая геометрия колеса) и не бросил все, не сжег всех расчетов и чертежей. Бросил, однако, только на время — отложил мысль о машине до лучших времен, по крайней мере до тех пор, когда будут средства продолжить опыты... Решился на это еще и потому, что именно тогда окончательно утвердился в мысли, что не столько оттого бедны люди, что ничтожны их производительные силы, сколько оттого, что неразумно устроены отношения между людьми, нет правды между ними. И покуда не будет правды между людьми, ничто им не поможет. Этой правде всего важнее теперь служить... И служил этой правде с тех пор. Служит девятый год...

Прошли внизу и скрылись за поворотом обрывистого берега бурлаки. Николай Гаврилович двигался следом за ними, параллельно им, тропа шла по краю обрыва, точно повторяя изгиб береговой полосы. Последнюю остановку Анна Аркадьевна в тот раз делала у небольшого выступа обрыва, образовавшегося благодаря двум старым кривым соснам, будто канатами перевязавшим этот кусок земли своими корнями, не позволившим ему обрушиться. Сосны опасно стояли у самого обреза земли, с завидной стойкостью сопротивляясь действию ветров и дождей,

стволы их изгибались в сторону, обратную бездне, их корни, вымытые дождями из-под земли, вспучивались мощными кольцами, сквозь эти кольца нетрудно было пролезть человеку. От этого места тропа полого шла вниз, и Николай Гаврилович, постояв здесь, полюбовавшись соснами, с уважением потрогав их аскетически жесткую, нервно-напряженную горячую кору, пошел дальше, прибавил шагу и стал нагонять бурлаков.

Отсюда уже была видна каменная ограда усадьбы. Поглядывая вперед, не мелькнет ли в саду между деревьями белое платье Анны Аркадьевны, улыбнулся, представив ее себе: если теперь посторонних дома нет, она — в полотняном свободном платье, похожем на крестьянский сарафан, в широкополой соломенной шляпе — бережет лицо от загара — и босиком. Нецеремонная госпожа! И еще раз улыбнулся, представив: сейчас он войдет в ограду и не успеет подняться на веранду, подойти к ручке Надежды Яковлевны и к ручке Анны Аркадьевны, не успеет произнести и двух обычных приветственных фраз, как Анна Аркадьевна спросит его о том, о чем у них был разговор во время их последней встречи, и он ответит, и окажется, что они уже втянуты в диалог, весьма важный для обоих. Разговаривая, они уйдут в сад, подальше от дома, сядут в открытой беседке друг против друга и будут говорить, ничего уже не замечая кругом, все более втягиваясь в разговор, близко глядя в глаза друг другу, проверяя, насколько понимают они друг друга, насколько основательна между ними связь, более и более завораживаясь этой связью, будут говорить, покуда не стемнеет или не придет за ними Надежда Яковлевна и не уведет за собою на веранду, к самовару или к некстати пожаловавшему соседу.

Говорить с нею, глядя в ее светлые требовательные, сосредоточенные глаза, было истинным наслаждением. Трудное искусство — искусство диалога. Редкие люди вла-

деют им. Уметь верно выразить свою мысль, передать ее собеседнику в такой форме, чтобы он принял ее близко твоему пониманию, трудно. К тому же мало уметь выразить свою мысль, надобно еще уметь услышать своего собеседника, а для этого надобно уметь встать на место другого человека, войти в его логику, надобно пытаться смотреть на вещи и его глазами,— совсем невозможная задача для многих. Большинство людей просто не задумываются над этим и оттого вечно попадают впросак, оказываются жертвой собственной бестолковости. Может быть, оттого-то и происходят главные несчастия людей, что не умеют люди понимать друг друга, понимают приблизительно и довольствуются этой приблизительностью, не выработав навыка критически перепроверять свои понятия и представления. Не зная толком своей натуры, не понимая других, незаметно для самих себя въезжают в недоразумения, конфликты, вражду, ненависть...

Трудно вырабатывается человек! Это понял Николай Гаврилович еще в юности, в философском классе семинарии, когда наступила для него пора живого обмена жизненными впечатлениями и мнениями с другими, с товарищами и педагогами, пора самоопределения через диалог и определения истины через диалог. Оттого-то, может быть, и стал он мечтать с тех пор сделаться писателем и журналистом, что понял: почти нет для него возможности передать свою мысль, и быть правильно понятым, и понять другого человека посредством диалога, как ни очевидны достоинства живого диалога, когда объяснению помогают и тон, и мимика, и эмоциональность беседующих, почти нет такой возможности для него, во всяком случае *ныне*; легче достигнешь взаимопонимания, вернее пробьешься к сознанию других, если изложишь свою мысль на бумаге, закрепишь письмом,— к нацарапанному, припечатанному, распятому на листе, неживому слову больше доверия у современного человека. Это он сто раз про-

верил на своем семинарском товарище Мише Левицком и позже, в университете, на петрашевце Ханыкове и диалектиках из кружка педагога Введенского.

С кем во все эти годы мог он вести диалог? Было у него за всю жизнь человек пять или десять таких собеседников, не больше. С другими, в лучшем случае, происходил обмен монологами, чаще и обмена не было, звучал один монолог — либо с этой, либо с той стороны. Пять или десять человек. И между ними ни одной женщины. Правда, одно время показалось, будто в этот круг могла войти и женщина, Александра Григорьевна Клиентова. Но с нею немного довелось говорить, их разговоры были лишь приближением к диалогу. И вот теперь он мог вести диалог, настоящий диалог, с женщиной, и притом женщиной, которая нравилась!..

За две с лишним недели, прожитых им в Саратове, они виделись уже несколько раз и в самом Саратове, и в имении ее тетушки, где он был уже дважды и оба раза оставался ночевать, хотя оба раза приезжал с намерением к ночи вернуться домой, оставался, потому что они с Анной Аркадьевной заговаривались допоздна, тетушке приходилось отправлять верхового в город к отцу Николая Гавриловича с предупреждением, чтобы Николая Гавриловича не ждали и не волновались, он у друзей и вернется не ранее следующего полудня. В диалоге с Анной Аркадьевной они были на равных. Не было таких тем, которые бы не были интересны им обоим,— интересное одному, было интересно и другому. Конечно, нельзя сказать, чтобы вопросы ее личной судьбы интересовали ее меньше, чем «проклятые вопросы» времени, нет, конечно, не меньше, и часто темою их разговора была ее личная судьба. Однако и того нельзя сказать, чтобы ее личная судьба занимала ее больше, чем «проклятые вопросы». В этом Николай Гаврилович убедился еще в Петербурге. Для нее, так же, впрочем, как и для ее тетушки, уже навсегда

определилось, она это отчетливо осознала, что решение вопросов ее личной судьбы немыслимо без разрешения этих «общих вопросов». Никогда уже не будет ей довольно одного того, чтобы устроилась только ее личная судьба, никогда не будет она знать покоя, покуда не устроится судьба и других людей, всех... Ей не хватало знаний. Нужды нет. Для диалога нужен не начетчик, нужен человек любознательный и бесстрашный, способный рассуждать, способный по мере обретения нового знания отряхивать от себя прах отслуживших понятий и представлений, раздвигать пределы своей свободы, свои человеческие пределы — человек есть бесконечное становление, а не данность, границы его подвижны...

В диалоге она проявляла одну редкую, изумительную черту, за которую он в особенности восхищался ею: трудную мысль собеседника она старалась тут же повторить, передать ее своими словами, чтобы убедиться, что правильно его поняла,— сама делала это, ее не надо было понуждать к этому, как приходилось иной раз в диалоге понуждать к подобной самопроверке даже таких добросовестных собеседников, как Добролюбов, Обручев. Оказалось, и она, как и он, не раз обжигалась на недоразумениях, возникающих из-за неполного взаимопонимания с собеседником; обычно довольствуешься тем, что собеседник молча выслушивает твою мысль, не возражает, и развиваешь мысль дальше в надежде, что с исходной-то мыслью все в порядке, и, конечно, попадаешь впросак... Нет, прежде чем двигаться в диалоге очень далеко, давайте сперва повторим друг перед другом суть уже сказанного каждым из нас и, если не узнает собеседник своей мысли в нашем изложении, будем излагать снова и снова, до тех пор, покуда не достигнем совершенного взаимопонимания,— это, положим, не всегда бывает удобно и легко исполнить и задерживает диалог, но уже зато и исключает недоразумения...

7

Как он и представлял себе, она была в белом полотняном платье и босиком, гостей не было, улыбаясь, сошла с веранды ему навстречу и, не давая ему подняться на веранду, подойти к Надежде Яковлевне, занимавшейся с управляющим, заговорила было о том, что́ приготовила для разговора с ним; но тетушка на этот раз не позволила ей сразу же завладеть гостем, велела ему взойти на веранду.

Отпустив управляющего, тетушка усадила Николая Гавриловича в плетеное кресло и стала спрашивать, что в Саратове, что дома у Николая Гавриловича, что в Петербурге, о чем пишет Ольга Сократовна?

Что в Саратове? В Саратове скука, отвечал он, делать ничего нельзя. Дома у него без перемен, батюшка неважен, впрочем, в последние дни ему лучше. От Ольги Сократовны получилось странное письмо, очень беспокойное, от 29 августа; судя по ее тревоге, в Петербурге опять повеяло холодом, какие-нибудь новые правительственные строгости. Да другого и нечего ждать... Но тут стал слышен шум экипажа, подъезжающего к противоположной стороне дома, и тетушка поспешила на ту половину. На ходу уже спросила с иронией:

— А вы, чай, опять только до вечера?

— Нет, я предупредил своих, чтобы сегодня не ждали.

— Слава богу. А то мне нынче некого было бы посылать в город. Всех людей разослала.

Тетушка ушла, и Анна Аркадьевна вполне завладела Николаем Гавриловичем. Спустились в сад, пошли к беседке.

Говорила Анна Аркадьевна о статьях Николая Гавриловича из последних книжек «Современника», только что она прочла его «Полемические красоты» и под впечатлением полемики Николая Гавриловича с Катковым, силь-

по ее поразившей, перечла его статью «О причинах падения Рима» из майской книжки, где Николай Гаврилович полемизировал с Герценом, противопоставлял Герцену (имя которого в статье, понятно, не называлось, но для внимательного читателя не было тайной, что речь шла о Герцене), противопоставлял его концепции общественного развития, его теории «русского социализма», свою концепцию исторического прогресса, законы которого, по Николаю Гавриловичу, одни для всех наций; обе статьи своеобразно связались вместе в сознании Анны Аркадьевны и поставили ее в тупик, как объявила она. При этом больше ее волновала полемика Николая Гавриловича именно с Катковым. Она не могла отделаться от ощущения, что его вражда с Катковым была результатом какого-то странного недоразумения, печального стечения обстоятельств, во всяком случае, вовсе не была необходимостью.

— Я хочу понять, это очень важно, и не сердитесь, если я скажу глупость, а объясните мне,— говорила она напористо, торопясь освободиться от мучившей ее загадки.— По существу, вы оба, как я понимаю, стремитесь к одной цели, добиваетесь одного же: возможно скорейшего изменения нынешних дурных условий жизни русской нации. Ближайше, если не забегать слишком далеко вперед, это значит: цивилизовать русскую жизнь, поднять ее материальный и умственный уровень пока хотя бы до уровня нынешнего европейского. Так? И первое средство к этому определяете сходно. Катков делает упор на развитие внутренних сил народа, на саморазвитие человека, исходит из того, что как обстоятельства жизни влияют на развитие внутренних сил народа, так и свободное нравственное развитие народа оказывает влияние на его обстоятельства. Но ведь и вы упираете на развитие сознания массы, на умственное развитие большинства людей, распространение знаний! Другое дело — средства или ус-

ловия, ускоряющие это развитие. Вы тут говорите о движении масс, революциях снизу, Катков — о революциях сверху или даже о том, чтобы вовсе не допускать никаких революций, проповедует развитие без скачков. Однако же и вы не отвергаете возможности исторического прогресса без революционных потрясений, ведь так? На одну десятую, по крайней мере...

— Какую одну десятую? — не поняв, с удивлением переспросил Николай Гаврилович.

Анна Аркадьевна засмеялась:

— Да вы же как-то писали, что прогресс на девять десятых осуществляется в периоды революционных потрясений. А на одну десятую, значит, в спокойные периоды? За счет, надо полагать, самопроизвольного развития и распространения знания, да? Вы же теперь пишете: прогресс — результат знания, ход всяких сторон жизни в стране улучшается, когда больше становится в ней людей просвещенных, способных порядочно вести дела... Так? Я верно передаю вашу мысль?

— Да.

— Так вот, ваша правда — и правда Каткова. Чья — выше? И стоит ли разница того, чтобы из-за нее копья ломать, как вы ломаете? Ну правда же! Согласитесь, ведь действительно, как говорит Катков, непомерна цена, какую платят народы за ускорение прогресса, достигаемое посредством революций. Стоит ли ускорение этой цены?.. Я знаю, вы сейчас скажете: а стоит ли промедление прогресса той цены, которою это промедление оплачивается? Скажете?

— Скажу...

— Вот то-то, что скажете. Хотя доказать тут ничего нельзя...

— Почему же нельзя?

— Да как вы взвесите страдания, испытываемые народами из-за промедления прогресса, и страдания, испыты-

ваемые ими в ходе революций, когда ускорение прогресса оплачивается тысячами жизней? На каких весах будете взвешивать эти страдания? И тем не менее вы берете на себя смелость проповедовать революционный путь. Эта проповедь вам дороже союза с людьми, равными вам по умственной и душевной выделке... Ну скажите, какой резон вам нападать друг на друга, для чего ослаблять в междоусобице и без того слабые силы гуманизма? Не лучше ли вместо вражды поискать и найти почву для объединения, и объединиться, и сообща делать общее дело? Не лучше ли сосредоточить силы на просвещении нации?

Николай Гаврилович ответил с усмешкой:

— Лучше. Только как же это сделать?

— Да зачем вы отвечаете Каткову?! — вскричала Анна Аркадьевна.

— Мне не должно ему отвечать? Совсем не следует ему отвечать?

— Ну да, совсем!

— Вот как! А весною, помнится, вы меня как раз за это упрекали. Помните, спрашивали, отчего я не отвечаю на его выпады?

— Я не упрекала — я именно спрашивала! Мне хотелось знать, как вы это объясните.

— Вот оно что. Ну и что же? Вы полагаете, если я не буду отвечать, Катков оставит свои нападки? С ним можно будет соединиться для общего дела?

— А вы попробуйте!

— Да ведь пробовал. Не получается.

— Попробуйте снова. Другого выхода нет. Чтобы покончить спор, кто-то же должен уступить первым?

— Да нет, Анна Аркадьевна, ничего из этого не выйдет. Тут, знаете, старое... Мы с вами уж говорили, кажется, о нраве Михаила Никифоровича. Добрым примером тут ничего не поправишь... А, впрочем, может быть, вы и правы. Может быть, и правда, надо пробовать и про-

бовать. Может быть, и не буду уж отвечать. К чему, в самом-то деле, воздух молотить... Но вот в чем я не могу согласиться с вами. Вы, кажется, поверили Каткову, будто я проповедую революцию, зову читателей однажды вдруг всем разом выйти на улицу строить баррикады. Я не могу это проповедовать хотя бы уже потому, что не нахожу нужным это делать. Без достаточных причин не может произойти никакое потрясение или ниспровержение, как ни хлопочи об этом агитатор или литератор. Если нет людям достаточных причин быть недовольными, то и не внушишь им недовольства никакими словами, изустными ли, печатными ли. Это делается не словами, а фактами жизни, общественными отношениями и великими историческими случайностями, вроде какого-нибудь неурожая или войны. Но, с другой-то стороны, если есть достаточные причины для потрясения, оно произойдет, как там ни хлопочи Катков об устранении способов и поводов произойти ему, какие-нибудь способы и поводы все-таки представятся. Так вот, если что я и проповедую, то именно этот взгляд на вещи. Хочу, чтобы учились люди понимать ход вещей и поступали в соответствии с этим пониманием, распоряжались своею свободою просвещенно, разрешали свои вопросы властью разума, а не случая. А что до того, как нам относиться к тем миллионам нищих, которых обстоятельства жизни, случается, выводят на улицу, то на это я скажу вот что. Не следует доводить людей до такой точки. А если жизнь доводит их до этого, бессовестно взваливать на них всю вину за неприятности, какими оборачивается для общества их бунт. Доведенный до отчаяния человек всегда прав в своем бунте против общества, если общество не торопится исправить несправедливость, допущенную по отношению к этому человеку, относит исправление в будущее.

— Так! Доведенный до отчаяния человек! Точка, или порог, отчаяния. Предел терпения. Могу терпеть — не

могу терпеть... Хочу — не хочу! Так? — с непонятным торжеством, радуясь чему-то, возбужденно говорила Анна Аркадьевна.— Вот мы и пришли к главному, о чем я хотела с вами говорить... Положим, человек доведен до отчаяния. До предела терпения. Но вопрос-то в том, как определить этот предел? Не всегда же человек бунтует оттого, что пределом оказывается сама физическая жизнь? Когда, если дольше терпеть, погибнешь? Как быть в случаях, какие обыкновенно-то и бывают, когда предел находится выше этой крайней границы? Из каких критериев исходить, чтобы мы всегда правильно могли рассудить, что вот до этого предела надобно терпеть, а дальше уже можно и бунтовать? Не случится ли, что, если поощрять всякого отчаявшегося человека к бунту против общества, этот предел поднимется до такой точки, когда бунтовать будут из-за пустяков? Ведь можно впасть в отчаяние от мучений голода, а можно и от пропажи наперстка... В чем же критерии?

Вопрос был интересный, и Николай Гаврилович приготовился ответить на него, но подошла Надежда Яковлевна, прервала разговор.

Тетушка была озабочена:

— Еду в город. Абутковы прислали за мною экипаж, просят приехать немедля, что-то у них случилось то ли дома, то ли в приюте, я толком не поняла из их записки и от кучера не могла добиться толку.— Абутковы были ее однофамильцы, с этим саратовским семейством у нее были общие дела в губернском благотворительном комитете.— У них, верно, и заночую. Если к ужину не приеду, значит, у них осталась. Николай Гаврилович, вы не надумали вернуться в город? Вечером лошадей не будет.

— Нет, ничего, спасибо. Я предупредил своих,— ответил Николай Гаврилович, не обратив внимания на некоторую странность вопроса, ведь уже говорили об этом, и особенный тон Надежды Яковлевны, приняв этот во-

прос за обыкновенную предупредительность человека, с которым держишься без лишних церемоний.

Тетушка, помолчав как бы в нерешительности, обратилась к племяннице:

— Тебе, Аня, придется самой подать ужин. Обедать вам подаст Савельевна, я распорядилась. Но после обеда она должна уйти в деревню, я ее отпустила. А Пелагею Ивановну я забираю с собою, она мне в городе будет нужна.

— Ничего, поужинаем,— рассеянно отозвалась Анна Аркадьевна, тоже не обратив внимания на особенный тон тетушки и на смысл сказанного ею, в частности про Пелагею Ивановну: Пелагея Ивановна, домоправительница из вольноотпущенных, иногда прислуживавшая за столом, жила в барском доме, остальная прислуга жила во флигеле, в том числе и Савельевна, кухарка, которую барыня отпускала сегодня после обеда со двора,— это значило, что к вечеру Анна Аркадьевна и Николай Гаврилович должны были остаться одни в доме. Мужчина и женщина одни в доме, прилично ли, мол, это? Но ни он, ни она не обратили на это внимания. До того ли им было, скорее бы уж их оставили в покое, позволили вернуться к разговору.

И опять тетушка была в нерешительности, прикидывая, должно быть, не сказать ли, мол, яснее, но, должно быть, сочла, что это-то и было бы неприлично, ничего больше не сказала, повернулась уходить и уже на ходу, обернувшись назад, как бы сердито, напутствовала:

— Не очень-то заговаривайтесь! После обеда-то хотя погуляйте, что ли. На лодке покатайтесь.

— Так и сделаем,— покивал ей вслед Николай Гаврилович.

— Что за радость — говорят, и говорят, и говорят! — возмущаясь вслух, пошла прочь тетушка.

8

Остались Николай Гаврилович с Анной Аркадьевной одни и вернулись к поставленному Анной Аркадьевной интересному вопросу о границах и пределах терпения человека, о его отчаянии, толкающем его на бунт. По существу, это был все тот же вечный и всегда актуальный вопрос о границах и пределах человека, его личности, его свободы. В самом деле, если человек суть бесконечное становление и границы его подвижны, какие пределы его личности и свободы в каждый данный исторический момент считать допустимыми и какие недопустимыми, из каких критериев тут исходить? И как, собственно, складываются эти критерии? И разбирали этот вопрос с разных точек, и сошлись было на том, что́ сказал Николай Гаврилович, пытаясь определить формулу, самый общий принцип, из которого следовало бы исходить. Нет и не может быть, рассуждал он, абсолютных критериев на все времена, каждое поколение должно вырабатывать свои собственные критерии с опорою на опыт предшествующих поколений и исходя из высших достижений знания своего времени, при этом стараясь неустанно расширять пределы этого нового знания — знания о себе и об окружающем мире. Но если все же надобно определить самый общий критерий, нечто безусловное для всех времен, обязательное при определении конкретных, исторически оправданных критериев, таким абсолютным условием может быть одно: нам, людям, надобно сохранить себя в качестве людей, не переглотать друг друга в борьбе, которую мы вынуждены вести друг с другом в поиске лучшего, по нашим понятиям, способа общежития. Форма действий человека определяется степенью его развития, совершенства его натуры. Стало быть, надобно человеку совершенствоваться. Но совершенствуется человек лишь в социальном действии. Следовательно,

вот формула: действуя, искать лучшие формы действия...

Но это были уж очень общие мысли, вполне сойтись на них так, сразу, было невозможно, они возбуждали новые мысли, бесчисленные новые вопросы, и приходилось пускаться по этим новым следам, и разговору не было конца. И так они говорили до обеда, и Савельевна накормила их обедом, и после обеда они гуляли, и катались на лодке, гребли по очереди, похваляясь друг перед другом умением обращаться с веслами и выносливостью, и продолжали говорить о том же, о пределах и границах человека, но скоро оставили социальную область, обратились к другим областям, и подступили к женскому вопросу, и заговорили о браке, и, естественно, о личной судьбе Анны Аркадьевны, и даже о его, Николая Гавриловича, личной судьбе, о его отношении к Ольге Сократовне. Об Ольге Сократовне неожиданно спросила Анна Аркадьевна, решилась наконец впервые после той их с Николаем Гавриловичем встречи весной у Гостиного двора, когда Николай Гаврилович поразил ее признаниями о своих отношениях с женой; признания эти, поразив Анну Аркадьевну, не вполне, однако, тогда ее удовлетворили, многое в его отношениях с Ольгой Сократовной осталось для нее загадочным и сильно занимало ее, об этом она все это время мечтала с ним поговорить, но до сих пор не решалась. И вот решилась... Имя Ольги Сократовны при этом не упоминалось, Анна Аркадьевна ставила свои вопросы как бы не о Николае Гавриловиче и Ольге Сократовне, а о неких абстрактных людях, о которых говорилось «для примера», и Николай Гаврилович, отвечая, тоже говорил как бы об этих посторонних людях — так было удобнее.

Он говорил о счастье, какое дает человеку такой брак, каков его брак с Ольгой Сократовной, о счастье полной, без оговорок, открытости между супругами, открытости во всем, не исключая деликатнейших движений сердца.

Тот, кто построил такие отношения в браке, может быть уверен, что судьба уже не властна над миром его души. Завороженно слушая Николая Гавриловича, Анна Аркадьевна между тем не забывала вести и свой специальный вопрос: как быть тем женщинам, вот таким, как она, образованным, с повышенными требованиями к людям, как им устроить свою судьбу, ведь практически невозможно рассчитывать такой женщине встретить достойного мужчину, тем более сверстника, тем более свободного, еще не связанного браком,— где они, достойные и свободные мужчины? Если редки образованные женщины, то и достойные мужчины, при современном состоянии общества, не меньшая редкость. Что же, таким женщинам не любить? Оставаться одинокими? Обидно. Жаль своей молодости. Жаль нерастраченных чувств... Но вот то, о чем рассказывал Николай Гаврилович, брак с подвижными границами, по крайней мере в отдельных случаях, мог быть выходом из положения. Да, в какой-то мере это выход... Только ведь тут страшно много темных и непривычных пунктов! Например, как все-таки быть с ревностью? Тогда, весной, в Петербурге Николай Гаврилович говорил ей, что не испытывает чувства ревности. Что же, он действительно считает, что ревности вовсе не должно быть? Ни со стороны супруга, ни со стороны супруги? Вообще не должно быть ревности в человеке? Да возможно ли это — вовсе не испытывать чувства ревности?

— В развитом человеке этому чувству не следует быть,— отвечал Николай Гаврилович.— Стало быть, это возможно. Что такое ревность? Извращенное чувство, следствие взгляда на человека, и об этом, кажется, я тоже вам уже говорил, взгляда на человека как на мою принадлежность, как на вещь...

— Но, Николай Гаврилович, если не признавать ревности, ведь это какие же выходят из этого следствия?

Страшно подумать, какие выходят следствия! — смеясь, чтобы скрыть смущение, говорила Анна Аркадьевна.

— Страшно для того, кто имеет ревность, а для того, кто не имеет ее, в этих следствиях нет ничего не только страшного, даже важного.

— И вы вполне уверены, что не проповедуете безнравственность?

— Сколько раз в день вы обедаете? — вопросом на вопрос ответил Николай Гаврилович.— Один. А почему не два раза? Может, боитесь кого-нибудь этим огорчить? Да нет, вероятно, просто потому, что вам этого не хочется. А ведь обед — вещь приятная. Однако же рассудок, а главное, сам желудок говорит, что один обед приятен, а другой уж был бы неприятен. Но если у вас есть фантазия или болезненная охота обедать по два раза, удержало бы вас от этого опасение огорчить кого-нибудь? Нет, если бы кто огорчился этим или запрещал это, вы только стали бы скрываться, стали бы есть блюда в плохом виде, пачкали бы руки, хватая кушанья в спешке, пачкали бы платье, оттого что прятали бы куски в карманы,— только. Вопрос тут, следовательно, вовсе не о нравственности или безнравственности, а только о том, хорошая ли вещь контрабанда. Вот и все.

— Да, но до каких же пределов может распространиться брак? Какие-то пределы должны быть? Не до пределов же всего человечества, правда? — опять-таки смеясь, спрашивала Анна Аркадьевна, несколько стесняясь ставить свои опасные вопросы, но и не в силах удержаться от соблазна ставить их, раз уж заговорили об этом.

— Нет, это незачем. Пределы определит ваша натура, сила ваших чувств да чувство ответственности, которое скажет вам, не на несчастье ли других строите вы свое счастье. Да, наконец, условия вашей жизни...— Николай Гаврилович на секунду умолк, потому что вдруг странно замерло сердце от какой-то смутной мысли, но он не

придал этому значения, продолжал, глядя в напряженные, серьезные глаза Анны Аркадьевны.— Как подумаешь, до каких нелепостей порой доходят люди, мучаются из-за пустяков, попусту страдают в ненужной борьбе с собою, годами терзаются, а то и стреляются, что уж совсем глупо. Это вместо того, чтобы своевременно приготовить себя к спокойному взгляду на все это, как на чистый вздор.

— Да, вероятно, вздор,— задумчиво согласилась с ним Анна Аркадьевна.

И опять он почувствовал, как особенно шевельнулось сердце...

Они сидели на веранде, ужинали, пили чай, было еще светло, но все предметы уже начинали как бы плавиться в надвигающихся сумерках. С Волги донесся короткий и тревожный гудок парохода, на пароходе как будто опасались, что не успеют дотемна добежать до пристани. Николай Гаврилович и Анна Аркадьевна невольно оглянулись на гудок, хотя увидеть отсюда пароход было нельзя, из-за деревьев не было видно Волги, потом снова взглянули друг на друга, и вдруг оба сильно смутились, и взволновались так, что некоторое время ни он, ни она не могли произнести ни слова, не в силах были произнести, и не в силах были отвести взглядов друг от друга, и от этого только возрастали их волнение и смущение.

Ясно было: они оба одновременно подумали об одном и том же и поняли, что подумали об одном. О чем об одном? О том, что говорили-то они, рассуждая о новых формах брака, не вообще, не абстрактно,— говорили о себе, к самим себе примеривали то, что обсуждали как возможное решение вопроса, как выход для неких условных лиц, поставленных жизнью в сложные отношения друг к другу, именно имели в виду друг друга в качестве супругов в том браке, о котором говорили! И это-то им теперь открылось! Открылось, что *оба* допускали возмож-

ность такого соединения друг с другом, соединения в таком браке... Конечно, он и до этой минуты, когда думал об Анне Аркадьевне, думал о ней не только как о доброй приятельнице или оригинальной личности, думал и как о женщине, к которой его влекло и с которой он мог бы быть близок. Мало того, иногда ему приходило в голову, что, если бы он был женат на этой женщине, его брак был бы более счастливым. Но что с того? Это были невинные грезы, приходившие в минуты отдыха, мечты, которые не мешали обычному течению жизни и которым не суждено было осуществиться. Чего ради? Он давно вышел из того возраста, когда кровь ударяет в голову и мутит рассудок, заставляет совершать глупости, положим, и глупости бывают приятны, но мало ли на свете приятных вещей, от которых приходится воздерживаться ради вещей важнейших? И вдруг приблизились мечты. Так странно, так внезапно обнаружилось, что могут осуществиться мечты — уже теперь, сегодня, сейчас. Странно похлопотала судьба: и этот их разговор, так неожиданно открывший им друг друга, и то, что они одни в доме... Нет, это вздор! Это невозможно. Это ни к чему хорошему не приведет. Только осложнит, запутает их отношения. И надо кончать разговор, пока не поздно...

Николай Гаврилович встал:

— Однако пора спать. Завтра надо бы мне пораньше уехать...

Они собрали посуду и отнесли в буфетную, туда же перенесли еще не остывший самовар, он хотел было освободить самовар от углей, но она остановила его: «Это не нужно». Пока ходили между верандой и буфетной, сказали друг другу еще по две-три коротенькие фразы, наконец разошлись, торопливо пожелав друг другу спокойной ночи, так и не взглянув друг на друга, поспешили в свои комнаты, не в силах больше выносить нараставшего напряжения.

С громко бьющимся сердцем поднялся он к себе наверх. Их комнаты располагались в противоположных концах дома. Ее комната была на первом этаже, угловая, окнами на Волгу, его — на втором этаже и тоже угловая, с той же стороны. Волга и отсюда, со второго этажа, была видна не вся, но все же часть реки открывалась глазу, отсюда хорошо просматривался далекий противоположный берег с его умопомрачительными равнинными далями,— просматривался днем, теперь-то в той стороне, за Волгой, быстро собиралась и густела ночная темнота. Быстро темнело и в комнате, но еще можно было обойтись без свечи, и Николай Гаврилович, не зажигая свечи, разделся и лег — надо было постараться поскорее заснуть.

Он был раздосадован и обескуражен, очень недоволен собой. Он держал себя сегодня с непростительным легкомыслием, слишком беспечно. Конечно, ему надо было уехать с Надеждой Яковлевной, и все бы разрешилось, к тому же сама Надежда Яковлевна дала ему понять, что лучше ему уехать с нею, но он не понял ее намека. Как мог не понять? Не захотел понять, вот что. Беззаботно, как мальчишка, отдался своему чувству, своему влечению, увлекся... Непростительное легкомыслие... Конечно, его влечет к ней, и не так-то легко противиться этому влечению. Но ему ли, человеку пожившему, давно женатому и счастливому в своем браке, тосковать по любви, женской ласке?

Однако совершенно невозможно было уснуть. Сердце, казалось, готово было разнести на части и его тело, и весь дом, с такою силою и таким гулом ударялось в грудь, что он не шутя подумал, а не сотрясаются ли и в самом деле от его пушечных ударов пол, стены, потолок. Это, наконец, начинало беспокоить: да не заболевает ли он? Такого, пожалуй, с ним еще никогда не было. Здоровое сердце может ли так бешено и так долго, не утомляясь, бухать и бухать? Чего доброго, оно могло и разорваться.

И главное, не было никакой надежды, что оно утихнет, сколько бы он ни лежал.

Пытаясь унять сердце, он встал, подошел к отворенному окну. Была уже ночь. Волга морем разливалась за деревьями, водяная ее гладь была подернута белесой светлотой, которая сильно светлела к тому берегу и у самого берега делалась вовсе белой и сверкала, словно там, над Волгой, стояло солнце, а не луна. От реки тянуло дымом костра, верно, где-то неподалеку от усадьбы расположились на ночлег бурлаки. Теплый и влажный воздух легонько подрагивал от звона ночных насекомых. По самому берегу, слышно было, проскакали, всхрапывая и отфыркиваясь, вольные лошади, видно крестьянские, из ночного, отбившиеся от табупа.

И все же сквозь эти шумы и звоны он уловил обострившимся слухом, слегка высунувшись из окна, звуки, доносившиеся из ее комнаты, с первого этажа. И она не спала. Что-то у нее там упало на пол, слабо звякнув, возможно, ее поясок с серебряной пряжечкой. И снова звякнула пряжечка, но по-другому, должно быть, подняв с полу поясок, она повесила его на спинку стула. Неспешно раздевалась; подошла к кровати, взбила подушку, легла... Нет, не легла. Оказалась у окна, раскрыла его пошире. Выглянула наружу, посмотрела наверх... Вздор! Это уже он увидел в своем воображении... Однако она не спит...

Прислушиваясь к гулу сердца, удивлялся себе. Никак не ожидал, что когда-нибудь будет захвачен чувством, с которым не в силах будет справиться. Значит, до сих пор не знал себя толком? Своей натуры не знал? Что же, и правда нельзя исчерпать себя знанием?...

Он услышал шум экипажа, подъезжавшего к дому. Должно быть, вернулась из города Надежда Яковлевна.

Действительно, через минуту, выйдя в коридор, услышал голос Надежды Яковлевны внизу, в зале, она раз-

говаривала то ли с Анной Аркадьевной, то ли с Пелагеей Ивановной, которая ездила вместе с ней, он смог разобрать только ее голос. Он вернулся в комнату, лег и тотчас уснул.

9

Утром встали, не сговариваясь, очень рано, сошлись на веранде, побежали купаться на Волгу, еще пустынную, тихо-туманную, неподвижную, Надежда Яковлевна еще спала, Анна Аркадьевна выходила к ней вчера ночью, когда она приехала, но тетушка ничего не стала вчера рассказывать, слишком устала, торопилась скорее лечь спать, сказала только, что есть новости; плескались рядом, на мелком, Анна Аркадьевна, смеясь, играя, тащила его на глубину, он упирался, падал, она хватала его за ногу и все-таки тащила, он должен был суметь вывернуться еще на мелком и выворачивался, обнимал ее, обхватывая за гибкую талию, и тащил к берегу, но она легко выскальзывала из его рук, со смехом опрокидывалась на воду, в два-три сильных взмаха руками отплывала на спине на несколько саженей и, нырнув, под водой снова подбиралась к нему, дразнила его, что не умеет плавать. Он действительно не умел плавать, так и не научился с тех пор, как мальчишкой, решив готовить себя для науки, ради экономии времени отказался от многих ребяческих удовольствий и утех. С тех пор ему не раз пришлось менять взгляды на то, в какой мере нужно быть развитым человеком, нужно ли быть многосторонне развитым, давно понял, что к этому нужно стремиться, но плавать так и не выучился. Хотя купаться любил.

Завтракали одни, Надежда Яковлевна еще не вставала, пили чай на веранде и говорили о том, что ему уже пора возвращаться в Петербург, на днях уедет, вот толь-

ко дождется денег из «Современника», от Добролюбова, а ей еще не скоро в Петербург, она должна съездить в Пермь, к матери, очень зовет мать, и не столько ради себя зовет, сколько ради Петра Степановича, мужа Анны Аркадьевны, который сделался совсем плох, а что тут может сделать она, Анна Аркадьевна? Как будто тут что-то можно сделать? Говорили и о петербургской мастерской, из которой почему-то давно не получалось вестей и о которой были основания беспокоиться. И, позавтракав, продолжали сидеть на веранде за столом.

Они еще сидели за столом, когда к ним вышла тетушка и стала рассказывать новости. Оказалось, не у ее однофамильцев что-то случилось, а у нее самой, то есть у них с Анной Аркадьевной, и не в Саратове, а в Петербурге, в их мастерской, какие-то полицейские неприятности. Привез вести один из родственников саратовских Абутковых, в чем дело, он точно не знает, но чуть ли не отдано распоряжение закрыть мастерскую, хозяйкам послана из Петербурга соответствующая бумага, она еще, вероятно, просто не успела прийти. Обо всем этом ему рассказали в мастерской, куда он зашел перед отъездом из Петербурга справиться, не будет ли каких сообщений для передачи Надежде Яковлевне и Анне Аркадьевне... Придется бросать здесь все дела и ехать в Петербург, решила тетушка.

И еще вести привезла она. В Петербурге действительно реакция: идут аресты, ищут каких-то типографщиков. Причем арестовывают не только студентов. В Москве, говорят, арестовали молодого поэта Всеволода Костомарова.

Глава шестая

1

Арестован был Всеволод Костомаров 26 августа по доносу его брата Николая, давно грозившего донести на него и уже доносившего однажды, в апреле, когда стащил у Всеволода несколько экземпляров отпечатанного начала прокламации «Барским крестьянам». Эти экземпляры Николка передал тогда московскому обер-полицмейстеру Потапову, однако никаких последствий в то время его донос не имел: Потапов почему-то не придал значения доносу — то ли потому, что не вызвал у него доверия, был уж слишком ничтожен доносчик, недоучившийся кадет, то ли потому, что тайной типографии к тому времени уже не существовало, ее уже не было в доме Всеволода Костомарова, во всяком случае, никаких мер против типографщиков в то время принято не было. Мало того, не придал Потапов значения и самым оттискам прокламации, даже не зарегистрировал их в своей канцелярии, подержал какое-то время у себя в столе и выкинул за ненадобностью. На этот раз, в августе, Николка адресовался прямо в Петербург, управляющему Третьим отделением графу Шувалову, и к письму своему приложил оригиналы этой прокламации и прокламации «Русским солдатам», которые хранились у его брата с марта, когда Всеволод пытался их напечатать, и были выкрадены Николкой уже теперь, в августе. Теперь его доносу придали значение. В Третьем

отделении в это время рады были ухватиться за любую возможность как-то сдвинуть с места застопорившееся дело арестованных еще в июле московских студентов Заичневского и Аргиропуло, подозревавшихся в тайном печатании. С этими студентами, если верить доносу, был связан Всеволод Костомаров. В Москву для проведения обыска у Костомарова был командирован жандармский подполковник Житков.

Результат обыска сильно двинул дело вперед. В доме Костомарова, точнее, в саду, в беседке, под полом был найден типографский шрифт. Этой уликой подтверждался факт участия Всеволода Костомарова в тайном печатании. Все остальное — связь Костомарова с арестованными студентами и другими участниками тайного общества, выявление этих участников, уточнение обстоятельств, при которых производилось печатание,— все это было теперь делом техники следствия. Костомаров в тот же день был отправлен под стражей в Петербург, в Третье отделение.

В Петербурге его поместили в тюрьму при Третьем отделении, в глубине каких-то дворов; пока ехали от ворот со стороны Пантелеймоновской, Костомаров насчитал по меньшей мере три двора, загроможденных штабелями дров, да еще был двор за аркой, перед которой остановились,— справа от арки был вход в здание тюрьмы с часовым перед дверью.

Камера Костомарова была на втором этаже, с двумя окнами, забранными снаружи в железные перекладины, с железной койкой, каким-то шкафчиком вместо стола и двумя тяжелыми стульями. У печки стоял большой ящик, прикрытый фанерной крышкой. Комната была неправильной формы, в виде трапеции, такой же формы, только еще более неправильной, ближе к треугольнику, был и двор перед окнами с крошечным садиком.

Несколько дней никто Костомарова никуда не вызы-

вал и к нему никто не заходил, но его это нисколько не тревожило. Тревожиться ему теперь было нечего. Теперь, когда совершилось то, что рано или поздно должно было совершиться и к чему он давно был готов. Арест не удивил его и не напугал. Это, конечно, не значит, что он не допускал и мысли, что его могла миновать эта чаша. Отнюдь. Все мы изо дня в день живем надеждами, и дерзаем, и грешим в расчете на то, что каким-нибудь чудесным образом с нас не взыщется. Мы бы и часу не смогли прожить, если бы в глубине души не надеялись жить вечно, хотя головою и понимаем, что человек смертен: надежда на чудо в нас сильнее здравого смысла. Да иначе к чему было бы и браться за тайное печатание, если бы не надежда, что как-нибудь удастся избегнуть расплаты. Но в том-то и беда, что это была надежда на чудо.

И еще бóльшая беда то, что, и понимая это, то есть понимая, что надежда эта, в сущности, такого же рода, как и надежда жить вечно, понимая это, все-таки не можешь, в определенных обстоятельствах, не браться за такие фантастические предприятия, как тайное печатание... Это какое-то проклятие над человеком, насмешка над ним, над его свободой, какое-то извращение свободы: думаешь, что поступаешь свободно, сопротивляясь дурному порядку вещей, деспотическому режиму, выступая против него своим тайным станком, а на самом деле, оказывается, что это-то и есть несвобода, ибо поступаешь так потому, что не можешь поступать иначе, хотя и понимаешь, что так поступать абсурдно...

Если что и было удивительного в факте его арестования, так это не факт арестования сам по себе, а то, что так долго его тайная деятельность оставалась незамеченной властью, так долго он мог без помех заниматься этой деятельностью. Поработал на одном станке, покуда станок не износился, наладил второй станок, потом бла-

гополучно его ликвидировал, когда появился знак опасности, и снова небо было безоблачно, ни малейшего признака близкой расплаты. Это неестественно. В таком государстве, как Россия, невозможна была, это очевидно, никакая тайная деятельность, это противоречило логике государственного устройства, существо которого составляла сильная власть, одушевлявшая, направлявшая, контролировавшая все проявления общественной жизни нации, исключавшая возможность стихийных проявлений. И вот эта власть странным образом не замечала его, Костомарова, деятельности, или не считалась с нею, не придавала ей значения. Такое нарушение логики жизни выбивало из колеи, лишало чувства реальности, сообщало всему существованию какую-то призрачность, ненатуральность. Все то время, пока небо было безоблачно, Костомаров чувствовал себя скитальцем, не имеющим оседлости; ни дома, ни семьи, ни будущего — ничего нет, и не устроишь ничего, потому что не знаешь, что с тобою будет завтра. И главное, сам ты ничего тут изменить не можешь. Как на почтовой станции, когда спешишь куда-то, и ждешь лошадей, и лошади приходят, но не тебе их дают, а кому-то другому, кто поважнее тебя, повыше чином. В конце концов это даже и оскорбительно... Опять-таки, конечно, это не значит, что ему так уж непременно хотелось быть арестованным. Отнюдь. Кто же себе худа желает? И все-таки, когда наконец произошло то, что должно было произойти, когда явился с обыском Житков, и нашел шрифт, и заключил Костомарова под стражу, Костомаров обрадовался, повеселел: наконец-то все встало на свои места.

Да, и обрадовался, и повеселел. Как это ни кажется противоестественным, но это было именно так. Весь тот вечер и всю ночь, пока шел обыск и составлялся протокол, Костомаров был в приподнятом настроении, как будто не тюрьма ему предстояла, а поездка за назначе-

нием, и прекрасным назначением: в хороший полк, в хорошую губернию. Укладывая саквояж, смеялся, шутил. Едва ли не впервые за весь миновавший трудный год смеялся и шутил, удивив своей веселостью всех домашних, даже Маху, младшую из сестер, лучше всех домашних его понимавшую. Маха не спала, время от времени выходила из своей комнаты к брату, кутаясь в шаль, молча стояла подле него, тихой улыбкой отвечая на его шутки, когда он обращался к ней, а он пытался ее развеселить, ему почему-то хотелось, чтобы она засмеялась, как всегда смеялась, неудержимо, закинув голову, и засматривал ей в лицо, но она отворачивалась, смотрела в пол, в окна и вдруг, взглянув на него, заплакала.

И когда через несколько дней после его переселения в тюрьму Третьего отделения его неожиданно навестил черный господин Путилин, тот самый, с которым он однажды столкнулся у Настеньки, и объявил, что он уже тогда, когда они встретились у Настеньки, знал о конспирациях Костомарова, что уже тогда за Костомаровым следили — не Путилин следил, нет, тогда он никаких дел с Третьим отделением еще не имел, к Третьему отделению его прикомандировали только теперь, просто он знал об этом факте, потому что интересовался личностью Всеволода Дмитриевича,— это тоже ничуть не удивило Костомарова, не взволновало и не расстроило, напротив, тоже порадовало, потому что отвечало логике вещей: так и должно было быть.

Все решилось после того, как во время обыска был найден под полом садовой беседки шрифт, остаток того шрифта, которым набиралась прокламация «Барским крестьянам». Улика была достаточно серьезная, чтобы Житкову тут же взять Костомарова под стражу, даже если бы Костомаров и не признался, что этот шрифт принадлежит ему, если бы стал от всего отпираться. Но он не стал отпираться. Признался Житкову не только

в том, что этот шрифт его, но и в том, что в его доме действительно, как было известно жандармам из доноса Николки, производилось тайное печатание, и что представленные Николкой при доносе рукописи воззваний к крестьянам и к солдатам выкрадены у него, Всеволода Костомарова, и действительно им, Всеволодом Костомаровым, было набрано первое из этих воззваний и оттиснуто некоторое количество экземпляров начала этого воззвания. Подтвердил он и такой важный пункт николкиного доноса, что к делу печатания воззваний причастны не только московские студенты, но и петербургский литератор Михайлов. В доносе не упоминался Чернышевский, но, если бы и Чернышевский был назван, Костомаров подтвердил бы и его причастность.

Было ли необходимо ему во всем этом признаваться? Не лучше ли для него было отказаться давать показания? На первый взгляд как будто так: лучше. В самом деле, ведь не бог весть какая и важная, в сущности, была эта улика — шрифт. Если эту улику не подкрепить признаниями, какие он и сделал, она и вовсе была не важна. Если бы он не сделал этих признаний, пострадал бы он один, больше никто. Без его оговора, только на основании николкиного доноса и факта обнаружения шрифта никого, кроме него, Всеволода Костомарова, не удалось бы власти привлечь к судебной ответственности — ни Михайлова, ни студентов, шрифт сам по себе никак не мог повлиять даже на дело уже арестованных Заичневского и Аргиропуло: не было прямой связи, не было ниточки от шрифта к студентам, такой ниточкой мог быть только всеволодов оговор. Мало того. И сам-то оговор — еще не все. Надобно было, чтобы с оговором Всеволода согласились те, кого Всеволод оговаривал, так же точно, как сам он согласился с николкиным оговором. Вот если бы вышло так, что с его оговором согласились студенты и Михайлов, тогда да, дело бы сделалось, тогда бы оно

было готово для суда, и шрифт тогда был бы важным вещественным доказательством их злоумышления. А была ли надежда, что Михайлов и студенты согласятся в этом подыграть ему, Всеволоду, захотят сами себя оговаривать? Чего ради?

Да, кроме того, а чем, собственно, эта улика, шрифт, была опасна для самого-то Всеволода? Так ли уж катастрофически была опасна? Чем, собственно, мог ему грозить факт обнаружения шрифта? Может быть, была угроза его жизни? Вовсе нет. Самое большое, чем могла обернуться для Всеволода эта улика, при его-то запирательстве,— несколько лет каторги, три или четыре года, не больше. А что для молодого человека три или четыре года? Пустяк. Так стоило ли в расчете на смягчение этого не бог весть какого ужасного наказания оговаривать себя самого и других, дарить власти возможность из ничтожного дела по обвинению одного человека (Всеволода Костомарова) создать крупное дело, привлечь к суду десяток или даже и больше человек? Нет, не стоило. Не стоило, если смотреть на дело с известной точки. Но если смотреть с некоторой иной точки, выходило иначе.

Разумеется, три или четыре года каторги для молодого человека — пустяк. Но если бы только этим все ограничивалось! Чего бы лучше, отбыв наказание, вернуться домой, к родным, к друзьям в ореоле мученичества, героем, сохранив доброе имя во мнении всех любящих тебя, почитателей твоего таланта, нынешних и будущих, сохранив доброе имя для истории, для вечности. Увы, эту тему удобно развивать в романтической поэме, а в жизни не бывает так ясно и просто, как в наших поэтических творениях. В жизни и вовсе так не бывает. В окружающей жизни, по крайней мере; вот в этой обступающей тебя со всех сторон русской жизни, в пределах государства, где сами законы, дух их и способы применения определяются инициативой власти, неответственной перед

тобою, перед народом. Стараясь при явных уликах уменьшить свою вину запирательством, положим, кое-чего добьешься, положим, умелым запирательством отведешь от себя кое-какие пункты обвинения, сможешь таким образом выгадать год или два из предстоящего тебе наказания; но, выгадав год или два, прогадаешь целую жизнь. Уйдешь на каторгу нераскаявшимся, не избывшим своей вины чистосердечным признанием,— и каторгой не очистишься, так навсегда и останешься во мнении судей, во мнении власти, а значит, и большинства народа нераскаявшимся, закоренелым упрямцем, и не будет тебе до конца твоих дней покоя от недоверчивых глаз: ты — чужой, не такой, как все, двусмысленная личность. Может быть, для ординарного человека это ничего не значит, но для человека тонко чувствующего, впечатлительного, легко ранимого, поэта, всем существом своим сознающего себя плотью от плоти своего народа,— для такого человека это непереносимо. Перед глазами Костомарова — судьба его добрых знакомых, его друзей, бывших петрашевцев, поэта Плещеева и педагога Милюкова, которых и нераскаявшимися-то в полном смысле не назовешь, а судьба-таки жалкая, незавидная судьба, с вечной оглядкой, вечным страхом: что о тебе подумают те, что подумают эти, когда узнают о твоем прошлом? Какие песни можно ожидать от затравленного, раздавленного человека?.. Нет, если я наперед знаю, что скорее всего буду сожалеть о своем безрассудном запирательстве, рано или поздно буду стараться очиститься, почему не поторопиться это сделать тотчас, как только окончательно определилось: надежда на чудо обманула тебя, твоя судьба — в твоих собственных руках? Для Костомарова это определилось окончательно именно в тот момент, когда был найден шрифт. С этого момента перед ним было только два пути: оставаться нераскаявшимся или поспешить очиститься. Долго раздумывать было некогда, надо было

тогда же, во время обыска, решить, какой выбор сделать. Он и не раздумывал — ни минуты не раздумывал, тут же, без колебаний сделал свой выбор. И позже ни разу не пришлось ему об этом пожалеть.

Вероятно, он удивил Житкова, проявив полную готовность отвечать на его вопросы, ничего не утаивая, но пытаясь утаивать, не пытаясь отпереться даже от таких фактов, от которых ему ничего не стоило бы отпереться, например от факта распространения им в Петербурге книги Огарева, отпечатанной студентами еще на первом станке и притом без его, Костомарова, участия, или от того факта, что именно он связал студентов с Михайловым. Вполне возможно, что Житков подумал, будто Костомаров поступил так из трусости, можно было прочесть эту мысль на плутоватом солдатском лице подполковника. Но где было солдату понять, что он, Всеволод Костомаров, находился в исключительном положении, когда больше мужества требовалось для того, чтобы решиться давать откровенные показания, чем для того, чтобы запираться. Всеволод Костомаров решился на трудное испытание, может быть, самое трудное из всех испытаний, какие только могут выпасть на долю человека, решился отныне строить свою жизнь совершенно самобытно, независимо и свободно, не считаясь ни с чьими мнениями и авторитетами, подчиняясь только собственному расчету. Он начинал крупную игру, его партнерами были сильные этого мира, в этой борьбе нужно было мужество и мужество...

2

Второго и третьего сентября в Петербурге была распространена новая печатная прокламация — «К молодому поколению». Распространители этой прокламации, в отличие от распространителей «Великорусса», сами раз-

носили конверты с экземплярами прокламации по намеченным адресам, уже не могли довериться почте, оставляли конверты на лестничных площадках, перед дверьми нужных квартир, и уходили, предварительно позвонив или постучав в дверь. Один из распространителей промчался на лихаче по людным улицам в центре города, раскидывая листки прямо из коляски.

Появление новой прокламации сильно встревожило Третье отделение: еще не были обнаружены издатели и распространители «Великорусса» — и вот опять загадка, которую надобно немедля решать. Новая прокламация отличалась от «Великорусса» и программными положениями, и манерой изложения, явно была делом рук особой группы тайных издателей, причем, судя по печати, печаталась она не в России, скорее всего отпечатана была в лондонской типографии Герцена. Но, конечно, этих данных, извлекаемых из простого сопоставления двух прокламаций, было недостаточно для тех, кто по долгу службы обязан был разыскать виновников и привлечь их к ответственности.

Четвертого сентября, утром, в камеру Всеволода Костомарова на втором этаже тюремного корпуса Третьего отделения вошел Иван Дмитриевич Путилин и показал ему экземпляр новой прокламации, доставленный в отделение одним из тех господ, которым подбрасывались прокламации. Костомаров принялся было послушно читать, но Путилин с подозрительной нетерпеливостью его остановил:

— Оставьте, Всеволод Дмитриевич, у нас мало времени. Всеволод Дмитриевич, я пришел к вам с предложением, которое, я уверен, вас не обидит и не огорчит, а, напротив, порадует, потому что вы тотчас поймете всю его выгоду для себя. А когда я вам открою кое-какие *особенные* обстоятельства, то и захватит, надеюсь. Потому что вы увидите перспективы-с...— у Путилина, когда

он заговорил про «особенные обстоятельства», возбужденно заблестели глаза, но он сдержал себя.— Однако об этом после. Третьего дня, когда мы говорили с вами, помните, об обстоятельствах вашего-с арестования, я выразил удивление, что вы открылись Житкову во всем, в чем он требовал признаний, даже в том, в чем вам, казалось, но было никакой нужды открываться, в чем ваша откровенность, как казалось, вредила вам больше, нежели запирательство. Например, признание вами причастности к делу московской типографии вашего приятеля Михайлова, а также того обстоятельства, что именно вы связали студентов с Михайловым. Но тогда я не понял вас, а теперь,— он как бы нечаянно тронул прокламацию тонким и длинным пальцем с большим бриллиантовым перстнем,— теперь, мне кажется, понимаю-с. И потому пришел к вам. Думаю, незачем и говорить о том, что одобряю ваше решение и от души рад за вас.

Он торжественно умолк, откинулся назад на стуле, всеми силами стараясь придать выражение приязни и восхищения цепкому взгляду своих угольно-черных глаз. Костомаров молчал, ждал продолжения этого двусмысленного вступления. Путилин снова заговорил:

— И вот-с о нем-то,— с какой-то неожиданной веселой и интимной развязностью произнес он, и снова тронул прокламацию бриллиантовым пальцем, и что-то сделал с своими глазами, как бы подмигнул,— о Михайлове-с я и пришел с вами поговорить... Вы, конечно, не станете делать вид, будто не понимаете, о чем идет речь,— вдруг испугался он чего-то, должно быть, не очень-то был уверен в том, что ему удастся чего-нибудь добиться этим разговором.— Речь идет о том, что мне, как вы догадываетесь, известно-с, что издал и распространил эту прокламацию не кто иной, как именно Михайлов, и что вы *знаете*, что Михайлов. То есть вам известен-с, разумеется, не факт распространения прокламации, ее распространи-

ли уже теперь, после вашего ареста, но эта прокламация вам знакома и вы *знаете*, что ее издал Михайлов, издал и собирался распространить. А когда вы знаете это, то могли бы, разумеется, если б пожелали, дать против него уличающие показания... Не отвечайте мне сейчас ничего! — вскинул он руку с бриллиантом.— Не говорите, будто вы ничего этого не знаете. Меня вы не сможете разубедить, а себя — обидите. Уверяю вас, то, что вам предлагается, в ваших интересах в такой же мере, как и в наших. Сейчас выслушайте, а ответ свой дадите после, хотя бы завтра. Или послезавтра. Но не позднее. Увы, мы не можем-с ждать... Видите, я с вами говорю без ухищрений, напрямую, потому что знаю-с: с вами я могу так говорить, мы с вами можем доверить друг другу все... Да, все! Не усмехайтесь прежде времени, прошу вас! Вы, Всеволод Дмитриевич, пожалуй, еще и не подозреваете-с, насколько мы с вами можем оказаться полезны друг другу. Но я-то это знаю, очень хорошо-с знаю... Откроюсь вам совсем. Я сказал вам, будто мне известно о причастности Михайлова к изданию этой прокламации. Это не совсем так. Никаких фактов у меня нет. Тут одно мое убеждение, только. Если вы не пожелаете дать показаний, то и ничего доказать не удастся. Откроюсь еще больше. По вашему признанию, Всеволод Дмитриевич, сделанному вами Житкову еще в Москве, у Михайлова на квартире был произведен обыск...

Путилин на секунду остановился, заметив, как невольно вздрогнул при этом известии Костомаров.

— Да-с, обыск. На основании вашего, Всеволод Дмитриевич, признания,— повторил Путилин с удовольствием, которого не сумел скрыть.— Но хороши были производившие обыск, не нашли ничего, что подтвердило бы ваш оговор. Вовсе не нашли ничего, ровным счетом ничего-с подозрительного. Разумеется, проглядели и эти прокламации. А они, я в этом нисколько не сомневаюсь, в

это время хранились в квартире, преспокойно лежали в каком-нибудь не бог весть каком хитром тайнике. Натурально, на следующий день он стал их распространять... Так вот, Всеволод Дмитриевич. Помогите нам установить виновных в этом деле, а мы поможем вам в вашем деле. Я имею в виду не только ваш процесс, это пустяки, мы сможем вам помочь в осуществлении ваших литературных проектов, *любых*, Всеволод Дмитриевич, проектов, смею вас уверить. Цензуры-то уж во всяком случае для вас не будет... Да что я вам это говорю! Вы сами это очень хорошо-с понимаете... Не отвечайте мне теперь, я не тороплю вас. Подумайте день или два. Я уверен, что вы сами пожелаете сделать нужные признания. Меньше всего мне бы хотелось связывать вашу волю. Только если вы сочтете нужным открыть правду, мы сможем рассчитывать на успех. В противном случае лучше не браться за дело. Итак,— он начал приподниматься со своего стула,— до завтра... или до послезавтра?

— Да нет, зачем же? — остановил его очень спокойно Костомаров.— Я могу и сейчас сделать нужные признания.

Путилин замер, так и застыл на месте в неудобной позе, слегка уже привставши со стула, застигнутый фразой Костомарова, которую он ждал от него, ради которой и пустился в свою рискованную доверительность с ним, а все же не рассчитывал услышать ее теперь. Думал: скажет ее, скажет бывший улан, не тот характер, чтобы остановился на полдороге, чтобы, соблазнившись сомнительными преимуществами, которые добываются откровенными показаниями против себя самого, не соблазнился очевидными преимуществами, которыми могли для него обернуться откровенные показания против Михайлова,— скажет, но прежде помучится, помается, поспорит со своею совестью... А в том, что улану было что показать против Михайлова, если, конечно, Михайлов и в самом деле

был издателем этой прокламации, сомневаться не приходилось: многое, очень многое в отношениях Михайлова и Костомарова, известное Путилину, указывало на их особенную доверительность друг с другом. Не приходилось, впрочем, сомневаться и в самой причастности Михайлова к этой прокламации: за Михайловым, как и за Костомаровым, давно наблюдали агенты, и из их наблюдений складывалась вполне определенная, по крайней мере для Путилина вполне определенная, картина этой причастности; вот только улик, подтверждающих ее, не было...

— Вы действительно можете уличить Михайлова? — вырвалось у Путилина.— Слушаю вас, Всеволод Дмитриевич...

— Нет, извините,— поспешил поправиться Костомаров; вышло довольно грубо, но не до деликатности было теперь,— я имел в виду просить вас передать господину начальнику Третьего отделения или господину управляющему, что я желаю сделать дополнительные признания. Я могу их сделать только лично одному из них...

— Шувалову! — вскричал Путилин.— Его сиятельству графу Петру Андреевичу, только ему!

— Почему только ему? — удивился Костомаров.

— Да потому, что разговор ваш с князем Василием Андреевичем будет пустая трата времени, и когда же он будет? Долгоруков с государем еще в Ливадии. И все равно он сдаст вас на руки графу. Нет, говорить вам надобно с графом! Только с графом и ни с кем другим. Вы увидите, что это за человек!.. Вы увидите...

Путилин говорил, задыхаясь то ли от волнения, вызванного заявлением Костомарова, то ли от избытка восторженных чувств к своему начальнику Шувалову; он, казалось, нисколько не обиделся на Костомарова, отказавшего ему в своей доверительности.

— Что же он за человек? — спросил Костомаров.

— А такой человек, что нам с вами надобно благо-

словлять судьбу, которая свела нас, да, нас, и меня и вас тоже-с, с этим человеком,— с восторженным энтузиазмом запел Путилин, опять настойчиво соединяя себя и Костомарова в одно целое, уж очень, должно быть, важно было ему показать, что он не видит в Костомарове арестанта.— Вы, конечно, думаете, Третье отделение — это бог знает что! Опускные полы, подвалы, где секут, и тому подобный вздор? Я сам всему этому верил, покамест не познакомился ближе с этим учреждением и не понял, в чем его смысл. Правда, что этот смысл не всегда обнаруживается, но теперь-то, при графе Петре Андреевиче, очень-с обнаруживается. Третье отделение — не карающее учреждение, Всеволод Дмитриевич. Да у нас и сил-то таких нет, чтобы карать кого бы то ни было. Третье отделение — только *символ* карающей силы. Самим фактом своего существования мы служим напоминанием для излишне горячих голов о неизбежности кары за преступления против общества и закона. Напоминанием, только! Наша функция предупредительная. Наша задача, как ее определил граф Петр Андреевич при вступлении в должность, заключается в том, чтобы в наступающие трудные для нации времена исключить самую необходимость применения карательных мер. Возможно ли это? Да отчего нет? Но достичь этого можно не иначе, как достигнув единства нации, объединив власть и активные силы общества, соединив их в некий союз. Мы все должны быть едины-с нынче! На этом выводе основана наша деятельность, Всеволод Дмитриевич. Надобно искать пути такого единения и союза. Натурально, все, что мешает этому, должно быть устранено. Главная же помеха общественному прогрессу, а это вы сами очень хорошо-с понимаете, это-то мне и открылось в вас, Всеволод Дмитриевич, именно что вы понимаете, и потому я здесь у вас... и мы разговариваем так доверительно...— снова он задохнулся от восторженного чувства, с прежним выражением приязни и обо-

жания смотря на Костомарова,— вы понимаете, главная помеха прогрессу — разрушительная деятельность радикальной партии. Господа Михайловы и Заичневские своею деятельностью могут достичь одного: ожесточить власть, отбить у нее охоту заниматься дальнейшим гражданским устроением общества. Остановить крайних радикалов — наша задача. Не карать, нет. Остановить. А если карать, то карать для исключения самой необходимости карать. Покараем Михайлова и Заичневского — остановим сотни и тысячи других горячих голов... Это ли не цель, Всеволод Дмитриевич, которой можно-с посвятить себя вполне, отдать ей свои знания и таланты?.. Вы спросите: а как же прогресс, наука, ведь судьба науки в наших бесподобных условиях общественной тишины не обеспечена, наука страдает-с?

— Так что же, теперь, вы полагаете, развитие науки обеспечено?

— Как же-с этого не полагать, помилуйте? Теперь есть основания это полагать! Они созданы программой графа. Корень всему — единство нации. Обеспечим единство нации — обеспечим развитие науки. Как обеспечим единство нации? Об этом можно говорить много, Всеволод Дмитриевич, не будем теперь об этом говорить. Скажу только одно: граф — такой же либерал, как мы с вами, и очень-с понимает: единодержавие должно поделиться властью с активными силами общества. Старинную форму единодержавия должно заменить единодержавие активных сил... И вот-с когда сольются вместе цели и интересы власти и активных сил общества, а значит, и науки, когда наука не будет чувствовать себя, как ныне, сиротою в государстве, сама прикоснется к власти, тогда она получит не меньшей силы толчок к развитию, чем тот, который получает она в обществах беспорядочного состояния и излишеств свобод... Вы хотите что-то спросить?

— Вы обещали открыть какие-то особенные обстоятельства,— несмело напомнил Костомаров.

Путилин усмехнулся:

— Думаете, заболтался — забыл? Нет. Особенные обстоятельства тоже связаны с графом Петром Андреевичем. Особенные обстоятельства — это особенное положение графа. Вы, должно быть, не знаете: граф — близкий человек для государя, они вместе воспитывались, дружны с юных лет, граф имеет на государя большое, очень, Всеволод Дмитриевич, большое влияние,— со значением повторил Путилин.— Стало быть, если стоять близко к особе графа, иметь возможность оказывать на него влияние, это, значит, подумайте-с, иметь возможность через него оказывать влияние... а? Что скажете, Всеволод Дмитриевич, об этой перспективе-с? Не захватит ли дух, когда подумаешь... а? Есть-с о чем подумать, не правда ли? Не правда ли? — вдохновенно смеялся Путилин, поднимаясь.— Однако мне пора. Сейчас иду к графу и сообщу ему о нашем разговоре и вашем заявлении. Так?

— Да.

Путилин побежал было, но от порога вернулся:

— Мне что пришло в голову, Всеволод Дмитриевич? Было бы лучше, если бы вы написали на имя графа несколько строк в виде письма, что ли, в котором и заявили бы о своем желании сделать дополнительные признания. А я передал бы его графу... Бумага, знаете ли-с, впечатляет,— прибавил он, заметив недоумение на лице Костомарова.— Всего несколько строк. Желаю, мол, ускорить ход своего дела, в коем не виновен ни духом, ни важными поступками, и потому хотел бы объясниться... И все.

— Извольте,— согласился Костомаров.

Он написал, и Путилин, забрав письмо, убежал.

Вскоре от Шувалова явился офицер и пригласил Костомарова за собою.

Прошли под аркой во двор с садиком, пересекли его наискосок и вошли в ту дверь, которую Костомаров видел из окна своей камеры. Прошли несколько коридоров, широких и узких, поворачивая то налево, то направо, поднялись на второй этаж, и офицер ввел Костомарова в кабинет Шувалова, большой, с громадными окнами на Фонтанку.

Шувалов понравился Костомарову, в нем больше было офицерского, гвардейского, чем сановного, и слушал он хорошо, просто, как офицер офицера.

Костомаров объяснил, что с Михайловым он виделся за несколько дней до своего ареста, приезжал к нему в Петербург, и тогда Михайлов показывал ему прокламацию, и открыл тайну ее происхождения, и даже предлагал взять с собою в Москву несколько экземпляров, но Костомаров под благовидным предлогом от этого отказался. Прокламация, действительно, была отпечатана Михайловым в Лондоне и тайно привезена им оттуда. Обо всем этом он, Костомаров, не говорил прежде в своих показаниях потому, что это не имело прямого отношения к его делу, делу московской типографии, и он не считал это дело важным, так как не думал, что Михайлов решится распространять эту прокламацию. Но теперь положение изменилось, прокламация распространена, и он считает своим долгом гражданина оказать правительству добровольную услугу и рассказать обо всем.

Что же касается его собственного дела, то он, конечно, повинен перед правительством за совершенные им поступки, которым, к несчастию, не придавал большого значения, в чем теперь и раскаивается, и свидетельством его раскаяния служит его полная откровенность; за эти поступки он готов понести наказание и даже желает наказания. Но он хотел бы, чтобы граф понял: совершая эти поступки, принимаясь за тайное печатание, он действовал не по своей воле или убеждениям — он *вынужден* был

действовать против своей воли и своих убеждений. Тут всему виною, объяснял он внимательно слушавшему графу, проклятая бедность и зависимое положение современного литератора в среде журналистов и издателей, между которыми вынужден выбирать, кому из них отдать свои статьи. А между кем выбирать, когда нет издателей, безразличных к политике, все либо либералы, либо ретрограды? Разумеется, выбираешь либерала, но если хочешь, чтобы твои статьи помещались без задержек, окрашивайся в тот оттенок либерального цвета, в какой окрашен издатель. Так у Костомарова и вышло с редактором «Современника» Михайловым, к которому он попал в зависимость. А как было знать, что у этого редактора в мыслях был тайный станок? Собственные же его, Костомарова, литературные устремления ничего общего не имеют не только с тайными станками, но и с самой политикой, они выше всякой политики...

Шувалов, выслушав эту исповедь, снова заговорил о прокламации Михайлова, сказал, что все рассказанное Костомаровым о Михайлове должно быть записано в форме протокола допроса, на основании которого Михайлов будет привлечен к ответственности, Костомарову же в дальнейшем придется выступить в качестве свидетеля на суде. Костомаров ответил, что он готов это исполнить, но при одном условии: о его предумышленном обличении Михайлова никто не должен знать за пределами Третьего отделения, об этом не может быть и речи ни на следствии, ни на суде, все, что им теперь открыто, должно быть представлено в документах как открывшееся *случайно*. Он, конечно, подтвердит на следствии и на суде все открывшиеся факты и выразит должное раскаяние в преступных связях с Михайловым, но сами факты пусть откроются «случайно». Шувалов сказал, что он ничего не имел бы против этого, но как же это устроить? Очень просто, сказал Костомаров, он все продумал. Свои сведе-

ния о Михайлове он изложит в удобной и естественной форме в письме к кому-нибудь из своих, например, московских приятелей, в письме, написанном как бы еще до ареста, и это письмо пусть будет представлено как отобранное у него при аресте, как бы не отосланное им своевременно.

— Это может быть, например, просьба съездить в Петербург к Михайлову и предупредить его об ожидаемом мною из-за доноса брата аресте,— объяснял Костомаров.— Так ведь и было: я ожидал ареста... Предупредить, чтобы был теперь осторожен, особенно с печатными листками, которые я у него видел. Можно назвать прокламацию полностью, а можно...

— Понятно. Мне не нужно рассказывать подробности,— прервал его на этом Шувалов.— Когда вам так удобнее, пусть будет так. Но это надобно сделать немедленно. Подробности обсудите с Путилиным...

Вернувшись от Шувалова, Костомаров в тот же день написал такое письмо и передал его Путилину. Имя Михайлова и название прокламации в письме были выписаны не полностью, лишь отдельными буквами, но ясно было, о чем речь, что и требовалось следствию.

3

Объясняясь с Шуваловым, он был вполне искренен. В самом деле, не его вина, что жизнь так нелепо устроена, что ставит иной раз человека в положение, когда приходится выбирать между злом меньшим и злом большим, а не добром и злом. Теперь жизнь возвращала его в положение, в котором он был два года назад, когда только вышел из службы и начинал как литератор и еще не имел ни друзей, ни средств к жизни, ни имени, ничего, кроме веры в свой талант да надежды на удачу, которую он тогда связал с «Современником»...

Нет, конечно, он ни в чем не раскаивается, ни о чем не сожалеет. Он сказал Шувалову о своем раскаянии только потому, что этого требовала форма. Не в чем ему раскаиваться! Что было, то было. Он и теперь не может сказать, будто тогда неверно рассчитал, сделав ставку на «Современник»,— нет, не скажет, что неверно. Вопрос в том, какое направление в конце концов возобладает, возьмет ли верх над русской жизнью направление политиков из «Современника» или направление старых тупиц из окружения государя, ретроградных звездоносцев, влиявших на государя конечно же ничуть не меньше, чем либеральные шуваловы,— этот вопрос и теперь был не вполне ясен. А уж тогда, два года назад, когда «Современник» только набирал силу, и подавно ничего определенного нельзя было об этом сказать.

Он возвращался к началу своей литературной судьбы. Как и два года назад, теперь все нужно было начинать сначала... Впрочем, не все. Конечно, не все. Он остался без друзей и без средств, но за эти два года успел составить себе некоторое имя в литературном кругу, его стихи и переводы любили и отличали в журналах и сборниках читатели, да, у него уже были свои читатели, от него ждали новых стихов, ждали поэм,— пройдет немного времени, и снова будут у него и друзья и средства. Все будет! Он станет жить здесь, в Петербурге, выпишет из Москвы мать и сестер, без которых не мыслит своей жизни. Вот только надо скорее выйти из этих степ... У него все еще было впереди! Было будущее, и ради этого будущего стоило пройти через те испытания, перенести те муки, те порой невыносимые страдания, которыми оплачивалось возвращение — «очищение».

Конечно, он мучился, очищаясь. Во время следствия по делу московской типографии и выделенному особо делу Михайлова самым тяжелым испытанием были очные ставки с оговоренными им прежними его товарищами, у

которых он должен был вынудить признания. Он иногда плакал на очных ставках, не выдерживая напряжения игры, сочувствуя своим жертвам, ничем, ведь ничем перед ним не виноватым, лишь волею случая оказавшимся на его дороге. Особенно очные ставки с Михайловым терзали, Михайлова особенно он оплакивал — за беззаботную доверчивость, за бескорыстную, восторженную любовь к нему, Костомарову. И Михайлова он тяжелее всех наказал! Михайлов из сострадания к нему, из благородного стремления своею жертвою облегчить его участь подтвердил-таки его оговор, не вынес его слез, упреков в том, будто бывшие друзья своим запирательством, нежеланием подтвердить его признания все хотят свалить на него одного. Михайлову угрожала сибирская каторга, и он поплатился за свое сострадание Сибирью, получив по суду шесть лет каторжных работ... Это было невыносимо.

И все же нужно было быть твердым, нужно было все вынести, все вытерпеть. Нужно было! Будущее обязывало.

Будущее обязывало, так. Не очистившись, он, конечно, не мог в полной мере осуществиться как личность, лишался возможности вполне развить свой поэтический дар,— нераскаявшийся, ты изгой в среде своего народа. Так. Для него очищение, конечно, стоило любых мук и стоило любых жертв. А для человечества? Вот вопрос, на который он должен был ответить прежде всего. Только после этого он мог ответить на вопрос: а не слишком ли он обнадеживался насчет будущего? Он вовсе не собирался противопоставить себя человечеству, он хотел и впредь служить человечеству, служить делу исторического прогресса своим поэтическим даром; но так ли уж нужен был этот дар человечеству, стоил ли он в глазах человечества такой цены — десятка поломанных судеб? Не больше бы отвечало интересам человечества сохранить эти судьбы, пожертвовав лишь одной его, Костомарова, судьбой?

Нет, отвечал на это Костомаров решительно, не боль-

ше. И не только потому, что судьею тут, в нравственном его споре с его жертвами, мог выступить только он сам, больше никто, поскольку тут решалась и его судьба, и не мог же он не воспользоваться своим естественным правом — предпочесть другим себя самого,— естественным правом независимого и свободного, нового человека, правом, за которым было будущее. Но и оставив в стороне это право, по прямому расчету выгод для человечества, нельзя было не вывести, что его очищение стоило этих жертв. Он был одареннее всех этих людей, это сами они признавали и любили же его за это, главным образом за это. Кроме того, ему уже теперь было что сказать. И в интересах человечества было, чтобы он добивался возможности это сказать. Его право — добиваться этого любой ценой. Человечеству безразлично, кто из нас выходит вперед, я или ты. Кто успел, опередив других, выйти на сцену, первым сказать нужное слово, тот и пророк. А он, Всеволод Костомаров, может сказать то, чего никто не скажет. Уже своей поэмой о любви он скажет то, что теперь всего нужнее человечеству. Это и Чернышевский признал еще весной в Москве, в Марьиной роще. Ради этого можно идти на жертвы. Они окупятся сторицей...

Да, он скажет своей поэмой новое слово — слово о праве, о свободе и об ответственности грядущего, нового человека... И что же, слово, которое может дать человечеству громадную выгоду, сильно двинуть вперед прогресс, это слово не будет принято, будет отвергнуто человечеством только потому, что цена за него — высока? Да не может этого быть никак! И не будет никогда! Он, Всеволод Костомаров, противопоставив себя — не человечеству, нет! — всего лишь нескольким прежним своим товарищам, действовал по своей ли охоте, своею ли злою волею был движим? Нет! Он был движим властью *дурных* обстоятельств. А так ли уж это неизвинительно человеку в его положении? Нет, невозможно допустить, чтобы за *это*

могло человечество покарать виноватого — без вины виноватого — отречением от него.

Человечество всегда было снисходительно к своим пророкам, героям и благодетелям, умело прощать им и невинные грешки, и кровавые преступления. Сколько народу переморил Петр в ходе своей нетерпеливой реформы, и мы, потомки тех переморенных, не слезы их, наших прадедов, не страдания их помним, мы Петра и его реформу помним. Неважную репутацию имел при жизни Жан Расин, для современников он был беспринципным карьеристом и выскочкой, а для нас он автор великих трагедий. Скажет Костомаров свое слово, будет оно свежим и весомым, важным само по себе, по внутренним своим достоинствам, и простится ему его очищение. Вот только нужно своевременно ввести это слово в оборот жизни, позаботиться о том, чтобы оно достаточно закрепилось в памяти общества; успеет он в этом — и победит, время сделает за него все остальное.

О, он теперь понимал, очень хорошо понимал логику жизни, логику бытия человечества! Понимал и принимал ее. Да, мы должны прощать друг другу невольные проступки наши перед другими, проступки, порождаемые дурными обстоятельствами. Он, Всеволод Костомаров, был готов прощать подобные проступки другим. Это не было фразой! Простил же он погубившего его Николку. Мать хотела проклясть Николку за его донос, но Всеволод уговорил ее не делать этого, уговорил и от дома не отказывать, когда явился к ней Николка уже осенью с покаянием,— Николка сам был жертва дурных обстоятельств. Нет, тысячу раз правы те, кто говорит нам: если вы хотите, чтобы человек всегда поступал по-человечески, прежде всего позаботьтесь о том, чтобы он не попадал в нечеловеческие обстоятельства... Готов был Всеволод Костомаров прощать других. Но пусть и другие прощают его. Он вправе этого требовать. Пусть простят...

Начиная свою игру, Костомаров, конечно, понимал, что долго не останутся тайной для общества его оговоры, сведения об этом, конечно, просочатся в публику и многие, многие знакомые и друзья от него отвернутся и слушать не захотят никаких объяснений, если он вздумает объясниться. Мало того. Нечего уже будет и думать о том, чтобы печататься в журналах, подобных «Современнику». Не то что печататься, нечего уже будет думать и о том, чтобы само имя Костомарова когда-либо появилось в этих изданиях, хотя бы было просто упомянуто или хотя бы обругано,— радикалы отныне будут делать вид, будто такого имени и не существует на свете. И даже либеральные издания вроде «Отечественных записок» едва ли с большой охотой будут принимать его сочинения, может быть, и не будут принимать, по крайней мере первое время.

Вот именно, первое время! Но совсем-то не откажутся принимать! Надобно совершенно не знать господ либеральных редакторов, чтобы думать, будто они откажутся печатать талантливого автора, сочинения которого публика читает охотно. И это при том, что не только либеральные и не только радикальные журналы существуют в России.

И не все знакомые и друзья от него отвернутся. Найдутся между ними такие, из самых отзывчивых, которые объяснят оговоры, и оправдают, и еще больше его полюбят — за страдания...

Так и вышло, как он предполагал. На воле узнали о его оговорах еще в сентябре, вскоре после начала очных ставок со студентами и Михайловым. Узнал же Костомаров о том, что о нем говорили на воле, еще в то время, когда содержался при Третьем отделении, узнал, как ни странно, от Насти, ей в октябре разрешили бывать у него. А в декабре он уже был на свободе, в Москве, и мог встречаться с кем угодно, хотя и не имел права без осо-

бого разрешения отлучаться из дому, находился до суда, который все откладывался, под домашним арестом. Оказавшись на свободе, Костомаров вновь принялся за прерванные литературные занятия и издания, тогда-то и смог вполне выяснить отношение к себе и друзей, и издателей.

По-прежнему был готов его издавать Катков — и издал в начале шестьдесят второго года, отпечатал в своей типографии второй его сборник переводов, тот сборник, который обещал отпечатать к осени, но арест Костомарова этому помешал. Теперь отпечатал. В этот сборник Костомаров вставил статью о сербской поэзии, напечатанную в октябре в журнале Достоевского, оставил в сборнике и непеределанную статью о Гейне, переделать которую обещал Чернышевскому, но теперь это уже не имело смысла, да теперь и нужно было печатать статью в первоначальном виде, оставив без внимания замечания Чернышевского.

Милый Берг, преданный товарищ и компанион в издательских предприятиях, оставался преданным товарищем и компанионом и теперь. Он, как и прежде, готов был служить Костомарову своими переводами и капиталом, а теперь еще и добрым именем. Костомаров понимал: первое время, год или два, пока еще свежи будут у всех воспоминания о его несчастном процессе, едва ли удобно будет пользоваться своим именем, это будет вредить изданиям. А они с Бергом задумали издать полное собрание сочинений Гейне, в собственных переводах и в переводах других писателей, и важно было получить согласие этих писателей участвовать в издании. К началу шестьдесят второго года составили два начальных тома собрания, эти два тома и решили издать от имени одного Берга. В качестве редактора и издателя Берг и повел переговоры с писателями.

Взялся Берг прикрыть своим именем и большую журнальную публикацию новых переводов Костомарова из

Гейне. Переводы был не прочь напечатать Краевский в своих «Отечественных записках», но поставил условие: печатать под псевдонимом. Костомаров с Бергом решили, что лучше будет, имея в виду интересы будущего издания собрания сочинений Гейне, печатать переводы от имени будущего их издателя, Берга.

Не отступился от Костомарова и добрый старый его знакомый Александр Петрович Милюков. Конечно, качал головою, не одобрял оговоры, нет, не одобрял, но выслушал объяснения с сочувствием и согласился с тем, что конечно же бывают обстоятельства, когда и самый честный человек, обессиленный страданиями, может быть иногда очень неразборчив в средствах к своему спасению, чего потом уж никогда себе не простит, всю жизнь будет раскаиваться в своей малодушной слабости. Так, соглашался Костомаров, никогда не простит и всю жизнь будет раскаиваться. Но ведь надобно и помочь такому человеку подняться, выправиться? Так, соглашался Александр Петрович, надобно помочь и подняться. И не отказал в просьбе Костомарова взять на себя редактуру многотомной «Истории литературы», первый том которой Костомаров составил еще до своего ареста. Тогда Костомаров еще рассчитывал передать эту работу в «Современник» и приготовил несколько статей на несколько нумеров, ждал лишь возвращения Чернышевского из Саратова, чтобы передать ему статьи, но арест все карты перемешал. Милюков взялся за редактуру с видимою неохотою, но ему, историку литературы, эта работа была интересна, он увлекся, давал дельные советы, и постепенно лед между ними растаял.

Не отступился от Костомарова и другой его добрый знакомый, тоже историк литературы, Степан Носаевич Назарьянц. Тоже помогал ему дельными советами, и не только советами, проверял его переводы из итальянцев для второго тома «Истории». Костомаров вздумал посвя-

тить Назарьянцу этот второй, итальянский, том, спросил его разрешения — и получил разрешение.

Но больше всех поразила Костомарова своим отношением к нему Настя.

4

Путилин выхлопотал ей разрешение посещать Костомарова в качестве сестры милосердия для проделывания лечебных процедур, назначенных Костомарову лекарем. У Костомарова в тюрьме вдруг стала сильно болеть нога, левая, ушибленная несколько лет назад в полку, упал с лошади; боли были в бедре и отчасти в колене, такие боли случались у него и прежде, мучили месяц-другой, потом проходили, теперь, похоже, было то же самое. Лекарь прописал втирания и массаж колена, сперва Костомарова водили в лазарет, но тут объявилась Настя, взялась проделывать эти процедуры прямо в тюрьме — она, как оказалось, была знакома с фельдшерской практикой. Первые дни Настя проделывала процедуры в комнате дежурного офицера, но вскоре ей позволили подниматься в камеру Костомарова. Никто не ограничивал времени их свидания, а бывала Настя у Костомарова почти каждый день всю вторую половину октября, так что они имели время наговориться обо всем, ближе сойтись.

Настя сама пришла к Путилину, когда узнала об аресте Костомарова и о том, что он доставлен в Петербург и содержится при Третьем отделении, попросила его найти способ ей повидаться с Всеволодом Дмитриевичем. Она была очень настойчива, необычайно решительна, и Путилин обещал что-нибудь придумать. Дело удалось устроить без больших хлопот, оно оказалось даже на руку Путилину и его начальству. Было это уже после беседы Костомарова с Шуваловым, после первых важных побед Костомарова на очных ставках, после уличения Михай-

лева, и нужно было хоть как-то отблагодарить узника за его открытия. Форму свиданий подсказала сама Настя. Она предложила Путилину провести ее в тюрьму как сестру милосердия.

С Настею Костомаров так и не виделся после той мартовской ночи, когда бежал от нее, испуганный и растерянный, подавленный свалившимися на него открытиями, решив, что никогда больше не придет к этой женщине, так обманувшей его надежды, его мечты. Но вовсе не думать о ней он не мог и часто вспоминал, легко вызывал из памяти и с тоскливым чувством, подолгу всматривался в ее грустное лицо, тихо мерцающие глаза. С нею были связаны не только мечты о единственной его любви, о чистом браке. С нею связались и мысли о новом слове, которое он призван сказать своей поэмой, посвященной его любви к ней. В поэме он хотел описать ее такою, какою она, как казалось ему, казалось тогда, до мартовской ночи, была в жизни, чтобы это был как бы фотографический, моментальный снимок, это было важно, благодаря такой достоверности образа получал громадную доказательную силу общий вывод о любви как об одном из безусловных оснований нравственности нового человека. Конечно, потом, после той ночи, он мысленно все перестроил в будущей поэме, пришлось придумывать идеальный образ героини, но облик героини, внешние ее черты оставались прежние, Настины черты, слишком срослись в воображении Костомарова эти черты с образом женщины, которую он мог бы полюбить. Продолжая обдумывать поэму, он, конечно, невольно думал и о Насте. И вот теперь, увидев ее после месяцев разлуки, он обрадовался ей как родному, близкому человеку и заплакал, когда узнал от нее, что привело ее к нему и как она жила эти месяцы.

И она о нем думала, и думала более основательно, чем он о ней. Она не шутя приняла сказанные им в ту ночь

слова о том, что он мог бы и жениться на ней, она сама призналась ему в этом. Однако это не значило, будто эти слова заронили в ней какую-то надежду, вовсе нет, но что-то они в ней все-таки заронили, что-то в ней перевернули. Приняла она их — и стала ждать. Чего ждать? И сама не знала. О том, что они когда-либо снова свидятся, она и не думала. Скорее была убеждена, что этого никогда не будет. Вообще не думала о том, что будет, не в ее правилах было загадывать о будущем. Но первое, что она сделала после той ночи,— отказала от дома всем своим знакомым мужчинам, бывавшим у нее прежде, и даже Путилину, всем велела навсегда забыть дорогу к ее дому. Хотела и квартиру сменить — не сменила только потому, что подумала: а вдруг Всеволод Дмитриевич вздумают однажды зайти к ней? Зачем она все это сделала? Затем, что стала ждать. Ждать и готовиться. Опять-таки неизвестно к чему готовиться, но готовиться. К какому-нибудь нечаянному повороту судьбы, который мог бы все изменить. От этого ей стало легче: она могла теперь думать о нем без робости, теперь ей перед ним было легко и просто,— перед ним, воображаемым. Это возвышало душу, придавало всему ее существованию чистый, подвижнический смысл. И когда она узнала об его аресте, в ту же минуту решила, что должна делать: идти к нему, пробиваться к нему, быть подле него, облегчить ему его муку.

Так получилось, что об его аресте она узнала уже тогда, когда в общество проникли сведения о его оговорах и о нем повсюду говорили с осуждением, называли предателем. Это было в конце сентября, она в это время стала бывать в одном семействе, где было много молодежи, обучала вышиванию дочек хозяйки, и здесь-то впервые услышала о деле московских студентов, и о его причастности к этому делу, и о том, что он не только давал откровенные показания, но и помогал следователям уличать своих

товарищей, даже составлял какие-то подложные бумаги (речь, конечно, шла о его фиктивном письме с уликою против Михайлова). Обо всем этом каждый вечер говорили сыновья хозяйки, студенты.

Что же, она не поверила слухам о его предательстве? Да нет, почему не поверила? Поверила, у нее не было оснований сомневаться в том, что рассказывали студенты. Поверила и, несмотря на это, все-таки потянулась к нему, предателю? Так что же, может, не понимала она, что значит предательство? Не понимала, что нет тяжелее греха в глазах людей, нет большего позора? Неужели она была так неразвита в нравственном отношении, что ей было все равно? Или, может быть, она была сознательной и фанатичной сторонницей самовластия, считала любые средства для сохранения самовластия благими и воспринимала оговоры вовсе не как предательство, а как подвиг благоразумия и благородства? Да нет, какая там сторонница! Она была совершенно равнодушна к политике. И уж если все же говорить о ее политических воззрениях, то ее скорее можно было назвать нигилисткой, чем монархисткой, по крайней мере если судить по ее отношению к существующему порядку жизни; спроси ее, хорошо ли устроена жизнь, всегда услышишь одно: «Ничего хорошего...» Так, значит, дело все-таки в нравственной ее неразвитости? Она не понимала, что значит предательство? Нет, она все прекрасно понимала. Иудин грех — что же может быть позорнее? Этот грех никому нельзя простить... Так отчего же ему простила? Отчего потянулась к нему, Иуде? Отчего не разлюбила его, такого?

А ведь любила, это он видел, чувствовал, понимал, любовь привела ее к нему, сюда, в эту полутемную, дурно пахнущую, низкую, странно перекошенную комнату с решетками на окнах, любовь заставляла втирать в его ногу вонючую мазь, тратиться на дорогие передачи с пирожными и мороженым от Излера, любовь была написана

на ее лице, когда она просто сидела подле него на стуле, со счастливым, блаженным выражением слушала его, слушала, как в прежние времена, когда он пускался в свои монологи о литературе. Он и теперь пускался в монологи, только теперь рассуждал о своем процессе, занимавшем все его мысли, но о процессе она пропускала, наслаждалась самим фактом, что она — с ним, что он — снова обращается к ней с мудреной речью и спрашивает ее мнение. Любила его? Да она и не отрицала этого, когда он прямо спрашивал, неужели она и правда любит его? Так как же могла она любить его, такого?

И вот то и было поразительно, что, несмотря на кажущуюся невозможность такой любви, она любила его, любила или готова была любить, лишь бы только он позволил себя любить, во всяком случае принимала его, такого, каков он был, и обожала, и все ему извиняла, все... Понять это было невозможно.

— Но разве можно любить Иуду, предателя? — пытался он все же выяснить, что же она думала, чувствовала, как себе-то объясняла эту любовь.

— Вы не Иуда,— отвечала она убежденно.

— А кто? Предал своих товарищей.

— Вы этого не хотели.

— Мало ли что! Иуда, что ли, хотел? Так уж получилось...

— Нет, не так,— настаивала на своем Настя.— Это не иудин грех. Вы страдали, а он не страдал.

— Страдал! Да разве это оправдание? Вот и Иисус страдал, однако же он никого не предал и не отрекся от своего учения.

— Что — Иисус? Иисус — бог, а вы человек.

— Так. Но ведь и люди бывают разные. Вот те же студенты, которых я оговорил, они же других не оговаривают? Выходит, что они из другого теста. Они — полноценные люди, вот их можно любить, а я — вредное пле-

комое, которое надобно раздавить, потому что простить нельзя. Какая тут любовь...

— Вы на себя наговариваете. Это в вас боль говорит, вы и наговариваете. А вы не хуже других, а, напротив, лучше.

— Чем же лучше?

— Вы добрый. А они никого кругом себя не видят и не слышат, только себя слышат...

— Постой, о ком ты?

— Да хоть о тех студентах, которых... которые с вами...

— Которых я оговорил?

— Которые с вами,— повторяла она, не смея произнести слово «оговор». Она вообще избегала произносить такие слова, как «оговор», «предательство», и сердилась, когда он пытался заставить ее произносить их. Ему же, напротив, доставляло странное удовольствие, конечно, злое удовольствие называть себя и предателем, и Иудой, ничтожеством, дразнить ее этим.

— Да откуда ты знаешь, какие они?

— Знаю. Не этих ваших, а других. Все они на один манер. Ничего хорошего. Каждый свое дудит.

— Вот тебе на! Да ведь они, если хочешь знать, как раз о себе-то меньше всего думают, все их мысли направлены на то, чтобы сделать добро другим, всем! Они о других думают, обо всех!

— Обо всех. А кругом себя никого не видят и не слышат,— упрямо стояла на своем Настя.

— Нет, ты несправедлива. То, о чем ты говоришь,— это внешнее. Это то, что на поверхности. Оболочка. А по существу, это хорошие люди. Мало сказать, хорошие. Это цвет нации, если хочешь знать,— оправдывал он своих прежних товарищей, однако аттестацией Насти был доволен, сам склоняясь судить об этих людях строго. И его шокировала эта внешность, эта оболочка его прежних товарищей, резких, нетерпеливых, нетерпимых к мне-

ниям других, вечно спешащих куда-то и в этой спешке ко всемирному счастью способных мимоходом задеть, обидеть невинного человека, из ближних своих, и не заметить этого,— где уж замечать ближних, когда думаешь обо всех сразу — и о ближних и о дальних вместе, а больше о дальних? Его самого, Костомарова, сколько раз мимоходом задевали, не замечая этого, тот же Михайлов или даже Чернышевский хотя бы тем, что всегда как бы крупно одалживались, как бы снисходили до общения с ним, всегда как бы делали над собою усилие, отвлекаясь от своих необыкновенно важных и интересных занятий для разговора с ним, одни письма Чернышевского к нему с непременными извинениями за краткость, так как, видите ли, ему некогда, чего стоили... Но, конечно, ничуть не были лучше новые товарищи Костомарова, воспитанные и вежливые и никуда особенно не торопящиеся Путилины и Шуваловы, эти-то вовсе ни о чем таком не думали — ни о дальних, ни о ближних, думали только о себе. Уж на этот-то счет он, Костомаров, не заблуждался.

— Значит, я — лучше? Хотя и Иуда?

— Вы не Иуда. А оступиться всякий может.

— Оступиться! Да почему ты знаешь, что завтра я не сделаю то же самое?

— Не сделаете.

— Это почему же?

— Вы бы так не страдали, если бы это было вам легко сделать.

— Нелегко. Ну и что? А вот надобно будет, так сделаю. Знай же: мне вот еще одно надобно будет сделать. Теперь ли или потом когда, но надобно будет. То, что теперь было, пустяки, мелочь в сравнении с тем, что будет. Конечно, если я на это соглашусь. А согласиться надобно. Иначе все, что теперь сделано, пропадет, не будет иметь смысла. Понимаешь? Никакого смысла! Так вот возьму и сделаю. Что, не веришь? Думаешь, не сделаю?

Она бледнела, мертвела, когда он говорил так, но держалась упорно:

— Может, сделаете, а может, и нет. Никто из нас не может наверно знать, что мы сделаем завтра. Что об том загодя говорить?

Однажды он объявил ей, что, кажется, понимает, почему она так снисходительна к нему. Он был не в духе, все ее задирал, пока она массировала его ногу, потом прибирала в камере (могла бы и не делать этого, солдаты каждое утро прибирали), потом перебирала яблоки в корзине с фруктами, которую она же завела у него и следила, чтобы фрукты всегда были свежие.

— Да, кажется, теперь понимаю,— сказал он, глядя на нее задумчиво.— В сущности, в твоих интересах то, что случилось со мною. В твоих, чего уж там. Я представляюсь тебе всех лучше не потому, что действительно лучше, а потому, что для тебя, и правда, лучше. Именно — для *тебя*.

Она смотрела на него с ужасом, умоляя взглядом не мучить ее, но он уже не мог остановиться, мелькнувшая в уме догадка захватила его.

— Твоя линия какая? Мы оба — грешники. Я так нагрешил, что мне теперь, если искать себе друга женщину, так только между такими же грешниками, каков сам. Между грешницами вроде тебя. Так ведь ты думала? То есть не думала, нет. Но чувствовала — не так ли? — Он сделал паузу, чтобы больнее ударили безжалостные слова, которые уже приготовил в уме.— Ну так знай же: я на тебе не женюсь никогда. Слышишь? И думать об этом не смей. Какой ты мне друг? Мы не можем быть вместе. Этого не будет. Никогда. Пропадать буду, а о тебе не вспомню. Ты мне не нужна. Как ты не понимаешь, что ты меня оскорбляешь уже тем, что ходишь ко мне, заботишься обо мне? Зачем ходишь? Не ходи больше!

Она заплакала и плакала, не отворачивая лица, не вытирая слез.

— Что, довольна? И теперь будешь говорить, что я лучше всех? — Ему почему-то захотелось заставить ее ответить.— Будешь или нет? Что ты молчишь? Говори: лучше ли я всех? Лучше?

— Да! — ответила она с беспомощной досадой, по-детски.

Как уже бывало, когда он доводил ее до слез, он тут же и смягчился, его боль прошла.

Он принялся ее утешать:

— Успокойся, я вовсе не собираюсь всю жизнь только тем и заниматься, что оговаривать добрых людей. Вот только еще одно дело надобно будет сделать. Все-таки придется сделать. Да ты не пугайся, в сущности, ничего страшного нет. Может, еще и не придется. Но, видишь ли, надобно. Надобно, стало быть, пожалуй, придется. Сделаю — и буду чист. И начнем мы с тобою все сначала. И ты и я. Вместе. А почему нет? Ты забудь о том, что я тут сказал, что мы будто не можем быть вместе. Почему не можем? У нас все впереди. Мы с тобою молоды и талантливы. Мы много что можем. И нам много что можно! Много! Вот только надобно выйти отсюда скорее. Так ведь? Ну, успокойся же. И объясни мне, пожалуйста, из каких доходов ты делаешь эти дорогие подношения?

Успокоившись, она объяснила, что тратится на него не из скудного своего дохода, не из выручки за вышивание, а из капитала, который ей достался от ее барина, подарившего ей эти деньги на обзаведенье, но она их не трогала до поры, а вот теперь пришла пора. Он вспомнил, что с этим капиталом была связана какая-то тайна, которую Настя почему-то отказалась ему открыть весной, когда у них однажды зашел разговор об этих деньгах, отказалась объяснить назначение этих денег. Теперь он

снова спросил об этом, и на этот раз она объяснила. Эти деньги с набежавшими процентами, почти пять тысяч, она оставляла на посмертное свое завещание, отказывала их по завещанию тверским своим знакомым, мастерицам-вышивальщицам, на развитие их ремесла: «Думала, умру, так хоть какая от меня польза будет». В Твери еще жила мастерица, обучившая Настю шитью, одинокая добрая женщина, подбиравшая детей-сироток, приваживавшая их к ремеслу, и Настю так привадила, вот ей и назначались эти деньги, ей или кому-либо из ее воспитанниц с условием организовать артель вышивальщиц. Об артели как средстве сохранить старинный промысел говорила всю жизнь эта добрая женщина, но для организации дела нужны были деньги. Теперь послать деньги Настя не считала для себя возможным, не находила это удобным — неизвестно было, как приняли бы ее дар мастерицы,— и анонимно посылать деньги ей не хотелось, а вот по завещанию передать капитал было удобно во всех отношениях. Но теперь всего важнее было спасти его, Всеволода Дмитриевича.

В том, что деньги, предназначенные на развитие старинного промысла, на развитие искусства, были теперь обращены на устройство его, Костомарова, судьбы, тоже ведь назначенной послужить развитию искусства, в этом, несомненно, был какой-то знак. Знак важный, знак волнующий. Настя с ее любовью и этим знаком послана была ему судьбою в добрый час. Любовь, как всегда, как было во все времена и повсюду на земле, укрепляла веру поэта в себя, в свою звезду, в свое назначение.

5

Дело, о котором он говорил Насте, было очередным, чрезвычайно важным и совершенно необходимым для него этапом очищения.

Простого очищения, конечно, было вполне достаточно для того, чтобы власти оставили его в покое, дали возможность тихо и мирно сидеть в углу. Но если вы поэт, имеющий сказать новое слово, вам этого мало. Вам надобно позаботиться о том, чтобы ваше слово широко распространилось, чтобы оно было авторитетно для публики, чтобы с ним считались, считались — в идеале — так, будто это слово самой власти. И тут без опоры на власть не обойтись. Тут примером может служить Катков. Он единственный из российских журналистов добился привилегии говорить вещи, непозволительные по всем статьям цензурного устава. Его слушает вся Россия, с его словом не могут не считаться его противники. Он достиг этого годами подвижнического служения власти. Надобно достичь того же результата, но скорее. Есть только одно средство для этого — совершить героический подвиг. То, чего не достигнешь и за годы подвижничества, можно достичь героическим подвигом за считанные дни. Ему, Всеволоду Костомарову, надобно стать героем в глазах власти. Весь вопрос только в том, как это сделать, есть ли у вас возможность совершить героический подвиг.

Да, у него такая возможность была. И связана она была с именем Чернышевского. Это и было то дело, о котором он говорил Насте.

О Чернышевском он, конечно, думал с первых же дней, когда начал очищаться, но молчал о нем, потому что о нем никто ничего не спрашивал, имя Чернышевского не упоминалось ни в доносе Николки, ни в вопросных листах следователей,— называть его имя было излишне для целей простого очищения. Мало того, называть это имя было даже и вредно: приплетать к делу еще и Чернышевского или и других петербургских знакомых, например Шелгунова, людей со значительным общественным положением, значило показывать себя

участником обширнейшего, нежели это открывалось следствием, заговора, ничего хорошего от этого нельзя было ожидать. Когда понадобилось сказать несколько больше, чем нужно было для простого очищения, он сказал о Михайлове, открыл его причастность к лондонской прокламации. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы заслужить полное доверие и признательность власти. Но, конечно, этого было недостаточно, чтобы стать ее героем. Михайлов был не такая фигура, за которую могли быть дарованы привилегии героя. Однако это был предел, выше которого поднимать ставку было пока опасно.

Так бы, возможно, и молчал о Чернышевском, если бы начиная с сентября это имя не стало приобретать особого значения в глазах власти, не стало вдруг обрастать всевозможными слухами, паническими пересудами о каком-то его необыкновенном влиянии на общество, на образованную молодежь, не выросло в течение нескольких месяцев до титанических размеров, так что уже к началу нового, шестьдесят второго года многим он представлялся Голиафом, перед которым трепетала и была бессильна власть. В этих условиях, уж конечно, мог быть признан героем тот, кто повалил бы этого Голиафа.

На Чернышевского обратили внимание в связи с сентябрьскими беспорядками в университете. С первого дня занятий, с 18 сентября, в университете происходили сходки студентов, протестовавших против новых студенческих правил, изданных новым министром просвещения адмиралом Путятиным. Этими правилами отменялись разные права студентов, а главное, вводилась плата за учение для тех студентов, которые прежде освобождались от нее по бедности, таких было большинство. На общей сходке 23 сентября студенты решили не подчиняться новым правилам, плату за учение не вносить, требовать от правительства отмены правил. Правительство закрыло

университет. В ответ студенты провели 25 сентября уличную демонстрацию, прошли — невиданное в России зрелище! — тысячной колонной через весь город, по Невскому, от университета до квартиры попечителя, жившего в Колокольной. В тот же день некоторые из демонстрантов были арестованы. Демонстрации и сходки происходили и в следующие дни, и снова были аресты, в октябре едва ли не половина университета, несколько сот человек оказались в заключении в Петропавловской крепости и Кронштадте. Чернышевского, незадолго перед тем вернувшегося из Саратова, видели между студентами-демонстрантами в Колокольной 25 сентября, позже обнаружились другие факты его связей со студентами, вспомнили кое-какие его публичные выступления, обратили внимание на кое-какие его статьи в «Современнике», равно и на статьи его литературных оппонентов, особенно статьи Каткова, давно изобличавшего в Чернышевском революционера, сопоставили все эти факты и сделали вывод: он — один из главных возмутителей студентов, их кумир, их вождь.

Теперь каждое его появление в обществе замечалось властью, обсуждалось в канцеляриях, оставляло след в переписке чиновников разных ведомств, главным образом, конечно, в бумагах Третьего отделения. Не остались без внимания ни его хлопоты как члена комитета Литфонда о выдаче Литфондом денежного пособия арестованным студентам и об учреждении специального второго отделения Литфонда для оказания и в будущем подобной помощи жертвам студенческих волнений, ни его попытка получить разрешение прочесть курс лекций по политэкономии в образованном студентами после закрытия университета Вольном университете, попытка, естественно, пресеченная министром просвещения. Мало того, с октября Третье отделение установило за ним постоянное агентурное наблюдение, агенты поселились

в доме напротив и каждый день доносили о том, чем занимается Чернышевский, куда ездит, кого принимает у себя.

Обо всем этом Костомаров узнавал от Путилина, который сообщал все эти сведения, конечно, под большим секретом, и не всегда прямо, чаще какими-то идиотскими полунамеками, тем не менее сообщал, и его откровенность могла бы поразить, если бы с самого начала не было ясно, что у Путилина был дальний прицел. Впрочем, он и сам вскоре объяснился.

Однажды он объявил — опять-таки, конечно, под страшным секретом,— что, как ему недавно стало совершенно точно известно, сам государь считает Чернышевского первым врагом существующего порядка, вреднейшим даже, чем Герцен, поскольку пропагирует социальный переворот в подцензурном журнале, более того, считает его своим личным врагом и был бы рад, об этом государь так прямо и сказал в кругу близких ему лиц, от одного из которых это и слышал Путилин, был бы рад, если бы правительству удалось без лишнего шума, законным порядком упрятать этого господина за решетку. И правительство было бы радо. Тем более был бы рад скорее отделаться от Чернышевского новый управляющий Третьим отделением генерал Потапов, сменивший Шувалова. Потапов готов действовать решительно, Путилин это подчеркивал, решительно. Но нет фактов. Чернышевский осторожен, и даже агентурное наблюдение ничего не дает. Не за что ухватиться. И вот если бы Всеволод Дмитриевич помог правительству в этом деле, как он помог в деле Михайлова, а у него, конечно, могут оказаться некоторые возможности, не может быть, чтобы их не было, он был в таких близких отношениях к «Современнику» и к самому Чернышевскому, если бы он сделал это, его услуга уж конечно была бы правительством оценена не так, как в деле Михайлова.

Костомаров сказал Путилину, что попытается.

Разговор с Путилиным происходил в Москве под Новый год, и в Москве же, но уже в новом году, вскоре после этого разговора, Костомаров виделся с Потаповым. Потапов оказался человеком деловым, сугубо практическим, он не был политиком, как Шувалов, и разговор повел в чисто деловой манере. Прямо сказал: пусть господин Костомаров примет к сведению, что в оригинале прокламации «Барским крестьянам» есть ошибка — вместо «временнообязанные» написано «срочнообязанные». Может быть, это пригодится господину Костомарову при подготовке улик. А они должны быть. Делайте, что хотите, важно, чтоб они были. Если понадобятся какие-то бумаги самого Чернышевского, это нетрудно устроить...

И неожиданно сделал предложение: если у Костомарова встречаются затруднения с изданием его работ, он может рассчитывать на помощь Третьего отделения, может печатать книги в типографии Третьего отделения. Более того, дал понять, что в некоторых случаях отделение могло бы даже взять расходы по изданию на себя. Костомаров тут же и поспешил воспользоваться предложением, попросил пристроить к отделенской типографии «Историю литературы», над вторым томом которой он теперь работал, рассчитывая скоро кончить. Потапов обещал это сделать.

6

Вернувшись от Потапова, Костомаров достал из тайника хранившиеся у него два письма Чернышевского, стал их перечитывать. Эти письма не заключали в себе прямых указаний на причастность автора к тайному печатанию, собственно, вовсе этих указаний не заключали, в них речь шла о делах житейских — о стихах Костома-

рова, помещаемых Чернышевским в «Современнике», об уроках в корпусе, похлопотать о которых для Костомарова Чернышевский вызывался в который уже раз. Правда, было когда-то в руках Костомарова еще одно письмо Чернышевского, адресованное не к нему, а к Плещееву, лишь отданное Костомарову для передачи Плещееву, но как-то оно затерялось в вещах, своевременно передано не было, а когда нашлось, передавать было уже неудобно, и Костомаров его уничтожил. Предварительно, однако, прочитал его. В том письме были кое-какие намеки, которые можно было бы расшифровать как указания на конспиративный характер отношений Чернышевского с рядом лиц, в том числе с самим Костомаровым, из этих указаний можно было свить ниточку, которая протянулась бы к типографии.

И была еще записка, адресованная Чернышевским Костомарову. Когда Костомаров был в Петербурге в апреле миновавшего года и жил в Знаменской гостинице, Чернышевский зашел к нему, не застав Костомарова, оставил эту записку. Но, как и оба сохранившихся письма Чернышевского, записка не содержала никаких интересных сведений, в ней было всего два слова, написанных карандашом: был, зайду позже, и все. И подпись. Подпись одной буквой «Ч». Записка эта тоже, как и письмо к Плещееву, как-то затерялась в вещах, пропала. Но, если бы нужно было, Костомаров мог бы в точности ее восстановить, и не только текст, который и теперь стоял перед глазами, но и руку Чернышевского мог бы в точности воспроизвести, это он умел делать, в корпусе была такая игра, подделывали почерки друг друга и почерки командиров, педагогов,— ничего, у него получалось. Притом их с Чернышевским почерки сходны. Но не было смысла это делать: содержание записки ничего не давало. Вот если что имело бы смысл восстановить, так это письмо Чернышевского к Плещееву!

Мысль показалась занятной, Костомаров пересел к столу, взял лист бумаги, попробовал писать почерком Чернышевского, припоминая, что было в том его письмо к Плещееву.

Написал несколько строк и остановился, вдруг пришло в голову: да ведь та карандашная записка Чернышевского просто кричала об отношении Чернышевского к тайному станку, приходил-то Чернышевский к Костомарову в гостиницу для разговора о станке! Его записка вполне могла бы содержать упоминание о станке... Вспомнил, как незадолго перед тем Чернышевский в Москве, в Марьиной роще, советовал ему исправить в тексте прокламации «срочнообязанные» на «временнообязанные». Об этом же говорил и Потапов...

Да, конечно, Чернышевский был автором текста. Так. Могла быть такая записка. Мог Чернышевский тот свой совет насчет временнообязанных передать не на словах, а запиской. И было бы справедливо, ближе к правде жизни, если бы такая записка теперь существовала.

Взял чистый лист бумаги, карандаш и написал, текст сложился сам собой:

«В. Д. Вместо «Срочнообяз.» (как это по непростительной оплошности поставлено у меня) набирите везде «временнообяз.» — как это называется в Положении. Ваш Ч.»

Перечитал и засмеялся от удовольствия — вышло превосходно, сам Чернышевский не заподозрил бы обмана, если бы действительно писал когда-то что-либо подобное. Вот и улика! Чем не улика? По справедливости-то, по правде-то жизни?

Еще раз перечитал, сравнивая написание букв в записке и в подлинных письмах Чернышевского. И вдруг заметил ошибку в слове «наберите» — вместо «е» написал «и». Взялся было исправить, но руку остановила озорная мысль: да кто на это обратит внимание? Разве

сам Чернышевский. Но станет ли он об этом заявлять? Только вызовет улыбки у судей, если вздумает отрицать свое авторство на том основании, что он, видите ли, не мог допустить такую ошибку. Нет, пусть остается. Забавно: если записка пройдет как улика, эта ошибка пристанет к нему, как банный лист. Будущий историк, в каком-нибудь десятом поколении после нас, прочтет записку и удивится: смотрите, а Чернышевский-то писал с ошибками!.. Забавно.

Вот только надобно, чтобы бумага немного потемнела, как бы от времени.

Он вышел из-за стола, положил листок с текстом записки на подоконник, на солнце. И снова вернулся к столу, к письму, адресованному Плещееву.

Глава седьмая

1

Еще в сентябре, когда Николай Гаврилович спешил из Саратова в Петербург, подгоняемый новыми слухами об арестах (уже в дороге узнал об аресте Михайлова), первой его мыслью и первым, страстным желанием было поскорее увидеться и поговорить наконец с Добролюбовым. Поговорить обо всем. Это желание было так остро, так нестерпимо, так томили и мучили нехорошие предчувствия, что, когда он добрался до Москвы, не стал здесь задерживаться, хотя надо было бы задержаться на день-два (об этом просил Катков, к которому заехал, переезжая с Владимирской станции на Петербургскую, заехал по его же приглашению, получив от него письмо перед самым отъездом из Саратова,— снова возник вопрос об отложенном весною адресе против цензуры, снова у Каткова совещались редакторы, рассуждали, не пора ли дать ход адресу и если дать, то какой), решил, что лучше он через день-два специально приедет из Петербурга, если еще будет надобен в Москве, но прежде повидается с Добролюбовым.

Странно складывались их отношения. Не было для Чернышевского человека ближе и дороже, чем Добролюбов, единственно с ним он чувствовал себя свободно и непринужденно, был вполне на равных, был не старшим товарищем, как было в отношениях с молодым Обручевым или даже с Анной Аркадьевной, тоже ведь редкими

и не менее, чем Добролюбов, дорогими и близкими ему людьми, но именно в полной мере был на равных, с ним он мог говорить обо всем и мог быть уверен, что тот понимает все. Конечно, и с этими двумя можно было говорить обо всем и можно было не сомневаться, что и они понимают все. Но только Добролюбов мог все понимать точно так, как понимал сам Николай Гаврилович. И с Добролюбовым-то почти не случалось говорить обо *всем*. Почему? Потому ли, что сдержанны мы уж очень, очень рассудительны, стесняемся проявления чувств, стыдимся лишних слов, когда и без слов понятно, о чем каждый из нас думает, а значит, что же и говорить? И говорим, когда встречаемся, о всяком вздоре? Даже если встречаемся после годовой разлуки?

Ведь так и было, когда встретились в августе, по возвращении Добролюбова из-за границы. Обнялись, Добролюбов, бородатый, высокий и, кажется, еще подросший на теплых европейских ветрах и солнце, по-медвежьи помял спину Чернышевского, невольно приподнимая его над полом, потом сели в кресла, помолчали, пока Чернышевский закуривал сигару, и заговорили — о вздоре: о рукописях «Современника», которые Чернышевский, прежде чем уехать в Саратов, должен был передать Добролюбову, о письмах, полученных редакцией, на которые надобно было ответить, об отношениях с цензорами, об общих знакомых, старых и новых, о том, кто из них где теперь и чем занимается. Между тем им далеко не все теперь было понятно друг о друге, за год, что они не виделись, оба изменились и изменилось многое вокруг них, по крайней мере из переписки их друг с другом оба увидели, въехавши в последние месяцы в странные недоразумения, которых не умели в письмах разъяснить, что теперь не с былой легкостью понимают друг друга. Тем не менее, встретившись, заговорили о вздоре. О том, что оба накопили и что нужно было разъяснить, так и не собра-

лись поговорить до отъезда Чернышевского в Саратов...

Но и после Саратова, когда встретились, не стали об этом говорить.

В Петербурге прямо с московского поезда, утреннего, раннего, не заезжая к себе домой, примчался Чернышевский к Добролюбову, рассчитывая захватить его в это время на квартире одного и тут же поставить перед ним свои вопросы и потребовать, чтобы он поставил свои вопросы. Добролюбов сам открыл ему, вышел на звонок в шубе поверх ночной рубахи, звонок поднял его с постели, он был один в большой квартире, нетопленой, холодной, сырой. И что же? Обнялись — и как будто незачем уж было говорить, все как будто и без того сделалось ясно. Они снова вместе, целы покамест, Добролюбов как будто здоров, что еще нужно? Все остальное вздор... А потом уже было не до разговоров. Жизнь закрутила так, что только успевай поворачиваться.

С началом студенческих волнений в университете как бы что-то прорвало в общественных настроениях, летнее оцепенение общества, вызванное скорым и жестоким успокоением крестьянской деревни, сменилось общим возбуждением, все вдруг заговорили, и заговорили громко, возмущенно, во всех гостиных читали вслух записки заключенных в Петропавловскую крепость студентов, тайно передававшиеся на волю, читали переданные на волю стихи одного из студентов, Николая Утина, обращенные к Михайлову, которого в октябре перевели из тюрьмы Третьего отделения в крепость, и ответные стихи самого Михайлова. В стихотворении Утина, воздававшего от имени всех арестованных студентов «дань любви и участия» поэту, который «сеял доброе семя», «вещал слово правды», особенно выделяли строки: «Верь — плод взойдет, и наше время отмстит сторицею врагам...»

В Москву ехать Чернышевскому не понадобилось, на другой же день после его возвращения в Петербург Катков известил его, что ехать ему не нужно, москвичи уже дали ход делу, решились воспользоваться подвернувшимся удобным случаем и передали адрес, хотя и не всеми российскими журналистами подписанный, но все же как бы от имени всей журналистики, новому министру внутренних дел Валуеву, в ведение которого переходило цензурное ведомство. Решились на это и поспешили с этим москвичи потому, что передать адрес Валуеву вызвалась одна очень важная особа, имя особы посланный почему-то не мог назвать, но дал понять намеком, впрочем, и без намека об этом можно было догадаться, что особою был брат императора великий князь Константин Николаевич, и прежде сочувствовавший либеральной журналистике. Передали — так передали. Тем лучше. Хотя едва ли можно было возлагать какие-либо надежды на Валуева, человека образованного, да, изъясняющегося либеральным языком, так, а все же человека Муравьева и графа Панина, вождей крепостников. Едва ли он мог обратить серьезное внимание на либеральный проект, хотя бы и переданный ему из рук в руки великим князем, тоже ведь известным либералом. Так и вышло, конечно, как обнаружилось довольно скоро, Валуев похоронил проект в архивах своего министерства.

Никогда прежде не доводилось Чернышевскому видеть у себя дома такое множество разных лиц, как в эти осенние месяцы. Ежедневно по нескольку человек — студенты, офицеры, молодые чиновники — входили в подъезд большого серого дома на Большой Московской, поднимались на несколько ступеней и звонили в дверь с медной дощечкой «Н. Г. Чернышевский». Большинство посетителей приходили с тем, чтобы узнать мнение Николая Гавриловича о происходивших событиях и их возможных последствиях, некоторые из посетителей приносили тет-

радки с описанием засвидетельствованных ими жестокостей полиции или солдат, разгонявших студенческие сборища здесь, в Петербурге, или в Москве, где тоже волновались студенты, приносили эти свои свидетельства не для передачи их в «Современник», понимая, что напечатать это нельзя, а для сведения Чернышевского, видя в нем негласного и пристрастного летописца этих событий. Были посетители, которые просили указать, что им делать, чтобы подняться выше типа просто либеральных господ. Были и такие, которым хотелось лишь посмотреть на человека, о котором в обществе ходили слухи как о тайном коноводе студентов, вдохновителе всех их буйств. В первые недели, когда, по остроте положения, он и сам жадно тянулся к каждому человеку, любая принесенная с улицы весть была важна, с этим столпотворением приходилось мириться, хотя надобно же было делать и повседневную работу, и писать для «Современника», и готовить для печати, проверять и поправлять переводы из очередных томов «Истории» Шлоссера, присылавшиеся от переводчиков небольшими кусками почти каждый день, и читать корректуры, которых сильно прибавилось после того, как снова заболел и слег в конце сентября Добролюбов. Но приходилось мириться; приходилось выгадывать для диктовки статей время между визитами посетителей или писать ночью, спать в эти напряженные дни удавалось не больше, чем по два-три часа в сутки.

Конечно, долго так не могло продолжаться. Постоянное напряжение и недосыпание давали о себе знать, он стал замечать, что иногда вдруг, ни с того ни с сего, у него начинали дрожать руки, появилась какая-то неприятная резь в глазах. А затем произошло событие, после которого он уже был просто вынужден ограничить прием посетителей.

4 октября был арестован Владимир Обручев, агентам

Третьего отделения удалось установить, что он был одним из распространителей «Великорусса». Известие об аресте Обручева тяжело подействовало на Чернышевского, у него было такое ощущение, как будто это произошло с ним самим, будто не Обручев погиб — погибла, отлетела, умерла какая-то часть его самого. Притом ощущение, что произошедшее с Обручевым произошло с ним самим, Николаем Гавриловичем, очень скоро приняло вполне конкретную форму: он физически явственно почувствовал, что тоже лишился свободы, лишился почти в той же мере, что и Обручев, почувствовал, что за ним следят. А вскоре получил и прямые доказательства слежки. В этих условиях уж конечно неразумно было бы держать двери квартиры открытыми настежь для всех и каждого. Он установил для случайных посетителей один приемный день в неделю — среду. Ежедневно продолжал принимать лишь некоторых из своих знакомых да товарищей и помощников по редакции «Современника». Этих тоже, впрочем, было немало.

Между теми, кто мог бывать у него ежедневно и во всякое время, были братья Серно-Соловьевичи, Слепцов, старший Обручев, с ними Чернышевский встречался в эти месяцы особенно часто. Впрочем, встречи их большею частью происходили не у него на квартире, а где-нибудь на стороне, у общих знакомых, в общественных местах. После провала «Великорусса» эти молодые люди еще больше сблизились между собою, объединенные мыслью о тайном обществе, которое организационно связало бы вместе все революционные кружки в России. К осени был уже готов устав будущего общества, в основу строения общества решили-таки положить принцип пятерок, но при этом и то решили, что число присоединяемых к обществу не должно быть слишком велико, каждый член организации имел право составить около себя только одну пятерку, сведения о присоединяемых

должны были сообщаться снизу вверх, таким образом, весь состав общества мог быть известен только центру. Делалось это с целью не допустить провала всей организации в случае ареста кого-либо из членов и вынужденной, по неопытности, откровенности на допросах или предательства. («А если в центре обнаружится предатель? — спрашивал Николай Гаврилович.— В таком случае полного провала не избежать?» На это отвечали, что вероятность полного провала при избранном принципе строения общества все же меньше, чем если бы каждый знал всех. Впрочем, соглашались, надобно искать лучший принцип.) Предел же количественному росту организации положили для того, чтобы, возможно скорее освободив членов от забот, связанных с вербовкой новых членов, направить всю их энергию на прямую пропаганду в народе, результат которой должен был, как надеялись многие, сказаться весной 1863 года, с окончанием срока введения уставных грамот.

Программой нового общества положили считать, по крайней мере на первых порах, прокламацию Огарева «Что нужно народу?». Прокламация эта, написанная Огаревым и отпечатанная в Лондоне в типографии Герцена, была, по существу, коллективным творением, в проектировании ее вместе с Огаревым участвовали и старший Серно-Соловьевич, и Обручев, и Слепцов, бывшие в то время за границей. Мог бы считать себя участвовавшим в ее проектировании и Николай Гаврилович, его прокламация «Барским крестьянам», копию которой возил с собою весной за границу Михайлов, сам сделавший эту копию, была перед глазами проектировавших, некоторые места коллективной прокламации были чуть ли не выписками из нее. В первой строчке этой прокламации упоминались слова «земля» и «воля», и кто-то из молодых людей, кажется, кто-то из Серно-Соловьевичей предложил так и назвать новое общество — «Земля и Воля».

На основе огаревской прокламации и решили собирать силы, привлекать в организацию всех, кто был склонен и способен разделять положения этого документа. К этой работе энергичные молодые люди и приступили теперь, осенью.

Николай Гаврилович участвовал в обсуждении всех проектов и всех бесчисленных затруднений, возникавших у организаторов нового общества, молодые люди шли к нему как к знатоку и авторитету в вопросах революционной теории, его критику и советы принимали с уважением, с ним не спорили. Да он и не предлагал того, что могло бы вызвать долгий спор, отвлечь молодых энтузиастов от *дела*. Он уже однажды ожегся на этом — в отношениях с Михайловым и Шелгуновым. И сам он и Михайлов с Шелгуновым были бескомпромиссны в спорах, и что же оказалось в результате? Между ними образовалась пустота, на свет явилась незрелая прокламация, и за нее-то должен был теперь заплатить годами каторги Михайлов. Нет уж, лучше останься со своею недоказанной правдой, докажи ее когда-нибудь после, но не поставь ее между собою и достойными людьми. Не те времена, чтобы цепляться за слова. Прошла пора слов. Пришла пора проверить слова делом. Другого выхода нет. Так. Кто-то недавно это сказал... Да, сказала умница Анна Аркадьевна. Другого выхода нет.

Так поступил, например, когда обсуждали вопрос о программе общества и только еще решали, считать ли программой огаревскую прокламацию. Конечно, было ясно, ясно до очевидности: эта прокламация была пригодна для распространения в народе, но никак не годилась в качестве политической программы общества, на ее основе, заключавшей в себе, по существу, один крестьянский вопрос, можно было объединить единомышленников лишь по крестьянскому вопросу, значит, в дальнейшем, когда бы дошло до выяснения взглядов по другим вопросам

жизни нации, неминуемы были недоразумения и несогласия, раскол. И он, конечно, высказал эти соображения. Однако настаивать на том, что следовало бы, прежде чем приступить к собиранию общества, выработать полноценную программу, не стал. Не скоро бы дошло до дела, если бы настоял на этом. Теперь налицо были люди дела, им нужно было испытать себя, и ошибкой было бы сбивать их энтузиазм... Впрочем, высказанное им учли, тогда-то и положив считать прокламацию программой лишь на первых порах, временной программой.

Когда обсуждали состав первых пятерок, члены которых должны были позднее составить Центральный комитет организации, предложили и Николаю Гавриловичу войти в одну из пятерок. С ним об этом говорили Серно-Соловьевичи, он выслушал их с горящими глазами, ответил: «За меня дело должны решать болезнь Добролюбова и неспособность Некрасова вести теперешний журнал одному. Работать же, как сейчас, в «Современнике» и с вами я не вижу физической возможности. Обождемте, что окажется с нашим больным. Когда я увижу, что он в состоянии работать по-прежнему, то через месяц, другой я с вами, но все-таки и с «Современником»; он мне дорог, как кафедра, которой не должно лишиться ни для меня, ни для вас, поскольку вы разделяете общий его тон...»

2

Добролюбов, слегший в самом конце сентября, пролежал до середины октября, не вставая с постели, не выходя из дому. В середине октября, почувствовав себя несколько лучше, подхватился, поехал к цензору, с которым надобно было объясниться, неумолимо накапливались корректуры с красными цензорскими крестами. Возвращаясь от цензора, он попал под дождь, вымок на-

сквозь, продрог, нужно было заехать к Некрасову, приехал к нему едва живой, его уложили здесь, он уже не в силах был добраться до своего дома, хотя жил на Литейном же. Недели две пролежал у Некрасова, за ним ухаживала Авдотья Яковлевна, примчавшаяся из-за границы, как только узнала о его болезни, и лишь в начале ноября лечившие его Боков и Боткин решили, что можно без большого риска перевезти его домой.

Чернышевский каждый день бывал у Добролюбова, заходил ненадолго, обыкновенно поздно вечером, приносил или забирал корректуры, которые Добролюбов читал в постели, рассказывал новости и уходил. Но однажды, это было еще в октябре на квартире Некрасова, рассказав новости, Чернышевский не ушел, остался сидеть в кресле, придвинутом к кушетке, на которой лежал Добролюбов. Они были одни в квартире. Некрасов уехал в клуб, Панаевы тоже куда-то уехали. Лакей Авдотьи Яковлевны принес ужин, растопил камин пожарче, кое-как прибрал в комнате и удалился. Было тихо в громадной квартире, только и слышно было, как трещали поленья в камине, да с шорохом ударялась о стекла окон водяная пыль при порывах мокрого ветра, да звучал иногда разносившийся по всей квартире звонкий бой часов, стоявших в столовой, за некрасовским кабинетом.

Добролюбов первый начал разговор. Он сидел в своей постели, положив под спину подушку, смотрел прямо перед собою, на портьеру, закрывавшую дверь в кабинет Некрасова, ноги его были закрыты черным пледом, руки неподвижно опущены вдоль туловища. И когда он заговорил, повернув голову к Чернышевскому, не изменив при этом положения тела, он вдруг напомнил Чернышевскому того оригинального мужика Ивана Власова, которого Чернышевский видел летом в таборе переселенцев на Васильевском острове, напомнил и этою своею позою, и ясным, иконным, праведническим выражением лика.

— Что Серно-Соловьевич? — тихо спросил Добролюбов.— Все хлопочет о подземном обществе? Ко мне он теперь не заходит. И Обручев не заходит. Уже меня похоронили, что ли?

Спросил очень спокойно, без горечи или обиды, с холодноватой иронией, и Николай Гаврилович ответил тоже спокойно и тоже как бы холодновато:

— Нет, не поэтому. Я думаю, потому не заходят, почему и ко мне теперь, пожалуй, не будут заходить.

Добролюбов удивился:

— Это почему же?

— Они предложили мне войти в их общество, в одну из пятерок, и я отказался. Сказал, что пока не располагаю собою в полной мере.

— Ну так что же? — подумав спросил Добролюбов.

— А то, что и от вас ожидают услышать подобный ответ. И потому не заходят.

— А вы сами что думаете об этом? Вы тоже думаете, что я ответил бы им так же, как вы?

— Думаю, да.

— Отказался бы вступить в общество, сославшись на «Современник»?

— Вот именно, *сославшись* на «Современник».

— А на самом деле почему отказался бы?

Чернышевский не спешил с ответом. Откинувшись в кресле, сложив руки на груди, как бы припялся обдумывать ответ.

Добролюбов задумался. Подумав, усмехнулся и заговорил с усмешкой:

— Не знаю, правильно ли я вас понял...— но опять умолк, задумался. Потом сказал:— Николай Гаврилович, между нами с лета остались кое-какие неясности, кажется?

— Да, у меня, по крайней мере, есть к вам вопрос.

— И у меня к вам. Но о моем вопросе к вам после,

а вот ваш вопрос ко мне давайте разберем. Ваш вопрос: что за мысль у меня была насчет заграничной жизни, в самом ли деле я собирался остаться там навсегда, как написал вам однажды, и поэтому затягивал свое возвращение в Россию или тут что-то другое? Этот ваш вопрос?

— Да.

— Так вот, Николай Гаврилович, я действительно одно время решался отказаться от дальнейших подвигов на поприще российской словесности или каком бы то ни было другом, какое могло представиться в нашем отечестве, писал я вам об этом не шутя. Действительно думал жениться на игальянке и поселиться где-нибудь под Мессиной или Флоренцией. Уже и невеста была, предложение сделал, родители ее были настроены одобрительно, оставалось только разъяснить кое-какие недоразумения с самой невестой, для этого мне надобно было съездить в Мессину. Вместо Мессины поехал сюда, к вам... Так какая же была мысль? Да я уже вам ее, собственно, высказал, когда писал про курциев подвиг, помните? Я писал, что, если б было дело, которое можно было бы порешить курциевским манером *, я бы это сделал без колебаний, а когда такого дела нет, то и делать мне у вас нечего, и ехать к вам незачем. Заниматься тем, чем занимался прежде, на это у меня нет ни нравственных, ни физических сил. Ехать для того только, чтобы укатать себя в гроб раньше сроку, с какой стати? В этом роде писал. И так я тогда думал. В этом и была вся моя мысль. Вся, Николай Гаврилович. Вот, собственно, все... А теперь я скажу вот что. Так, как я тогда думал, я думаю и теперь. Да, и теперь. Третий месяц я наблюдаю вблизи эту вашу, то есть теперь-то уж *нашу* жизнь и убеж-

---

* Легендарный герой Древнего Рима Марк Курций бросился в пропасть для спасения родного города.

даюсь, что не ошибался тогда. Не следовало бы мне ехать сюда. Напрасно приехал. Это самопожертвование никому не нужно. Ни мне, никому. Мы с вами, Николай Гаврилович, тратим силы понапрасну, делаем пустую работу, вполне сизифову. Эту мертвую топь, здешнюю жизнь, не освежить, не взволновать никакими словами — ни устными, ни печатными, тем более прошедшими через валуевскую цензуру. Притом нынче с Валуевым правительственный прогресс пойдет еще правильнее, все учреждения будут совершенствованы, и цензура тоже, да она уже совершенствуется, и для нас с вами это, разумеется, кончится тем, что «Современник» прихлопнут, а мы останемся без работы... Вот и вся мысль. Удовлетворил я вас?

— Но вы все-таки вернулись,— вместо ответа заметил Чернышевский.— Все-таки решили вернуться...

— Да, решил вернуться.

— Почему же вернулись?

— Да из-за вас вернулся, Николай Гаврилович. Только из-за вас.

— Из-за меня?

— Ну да, из-за вас. Если бы не вы, не вернулся бы.

— Почему же из-за меня? Разве я вас вынуждал вернуться? Кажется, напротив, убеждал не спешить с возвращением, покуда вы сами не сочтете для себя невозможным не вернуться...

— Да не сокрушайтесь вы, пожалуйста, Николай Гаврилович, по этой ерунде! Вы ни в чем не виноваты. Вы убеждали, конечно. Да сами-то вы оставались здесь.

— Ну так что же?

— Все. Вы оставались — как же мне было не вернуться?

— Ну, это, знаете... фантазии...— с недовольным видом пробормотал Чернышевский.

— Какие же фантазии? — Добролюбов, вздохнув, пере-

менил положение, опустился на подушки, лег на спину и продолжал несколько рассеянно, как о том, что давно продумано и о чем уже вовсе нечего думать и нечего говорить.— Вы для меня, Николай Гаврилович, и об этом я вам, кажется, тоже писал, вы да Некрасов — только два близких мне человека здесь. Он в некоторых отношениях даже ближе ко мне, потому что вы как-то уж слишком чисты, безукоризненны как-то. И вот вы, человек, который все понимает, то есть понимает так, как я сам понимаю, вы погружены в эту убийственную топь, проходит весна, проходит лето, а вы все сидите в этом болоте, хотя, кажется, должны бы были после апрельских шуток Александра Николаевича первыми бежать отсюда, бежать куда глаза глядят, сидите, с непостижимым упорством продолжая свою сизифову работу, да еще хвастаетесь, что теперь начали чувствовать себя похожим на человека. Об этом кричало почти каждое ваше письмо. Что же мне оставалось делать? Я вернулся. Но *для чего* я вернулся, этого я до сих пор не понимаю.— Он посмотрел на Чернышевского.— Вы-то сами понимаете, для чего вы сидите здесь? На что вы надеетесь? На что можно теперь надеяться? Вот и... мой вопрос к вам. Впрочем, есть и другой вопрос. Но этот — первый. На что вы надеетесь? Для чего делать ту работу, какую мы делаем?

— Мы не можем ее не делать. И вы это сами знаете. У нас другого выхода нет. То, что мы с вами делаем, Николай Александрович, пока еще стоит того, чтобы это делать, что бы вы там ни говорили на этот счет, и покуда есть возможность это делать, нужно делать.

— Хорошо. В таком случае объясните мне...

— Нет, сперва вы мне объясните,— с улыбкой, но настойчиво перебил его Чернышевский.— Давайте-ка сперва покончим с моим вопросом к вам, потом обратимся к вашему. Объясните мне вот что. Почему же вы сочли, что у нас нет дела, которое можно было бы по-

решить курциевским манером? Чем же, скажите, дело, какое делают Серно-Соловьевич и Слепцов, не такое дело?

Добролюбов засмеялся:

— Можно подумать, что вы, Николай Гаврилович, сами так думаете...

— А почему нет?

— Почему же вы в таком случае отказались вступить в их общество?

— Может, я и правда *пока* только отказался? Может, еще вступлю?

— Да?

— Да. Моя совесть, Николай Александрович, не спокойна от того, что я не вступил. Вот сделаюсь членом пятерки — и успокоится...

— При чем тут ваша совесть? — сердито перебил его Добролюбов, недовольный его тоном.— Вы не хотите же сказать, что приняли взгляд на вещи этих сектаторов?

— Не хочу.

— Тогда в чем же дело?

Чернышевский с выжидающей улыбкой молчал.

— Да нет, это несерьезно,— заключил Добролюбов.— Одна их вера в весну шестьдесят третьего года чего стоит. От одного этого уже смех разбирает... И как же они рассчитывают вести свою пропаганду здесь, в России? — задетый вопросом о тайном обществе, Добролюбов снова стал приподниматься в постели, Чернышевский помог ему, положил подушку повыше.— Они полагают, что мужик будет их слушать. Слушать-то, может, и будет, да что услышит? Тут не Италия. Ничего у них не выйдет из этой игры в итальянских карбонариев, и вы это не хуже меня знаете. И потом что такое эти ваши сектаторы? Нет, я ничего дурного не хочу об них сказать, достойные господа, лучших нет в России. Но они великолепны в зале Пассажа, в гостиной. А что вы станете с ними делать в тайном обществе?.. Да не это ли вы имели в виду, то есть

мое отношение к этим господам, когда вывели заключение, что и я отказался бы войти в их общество?.. Да сами вы не потому ли отказались, что думаете о них не более снисходительно?

Чернышевский засмеялся, не стал возражать. Добролюбов закончил свою мысль:

— Нет, прежде чем думать о том, чтобы собрать тайное общество, надобно дождаться времени, когда под руками будет целый слой достойных людей, а не единицы. Чтоб было из чего выбирать. Для тайного общества нужны люди особых качеств... Однако вы меня сбили. Вы в самом деле совеститесь, оттого что отказались присоединиться к ним?

— И вы бы совестились, если бы отказались.

— Если бы? А вы все-таки допускаете, что я мог бы и не отказаться?

— Да нет, тоже бы отказались. Поначалу. А потом стали бы думать...

— О чем?

— О том, что не для того же вы ехали сюда, чтобы здесь поступать рассудительно, в соответствии с логикою. Среда не та...

— Вы имеете в виду...

— Да, я имею в виду, что вы приехали не из-за меня или кого бы то ни было. Вы приехали потому, что знаете: эта мертвая топь не оживет сама по себе, последняя жизнь уйдет с этих берегов, если некому будет хотя бы от случая к случаю производить дренажные работы. А это наша специальность... Нет, Николай Александрович, не нам с вами наблюдать со стороны за драмой этой нации. Хотя, конечно, с другой-то стороны, и то правда, как подумаешь: да кто же нас-то заставляет взваливать на себя этот крест? Тут бездны, неизвестность. Никогда нельзя быть уверенным в результате. Зачем нам это? Тем не менее, вот мы здесь, беседуем друг с другом. Абсурд? Абсурд...

— И вы не шутите, вы действительно принимаете всерьез этих господ?

— А почему их не принимать всерьез? Они делают дело. Как бы ни делали его.

— Разве это неважно — *как* делать?

— Важно делать дело.

— Всякое дело?

— В нынешних обстоятельствах России всякое дело важно. Любое проявление оппозиции — дело. Вреднее этой азиатской неподвижности ничего не может быть.

— Но ведь это программа великорусов. Значит, и ваша тоже?

— Значит, и моя тоже.

— И поэтому вы с ними сошлись?

— И поэтому мы сошлись.

— И с Катковым вы сошлись на цензурном деле, потому что всякое проявление оппозиции — дело?

— Да, поэтому,— согласился Чернышевский. Усмехнулся: — Этот ваш вопрос о Каткове — ваш второй вопрос ко мне, да?

— Да.

— Кажется, мы выяснили все вопросы?

— Да, как будто.

Добролюбов умолк, задумавшись.

— Когда-нибудь, Николай Александрович,— счел нужным еще сказать Чернышевский,— когда мы заживем правильной политической жизнью, когда наша жизнь отольется в какие-то формы, появится возможность открытой борьбы партий за власть, тогда мы будем разборчивы, даже щепетильны в выборе союзников, не говорю уже о соратниках по нашей собственной партии. Теперь не до щепетильности. Все, что действует против нынешнего государственного устройства, возмущает эту неподвижность, все помогает будущему и заслуживает нашего содействия.

— Ну, может быть, и так,— согласился Добролюбов.

— Так, Николай Александрович, так.

— Может быть. Только мне-то что же делать? Я-то на что гожусь? И вдвойне бывает обидно, когда тебе это дают понять, как дали понять эти ваши сектаторы. Увидите их — скажите им, пусть уж не обходят меня. Бог даст, еще встану, так, может, и пригожусь им. Пусть подумают, в какую пятерку меня вставить. Скажете?

— Скажу,— серьезно ответил Чернышевский.

Добролюбов покосился на него насмешливо:

— Да, но когда же вы их увидите? Вы же говорите: они теперь к вам не будут заходить?

— Разве?

Они встретились взглядами и рассмеялись.

3

Перебравшись от Некрасова к себе домой, Добролюбов продолжал работать, сколько позволяли силы, помогал Чернышевскому читать корректуры, рукописи, делал он это, не поднимаясь с постели. А сил становилось все меньше, он быстро слабел. Авдотья Яковлевна, не оставлявшая и здесь своих попечений о нем, поселила у него в квартире своего лакея, запретила пускать к больному посторонних, бывали у него только родные да Некрасов с Чернышевским.

Николай Гаврилович бывал теперь у Добролюбова по два раза в день аккуратно, утром и вечером. Они теперь говорили чаще о предметах, совершенно посторонних «Современнику» и цензурному комитету,— о себе, о своих душевных заботах и надеждах, как бы заново открывали друг друга. Почему-то в эти дни Добролюбов много рассказывал о годах учения в педагогическом институте, о своих друзьях, прежних товарищах по институту, трех или четырех молодых педагогах, которых жизнь разбро-

сала по разным губерниям и с которыми он деятельно переписывался, с ними он очень хотел бы связать Чернышевского. О своей болезни он не упоминал и очень не любил, начинал сердиться, когда его спрашивали, как он себя чувствует, не устал ли. Только однажды он заговорил о своей болезни, сказал о том, что, должно быть, скоро умрет, вдруг признался Чернышевскому, как ему нехорошо, физически нехорошо, и на душе гадко, так гадко, что и смерть не страшит, это было около середины ноября, и показал Николаю Гавриловичу свои новые стихи, адресованные одному из своих друзей, как бы прощальные стихи, в них он исповедовался перед друзьями и как бы оставлял свое завещание: «Милый друг, я умираю оттого, что был я честен...»

Он умер в ночь на 17 ноября на руках у Авдотьи Яковлевны. 20 ноября, в понедельник, были похороны. Человек двести литераторов, студентов, молодых офицеров собрались рано утром в его квартире на Литейном, гроб вынесли на руках, несли через весь город до самого кладбища. В кладбищенской церкви, после отпевания, вышел было с речью Некрасов, священник испуганно его остановил, сказал, что не может позволить речей, в церкви нельзя произносить речей, не просмотренных духовною цензурою, если господа желают говорить речи, пусть говорят на паперти, у могилы, где угодно, но не в самой церкви. Вынесли гроб на паперть и здесь остановились, опустили гроб, молча встали перед ним полукругом. Некрасов подошел к гробу, начал говорить тихо, почти шепотом, сдерживая рыдания, но постепенно его голос окреп. Он говорил о бедном детстве Добролюбова, о начале его литературного пути, о его сильном литературном даровании и глубоком понимании настоящих потребностей общества, сделавших его, юношу, двигателем умственного развития нации. «В Добролюбове,— сказал Некрасов под конец речи,— во многом повторился Белинский: то же

влияние на читающее общество, та же проницательность и сила в оценке явлений жизни, та же деятельность и та же чахотка...»

Вышел из толпы Чернышевский, он был бледен, угрюм, насторожен, колючим был его взгляд из-под легких золотых очков, и колючим, жестким оказался его высокий голос, когда он, оглядев толпу, заговорил:

— Так как смерть Добролюбова произошла неожиданно для публики, то вам, господа, вероятно, интересно будет знать, какие причины ускорили ее, если не прямо вызвали,— расстегнув шубу, Чернышевский достал из внутреннего кармана сложенную пополам тетрадку.— Вот дневник покойного, найденный мною в его бумагах. Он разделяется на две части: на записанное до отъезда Николая Александровича за границу и на записанное после его возвращения. Из этого дневника я прочту вам несколько записей, из них вы все поймете. В записях упоминаются некоторые лица, я их называть не буду, скажу только NN...

Он начал читать. Шубу он забыл застегнуть, она распахнулась, он не замечал этого, хотя мороз был порядочный.

— «Пришел ко мне (Добролюбову) NN и объявил, что в моей статье сделано много помарок...— читал Чернышевский.— Явился ко мне NN и передал, что за мою статью он получил выговор... Получено известие о беспорядках в Харьковском университете... Получены сведения: некоторые из студентов сосланы в Вятку... Тяжелое и напрасное объяснение с цензором: моя статья не может быть напечатана... Нынче у цензора: из обеих статей вычеркнуто до половины текста...»

Прочитав с десяток записей, Чернышевский закрыл тетрадь, снова оглядел толпу. Впереди стояли с опущенными головами Некрасов, Панаев, Краевский, прямо смотрел на Чернышевского цензор Бекетов, своим независи-

мым видом как бы заявляя, что прочитанное не к нему относится, держались вместе университетские профессора Кавелин, Спасович и Саша Пыпин, только что подавшие в отставку в знак протеста против полицейского преследования студентов, у Кавелина было заплаканное лицо; нервничая, кусал губы Антонович, мрачно мотал головою пылкий Серно-Соловьевич. За ними тоже были знакомые лица, но больше было незнакомых, людей молодых и не очень молодых; студентов было немного, самые активные из них сидели в крепости. Чернышевский положил тетрадь на ладонь, покачал, как бы взвешивая:

— Вот, господа, можете судить: в таких убийственных для всякого таланта условиях мог ли безмятежно развиваться талант Добролюбова? Могли подобные обстоятельства не отразиться на восприимчивой, чуткой натуре покойного? И в каких же молодых годах он должен был кончить свою деятельность! Ведь ему было всего двадцать пять лет. В это время другие только учиться начинают. Несчастная русская литература! Скольких своих выдающихся представителей она уже потеряла в самом расцвете их сил и молодости. И скольких еще потеряет...

Похоронили Добролюбова рядом с могилой Белинского. Когда стали расходиться, Чернышевский пропустил всех вперед и пошел последним, незаметно отстав от всех, свернул в один из проходов между могилами и с полчаса бродил по кладбищу в одиночестве, дожидаясь, когда все разъедутся и разойдутся, хотелось остаться одному, и домой решил идти один, чувствовал, что не в силах был бы теперь вынести чье бы то ни было общество.

Через полчаса, выбравшись с кладбища, вышел на дорогу, ведущую к Лиговке. Дорога была пустынна. Слева и справа были огороды и сады, деревья были в инее, булыжная мостовая тоже была белая от снега, со слабыми следами от извозчичьих шин. Ни души вокруг... Он был один, совсем один.

4

В конце января 1862 года Николай Гаврилович получил по городской почте записку, которую давно ждал: «Приезжайте. В ближайшие два-три дня сможете захватить меня дома в любое время. Вернулась больная, со двора не выезжаю. Н. Я.»

Записка была от Надежды Яковлевны. Три недели назад она уезжала в Москву, куда ее неожиданно вызвала телеграммой ее племянница, известившая, что везет из Перми своего больного мужа. Куда везет и почему именно в Москву должна была ехать Надежда Яковлевна, оставалось неясным, в телеграмме об этом ничего не говорилось. Можно было строить какие угодно догадки, от Анны Аркадьевны давно уже не было никаких вестей, и неизвестно было, что делалось в Перми. С тех пор как все они разъехались из Саратова, от нее было получено из Перми только одно письмо, еще в октябре присланное на имя тетушки с отдельным листком для передачи Николаю Гавриловичу; Анна Аркадьевна сообщала тогда, очень скупо, что в Перми она нашла все гораздо более сложным, чем это ей представлялось в Саратове, и что она едва ли скоро сможет выехать в Петербург, впрочем, в Петербурге ей, покуда закрыт университет, все равно особенно нечего делать. И все, больше никаких известий от нее с тех пор не было. Николай Гаврилович и Надежда Яковлевна, видевшиеся тогда, в октябре, условились, что Надежда Яковлевна известит его, когда будут какие-нибудь новости. Не было их до самого января, покуда не пришла эта странная телеграмма. Надежда Яковлевна уехала в Москву, известив, конечно, Николая Гавриловича и о телеграмме, и о своем отъезде. И вот теперь она вернулась. Вернулась, судя по записке, одна...

Николай Гаврилович велел закладывать лошадь. Ольги Сократовны не было дома, ее с утра увезла с собою

какая-то ее приятельница, и Николай Гаврилович, предупредив прислугу, что вернется, вероятно, не скоро, вышел к экипажу. Экипаж он велел подать не к парадному подъезду, а к черному ходу во дворе, с некоторых пор он стал выезжать прямо из двора, конечно, когда выезжал один, без Ольги Сократовны. Кучеру он приказал ехать на Большую Морскую через Разъезжую и Загородный проспект, да живее ехать.

Когда поворачивали налево, к Разъезжей, Николай Гаврилович обнаружил, что его маневр на этот раз не удался, его выезд не остался незамеченным: в одном из окон дома на другой стороне улицы, где, как открылось Николаю Гавриловичу еще в ноябре, поселились агенты, наблюдавшие за ним, торчал наблюдатель. Агенты, их было двое, не беспрерывно дежурили у окна, иногда они оставляли свой наблюдательный пост, в такие моменты и удавалось, быстро выехав из-под арки, проскочить под окнами, прежде чем наблюдатели засекали выезд и пускались по следу. Но теперь не удалось. Притом на углу улицы стояли свободные ваньки. Перед Разъезжей Николай Гаврилович посмотрел назад и увидел, что один из агентов выскочил-таки из дома, схватил ваньку и нацелился тащиться за экипажем. Николай Гаврилович приказал поворачивать не направо, к Загородному проспекту, а налево, к Лиговке, ехать к Николаевскому вокзалу и не спешить — спешить теперь было незачем.

Подъехали к вокзалу со стороны Лиговки, и Николай Гаврилович велел кучеру ждать его здесь полчаса, и если он за это время не вернется, то ехать домой и передать там, что он остался обедать у начальника станции, его знакомого. Выйдя из экипажа, вошел в здание вокзала, прошел через зал и вышел через другую дверь на площадь, к Гончарной. Тут ему попалась извозчичья карета, он сел в нее и велел ехать по Невскому на Большую Морскую. Когда пересекали Лиговку, он посмотрел в окошко,

увидел свой экипаж и остановившегося неподалеку от экипажа ваньку с агентом. Агент сидел спокойно, видимо, еще не подозревал, что потерял след. Николай Гаврилович усмехнулся, довольный: кажется, освободился от хвоста.

Однако, когда выехали на Невский, еще раза два оглянулся назад, чтобы проверить, в самом ли деле отцепился хвост. Да, хвоста не было.

Нелепый народец, думал Николай Гаврилович об агенте и о его оставшемся дома товарище, которого тоже знал в лицо. Столько в них важности, самоуверенности! И все оттого, что убеждены в своем абсолютном превосходстве над жертвой. Слишком верят в силу, во всемогущество тайны. Конечно, и мысли не допускают, что их секретное наблюдение может быть обнаружено самим наблюдаемым. Полагаются на миф, будто все мы, смертные, беспомощны перед властью тайны. Между тем для человека мало-мальски наблюдательного их тайна — это их кричащая визитная карточка, колокольчик, подобный колокольчику на шее верблюда, знак, по которому их за версту узнаешь. От них этой тайной разит, как от золотаря — его «тайной».

Как это получается — трудно объяснить. Но Николай Гаврилович почувствовал их присутствие возле себя сразу же, как их приставили к нему. А когда устроили наблюдательный пост, то и это тут же открылось, тогда и в лицо их узнал, это были два молодых человека вполне приличного вида, по облику классные чиновники, но в партикулярном платье, тогда он указал их и Ольге Сократовне. С тех пор никакие их действия уже не ускользали от внимания Николая Гавриловича и Ольги Сократовны, взявшей на себя труд наблюдать за ними и за прислугой, через которую агенты пытались добывать разные сведения о Чернышевских. На Ольгу Сократовну болезненно подействовали осенние петербургские аресты, арестова-

ние Обручева, знакомых ей студентов университета, среди которых был и Студенский, с нею были истерики, она две недели пролежала в постели, однако, оправившись, повела себя молодцом. Весть о том, что за их квартирою установлена слежка, она приняла весьма храбро, с каким-то даже бунтарским одушевлением и сама стала следить за наблюдателями.

Сделал Николай Гаврилович свои ноябрьские открытия, подтвердившие для него факт слежки и позволившие ему и Ольге Сократовне самим стать наблюдателями, через прежнего своего кучера Федора Михеева, того лужского мужика, которого он взял к себе еще летом, до поездки в Саратов. Теперь-то отошел от него Михеев; честно и старательно прослужив до рождества, купил на подаренные Николаем Гавриловичем сто рублей пару справных лошадок и ушел по зимнику в свое заонежское Эльдорадо, по следам односельчан, которые ушли еще в сентябре, после того как оправился от болезни их вожак Иван Власов,— поставил-таки его на ноги Боков; ушел Михеев, пристав к какому-то обозу, направлявшемуся из Петербурга в те края.

В ноябре Михеев часто ездил с Николаем Гавриловичем по книжным лавкам и разным господам, владельцам порядочных библиотек, развозили книги и комплекты журналов, которые Николай Гаврилович брал для рецензирования, возвращали их, забирали свежие книги и журналы. Однажды, отправляясь в такую поездку, Николай Гаврилович позвал Михеева в кабинет, вручил ему большую связку книг, чтобы снес в экипаж, сам взялся делать другую связку, поменьше. Михеев, однако, не ушел из кабинета, остался стоять у двери. Николай Гаврилович, решив, что он остался, чтобы захватить заодно и другую связку, понес ему эту связку, но тут Михеев повел себя очень странно: взял связку, поставил ее на пол рядом с первой связкой, выпрямился и, неуклюже потоптавшись

на месте, пошел из кабинета с пустыми руками. «Что случилось, Федор?» — остановил его Николай Гаврилович. Михеев глянул на него быстро несколько раз и затем, отвернув лицо в сторону, заговорил неодобрительно: «Книги, барин. Возим, возим. Худое дело. Мотри, барин».— «Да ты о чем! — изумился Николай Гаврилович.— Чем же это худое дело?» — «Мы не знаем. Что мы знаем, что понимаем? Худое дело. Погубят тебя эти-то. Могри».— «Кто погубит? Да ты о ком говоришь?» — «А которые за тобой поставлены. Наблюдают. А ты не знаешь?» — «Знаю. Да ты, верно, больше моего знаешь. Расскажи, что ты знаешь?» — «А расскажу...»

И Михеев рассказал. Несколько дней назад пригласил его на угощенье швейцар их дома Никита Баранов, с которым Михеев водил приятельство, водил, правда, не оттого, что очень уж нравился ему этот Никита Баранов, а оттого, что тот сам ему навязал свое приятельство, а Михеев такой человек, что никому ни в чем отказать не может. Да и человек нехороший этот Баранов, вздорный, лживый и злобный, хотя на вид благообразен, важен. Всем врет, к примеру, что он отставной гвардии унтер-офицер, тогда как на самом деле он рядовой и лишь числился по гвардии, а служил в батальоне внутренней стражи, денщиком при младших офицерах, в этом он сам однажды признался Михееву. Навязал он свое приятельство Михееву потому, что нравилось ему, выпив с Михеевым, открыть перед ним душу, исповедаться.

И вот несколько дней назад, угощая Михеева в очередной раз, Баранов похвастался, что получил тайную власть над его, Михеева, господином, стало быть, и над ним самим, и это значит, что отныне Михеев должен его слушаться и помогать ему во всем. Помогать, рассказывая ему, Баранову, о том, куда ездит его господин, с какими людьми встречается по дороге и о чем они толкуют между собою. А Баранов в свою очередь это переска-

жет господам, которые назначены от правительства тайно наблюдать за господином Чернышевским. Господа обещали за это платить Баранову, и если, правда, будут платить, он поделится с Михеевым или же сведет Михеева с этими господами и они будут платить ему от себя. Михеев, конечно, не отказался помогать Баранову, и все эти дни, когда они с Николаем Гавриловичем ездили по книжным лавкам, он держал ответ перед Барановым, рассказывал об этих поездках, как мог. Судя по расспросам Баранова, тех господ особенно интересовали книги, какие развозили Михеев с Чернышевским. Но чем тут мог быть им полезен не знающий грамоты Михеев? И тогда через Баранова они потребовали, чтобы Михеев как-нибудь незаметно припрятал пару или троечку книг, чтоб по ним господа могли сообразить, что за книги развозились по городу. И вот чтобы не дойти до греха, Михеев теперь и открывал все это Николаю Гавриловичу, уж пусть Николай Гаврилович там как хочет, но чтобы книжек больше не возил.

Николай Гаврилович поблагодарил Михеева и сказал, что тот и впредь может держать себя с Барановым так, как держал до сих пор, пусть и впредь все рассказывает Баранову, это, мол, для Николая Гавриловича неопасно, ему, мол, нечего скрывать от правительства. Мало того. Что касается книжек, то он не только не перестанет их возить, но даже разрешает Михееву сделать так, как его просили, пусть возьмет две-три книжки, скажем из первой связки, и покажет агентам; в первой связке был комплект «Русского вестника», от которого Николай Гаврилович наконец решил избавиться, вывозил из квартиры. А видел ли Михеев тех господ тайных наблюдателей, или он знает о них лишь со слов Баранова? Да, Михеев видел их, у Баранова же и видел, и даже знает, где они живут, он может хоть теперь показать Николаю Гавриловичу их окно. Прямо теперь показать? Ну да, только из другой

комнаты... Они перешли в гостиную, выходившую окнами на Большую Московскую, и Михеев показал окно агентов. Потом, когда представился случай, он показал Николаю Гавриловичу и самих агентов...

Теперь Николай Гаврилович и Ольга Сократовна получили возможность водить наблюдателей за нос, когда это нужно было. Нужно было, например, скрыть от агентов какого-то своего гостя, визита которого ожидали, садились в сани и ехали со двора, цепляли за собою хвост и увозили его подальше от дома, на пустую прогулку, так делали еще при Михееве, которому агенты вскоре перестали доверять, или, может быть, перестали удовлетворяться его сообщениями, во всяком случае, уже в декабре почти каждый выезд Николая Гавриловича сопровождался хвостом. Пока катались, гость являлся, его принимали Студенский, живший у Чернышевского после освобождения из крепости, или Захарьин, проживший у Чернышевских почти весь декабрь, при этом Студенский и Захарьин, наблюдавшие из окна гостиной за всеми, кто входил в подъезд, сами открывали гостю,— сами, чтобы гостя не перехватил в подъезде швейцар, всегда спрашивавший имя посетителя; ночью Николай Гаврилович выпускал гостя через черный ход, гость уходил дворами. Иногда, опять-таки когда нужно было скрыть от агентов что-то важное, направить их внимание на пустяки, передавали через Михеева заведомо неверные сведения, позже стали использовать для этого жену швейцара-шпиона, поступившую к Чернышевским в кухарки и передававшую агентам — и это тоже открылось благодаря Михееву — разговоры хозяев, когда ей удавалось их подслушать, или черновые бумаги Чернышевского, которые отдавались ей для сожжения: и разговоры, и бумаги, конечно, готовились для нее специально.

На что рассчитывали власти, приставляя к нему шпионов, неужели надеялись таким путем заполучить улики

для судебного преследования? Плохо же они его знали. Никаких улик не могли они добыть подобным способом...

Впрочем, если бы всерьез вздумали разделаться с ним, уж конечно нашли бы способ разделаться и без этого глупого шпионства.

Когда ехали через Исаакиевскую площадь, он поймал себя на том, что борется с искушением взглянуть на монумент Николаю, вокруг которого, как всегда, бродили патриоты империи. Но, усмехнувшись, погнал эту мысль прочь.

5

Надежда Яковлевна была сильно расстроена поездкой в Москву. Первое, что она сказала, когда вошел Николай Гаврилович, что она ничего больше не понимает ни в жизни, ни в людях, разучилась что-либо понимать и совершенно не представляет себе, что будет завтра, послезавтра, что будет с нею, с Аней, вся жизнь вдруг поломалась, и наладить ее уже, наверное, не удастся; она вовсе не собиралась привязывать Анну к себе навеки, напротив, больше всего ей хотелось, чтобы Анна не осталась одинокой, встретила достойного человека, чтобы у нее была семья, но того, что случилось, она не желала, нет не желала... Она сидела в кресле возле печки, кутаясь в шаль, прижимая ладони к кафелю, смотрела на Николая Гавриловича добрыми, растерянными и смущенными глазами.

— Где же Анна Аркадьевна? Осталась в Москве? — спросил Николай Гаврилович.

— В Москве! Если бы в Москве! Повезла за границу своего Петра Степановича, в Швейцарию или куда-то еще. Она, видите ли, узнала, что за границею есть лечебницы, где будто бы лечат таких...

— Она решила вылечить его?

— Уж не знаю, что она решила, как будто у нее мож-

но было что понять. Я ее понять не могла. Все время, что они сидели в Москве, она была как помешанная: то плачет, то смеется. Я только одно поняла, что она решила себя погубить, вот что...

— А почему они сидели в Москве?

— Да из-за Петра Степановича, у него оказались там какие-то денежные дела... Да, решила себя погубить. Тут, конечно, не обошлось без ее матери. Эта уж постаралась. Я знаю: она ее настроила, сбила. Свою жизнь поломала, дочерину чего ж жалеть?.. И я перед нею виновата, много виновата, и никогда себе этого не прощу. Шпыняла ее за то, что она оставила Петра Степановича. Правда, как было не шпынять? Думала: каприз. Но чтобы этак повернуть как нынче она повернула, этого я ей, по совести, не могла желать, нет, не могла, этого в мыслях не было... Посмотрела я теперь на него. Два года не видела, и тогда он был, лучше не смотреть, а нынче-то! Старик. А какой был человек, господи...

— Что же Анна Аркадьевна говорила?

— Что говорила? Мало ли что говорила, да не в том дело, что говорила... Говорила, ей жаль его. Не следовало, мол, выходить за него, а раз уж вышла, нельзя было оставлять. Теперь попробует его вылечить. Надежды на это никакой, но должна... А кому должна? Кому, скажите, нужна эта бесполезная жертва?.. Не лечение у нее на уме. Потаскать-то его по лечебницам она, пожалуй, потаскает. Да она сама лучше всех знает, что толку от этого не будет никакого. Себя казнить — вот что у нее на уме. Только за какие грехи — неизвестно... Она к нему ничего не чувствует, ну так вот надобно же заставить себя его любить. Заставить! И будет всю жизнь усиливаться любить, как делала ее мать. Зачем это? Что за моду взяли устраивать из своей жизни эксперимент?

— Должно быть, у нее все-таки есть чувство к нему...

— Ну, нет! Наслушалась я за эти две недели об ее

чувствах... Кстати, об вас,— вдруг круто повернула тетушка разговор. — Я не знаю, что уж между вами, это не мое дело, вы люди взрослые и сами разберетесь. Но она просила передать вам, что в конце лета будет в Петербурге. Одна ли приедет или с Петром Степановичем, и надолго ли, этого я от нее добиться не могла. Да она и сама не знает. Но очень настойчиво несколько раз повторила: передай Николаю Гавриловичу, чтобы в августе он непременно был в Петербурге, она приедет. Вот, передаю вам. Что это значит, уж решайте сами.

— Спасибо,— только и сказал Николай Гаврилович, хотя тетушка смотрела на него со жгучим интересом, ждала вопросов.

«Вот и все,— подумал он об Анне Аркадьевне с тоскливым, щемящим чувством. — Больше мы с нею не увидимся...»

Осенью, когда он только вернулся из Саратова, он заговорил было об Анне Аркадьевне с Ольгой Сократовной, но Ольга Сократовна не стала об этом слушать, сказала, что ничего не хочет об этом знать. «Я ничего не хочу знать больше того, что мне нужно знать. Мне одно нужно: чтобы мы всегда были вместе. Ты не собираешься меня оставить?» — «Ты же знаешь, голубочка. Но видишь ли...» — «Вот и все, что мне нужно знать,— перебила она его. — Не оставляй меня. Это одно мне нужно. Больше ничего не нужно. И никогда больше не заговаривай со мною об *этом*. Я вовсе не хочу знать все. Понимаешь? Мне не нужно знать все...» Так и не позволила объясниться. Он отложил объяснение до возвращения Анны Аркадьевны в Петербург, когда можно было бы ближе познакомить их друг с другом, свести покороче, дать им возможность привыкнуть друг к другу. Будет ли теперь эта возможность?..

Не стал он больше расспрашивать об Анне Аркадьевне, заговорил о постороннем:

— Как ваша мастерская?

О мастерской он знал, что осенью Надежда Яковлевна побывала в полиции с объяснениями, там ее предупредили, что не допустят никаких коммунистических начал, закроют мастерскую, если хозяйки передадут ее в собственность работницам. Хозяйки рассчитывали сделать это в конце года, но едва ли теперь это удастся сделать, придется им, видимо, и впредь оставаться хозяйками. До каких пор? Дело теряло смысл.

Вздохнув, ответила Надежда Яковлевна:

— Не знаю, что будем делать. Приедет Аня, решим, как быть. И вас позовем для совета. Придете?

— Приду.

Снова условились, что, если будут вести от Анны Аркадьевны, Надежда Яковлевна даст ему знать. Он поднялся.

— Прощайте,— наклонился к ее руке.

Она поцеловала его в лоб и — заплакала. Он удивился.

— В Москве меня напугали,— объяснила она со смущенной улыбкой, торопливо смахнув слезы ладонью.— Когда уезжала из Москвы, в вокзале встретила знакомого, а он говорит: закрыт «Современник», Некрасов и Чернышевский арестованы. Только в Петербурге узнала, что это вздор... Берегите себя.

— Обо мне не беспокойтесь, добрая Надежда Яковлевна.

Он поклонился и пошел к двери.

— Да, чуть не позабыла у вас спросить,— вернула она его с порога.— Когда Аня убеждала меня, что она должна остаться с Петром Степановичем, она мне однажды сказала в сердцах: если ты ничего не понимаешь, это не значит, что никто не понимает, есть люди, которые думают подобным образом. По крайней мере, подобным образом думает Николай Гаврилович... Вы, значит, со

понимаете. Вы в самом деле что-нибудь понимаете в том, что я вам о ней рассказала?

— Кажется, да,— ответил он сдержанно и больше ничего не сказал.

Она внимательно, долго на него смотрела, но расспрашивать не решилась. Вздохнула:

— Ну, значит, я и правда ничего не понимаю. Ни на что уже не гожусь. Совсем стала никчемная старая калоша. Прощайте.

Он вышел. Все. Не увидит он больше Анну Аркадьевну, не увидит...

6

Арестован был Чернышевский 7 июля 1862 года по случайному поводу: в перехваченном Третьим отделением письме Огарева и Герцена к Серно-Соловьевичу упоминалось его имя, и упоминалось так, что его можно было уличить в связях с лондонскими пропагандистами. В письме говорилось, что Герцен и Огарев готовы совместно с Чернышевским издавать в Лондоне «Современник», только что остановленный правительством на восемь месяцев.

Этой улики было достаточно, чтобы произвести обыск в квартире Чернышевского и арестовать его, но недостаточно, чтобы предать его суду. Выраженная в письме Герцена и Огарева готовность сотрудничать с Чернышевским еще вовсе не доказывала того факта, что между авторами письма и Чернышевским действительно существовала тайная связь. Чтобы доказать эту связь, нужны были иные улики.

Поместили Чернышевского в один из казематов Алексеевского равелина в Петропавловской крепости и будто забыли на несколько месяцев. Только 30 октября вызвали на первый допрос. Ему предъявили обвинение в сношениях с «русскими изгнанниками и другими лицами, рас-

пространяющими заграничную пропаганду против правительства», и в содействии им, он отверг это обвинение; понимая, что иных улик, кроме письма Огарева и Герцена, у его обвинителей нет, потребовал, чтобы его немедленно освободили. Так он решил действовать и впредь: отрицать все, что бы ему ни инкриминировали, и требовать немедленного освобождения. И снова его оставили в покое на несколько месяцев.

Заключение в крепость почти ничего не изменило в его привычных занятиях. Ему было разрешено выписывать с воли книги, какие были нужны для чтения и работы, были разрешены письменные занятия, выдавалась бумага, листы по счету, и перо, гусиное, стальные перья здесь не полагались, и он, не теряя времени, принялся за дело. Сначала читал, торопясь прочесть то, что накопилось, что надобно было прочесть, но не успел прочесть на воле за недосугом, позже занялся переводами, взялся переводить очередные, пятнадцатый и шестнадцатый, тома «Всемирной истории» Шлоссера, издание которой, начатое им в прошедшем году, теперь продолжали на воле друзья.

Он не обольщался насчет возможных сроков своего заключения, понимал, что власти не выпустят его из крепости до тех пор, покуда не найдут способа привлечь-таки к суду. Не будет улик — попытаются обвинить хотя бы на основании его статей, печатавшихся в «Современнике». На худой конец решат дело административно, повелением государя сошлют в какой-нибудь Солигалич. Уж во всяком случае столицы ему теперь заказаны, журналистикой больше не заниматься... Будущее было достаточно ясно, и нечего было тратить время на пустые размышления о том, что будет да как будет. Нечего было и биться головой об стену, тратить силы на возмущение и протесты, во всяком случае до поры до времени это не имело смысла; себя изведешь, ничего не достигнешь. Ра-

умнее было постараться обратить себе на пользу новые обстоятельства, постараться производительнее использовать неожиданно образовавшийся у него досуг.

Досуг — это, бесспорно, была приятная сторона в его новом положении. Досуг — это было то, чего ему вечно не хватало на воле. Вообще он вскоре с удивлением обнаружил, что заключение ему не в тягость, и очень смеялся, когда понял, отчего это: да ведь и на воле ему не в редкость было сидеть неделями безвыходно в своей комнате, каждый месяц случались такие педели, обычно к концу месяца, когда нужно было срочно, всегда срочно, писать в очередную книжку журнала. Теперь он получил досуг не только читать или переводить то, что хотел прочитать или перевести, и делать это, несшшно обдумывая то, что читал, переводил, он получил досуг подумать и о том, о чем не мог позволить себе роскошь думать в суете вольной жизни, подумать о своих будущих ученых трудах, о которых давно мечтал, которым намеревался посвятить себя когда-нибудь в будущем, и теперь это будущее приблизилось. За первые два месяца заключения он основательно обдумал планы этих трудов. Это будет большое дело, на которое не жалко положить целую жизнь. Он, пожалуй, начнет многотомной историей материальной и умственной жизни человечества. Потом пойдет критический словарь идей и фактов, основанный на этой истории, тут будут разобраны все мысли обо всех важных вещах, и при каждом случае будет указываться современная точка зрения. Это будет тоже многотомная работа. На основании этих двух работ он, быть может, составит энциклопедию знания и жизни, это будет уже экстракт, небольшого объема, написанный так, чтобы был доступен не одним ученым, как два предыдущих труда. Затем он ту же книгу переработает в самом легком, популярном духе, в виде почти романа, со сценами, остротами, чтобы ее читали все, кто не читает ничего, кроме романов. Чепуха в

голове у людей, потому они бедны и жалки, злы и несчастны, надобно же разъяснить им, в чем истина, по крайней мере как ты ее понимаешь... Этим он займется потом, когда выйдет на волю, когда будет иметь свободный доступ к справочной литературе. Но что-то он мог бы сделать уже и теперь, теперешний досуг давал возможность начать большую оригинальную работу, требующую длительной сосредоточенности и вместе с тем такую, чтобы можно было обойтись без справочников. Почему бы, например, было не начать с последнего пункта плана, с популярной книги? Еще проще: можно попробовать, пока есть досуг, написать роман или повесть. Когда-то он мечтал о писательстве, пробовал писать повести. Но судьбе угодно было, чтобы он сделался журналистом. Теперь можно было снова попробовать...

Все чаще он думал о книге в беллетристическом роде, эта мысль привлекала его во многих отношениях. В образах можно было бы выразить многое из того, что занимало его последние годы, о чем он писал из месяца в месяц в «Современнике», именно сказать о том, что, по его убеждению, следовало людям делать теперь, чтобы начала наконец меняться эта их жалкая жизнь,— что делать всем вместе с этой жизнью и что делать каждому в отдельности с самим собою, чтобы выработать в себе качества нового человека, человека-деятеля. В этой книге можно бы выразить целую программу действий нынешнего поколения людей. Притом такую книгу удалось бы, пожалуй, напечатать. То, что невозможно теперь сказать публицистической статьей, он сказал бы образным языком романа или повести, в глазах цензуры не столь опасным. Сюжет можно придумать самый невинный, что-нибудь, например, из жизни ученых, еще лучше — из семейной жизни, развернуть классический треугольник или четырехугольник... Впрочем, и сюжетная линия могла иметь самостоятельное значение...

Думая о романе, о его возможном сюжете, он обращался мысленно к собственной истории, к своим неожиданно возникшим семейным затруднениям, вдруг осложнившимся отношениям с Ольгой Сократовной.

Конечно, нельзя было сказать, будто он был вполне доволен тем, как сложились эти отношения, был совершенно счастлив, как однажды доказывал Анне Аркадьевне. О совершенном счастье говорить не приходилось, хорошо было уже и то, что он не мучился, как мучился шесть лет назад, когда только складывались эти отношения. Не так-то легко было, как оказалось, преодолеть в себе собственника, подавить чувство ревности. Еще в Саратове, обещая своей будущей жене всегда ставить ее интересы выше своих собственных интересов, ее счастье выше собственного счастья, он понимал, что будет мучиться, если случится-таки, что у нее возникнет чувство к кому-то другому. Но он не ожидал, что будет *так* мучиться, как мучился, когда это и случилось. Это было ужасное время, работать он был не в силах, двух слов не мог связать по целым неделям, подумывал и о том, не лучшим ли выходом для него было бы уйти со сцены, совсем уйти, оставить этот неустроенный, не поддающийся разуму мир. Потом ничего, привык. Даже стал гордиться победой над собой, а в иные минуты как будто и в самом деле чувствовал, что счастлив. Во всяком случае, уже не мучился, как прежде. Свыкся с мыслью, что его удел иной, чем у других людей, счастье разделенной любви не для него, он может и без этого жить. Может жить для счастья любимого существа, не заботясь больше о собственном счастье. Для него это и есть счастье... Потом все спуталось.

Все спуталось после той странной ночи в доме тетушки Анны Аркадьевны на берегу Волги. Он много и трудно думал о том, что же произошло тогда. Как знать, мо-

жет быть, он еще выйдет отсюда, и, когда вновь встретится с Анной Аркадьевной, разве не может все повториться? Вновь он будет захвачен тем же чувством, и что же, он будет противиться ему? Конечно, всегда можно принудить себя поступить так, как требует благоразумие. Можно принудить себя делать что угодно. Но то, что делается по расчету, по чувству долга, по усилию воли, а не по влечению натуры, всегда безжизненно. Только убивать можно этим средством, а делать живое — нельзя... Так. Но, если так, как же быть с избранной им в отношении Ольги Сократовны линией чистого самоотвержения? Выходит, он ошибался, думая, что может быть вполне счастлив счастьем любимого существа? И надобно человеку в браке быть любимым, не только самому любить, иначе не будет защищен такой брак от случайностей и превратностей жизни? Значит, теория перегнутой палки здесь не годилась и его брак с Ольгой Сократовной — не полноценный брак? И, значит... что же это значит? Ему надобно оставить Ольгу Сократовну?

Но это невозможно. Он никогда не оставит Ольгу Сократовну. Он нужен ей, и она нужна ему, он любит ее, положим, не так, как любил когда-то, как мог бы любить и теперь, если бы его любовь была в свое время поддержана ответным чувством, но любит, и у них есть дети...

Так как же все-таки сложились бы их отношения, если бы не та случайность? Могли бы они сложиться так, чтобы не было при этом терпящей стороны, не было ничьих страданий и унижений, обид, чтобы все были равно счастливы?

Итак, вот тема. Вот что развить в романе было бы куда как важно. В жизни, в своей жизни, он не успел устроить отношения с близкими ему людьми так, как это представляется ему разумным. Не судьба ему устроить разумный брак в жизни — пусть он устроится хотя бы в романе, пусть устроят его герои романа, устроят так, как

он хотел бы устроить собственный брак и частью устроил,— пусть его личный опыт послужит другим.

Он намерен изобразить в романе новых людей, показать новый тип человека, совсем недавно появившийся в русской жизни и пока еще редкий, редкий. Главною чертою натуры людей этого типа можно считать хладнокровную и расчетливую практичность, деятельную рассудительность. Их можно называть разумными эгоистами. Во всех своих действиях люди этого типа руководствуются собственными представлениями о том, что для них выгодно, и собственными суждениями о том, как надобно действовать, чтоб достичь этих выгод, и меньше всего склонны полагаться на традиционные ответы, предрассудки и чужие мнения. И даже то, что другие чувствуют как жертву, горе, эти чувствуют как удовлетворение, как наслаждение, потому что выгодное для них — это всегда то, что выгодно и для других. Большая часть публики, даже ее лучшая часть, еще слишком много ниже этого типа. Пробудить бы в этой части публики желание сравняться с этим типом, желание позаботиться о своем развитии, чтоб выработать в себе качества этих натур, выйти на вольный белый свет из трущобы, в которую до сих пор здесь все погружено,— уже этого одного было бы довольно, чтобы считать цель достигнутою. И как же, показывая этих людей, их жизнь, их правила, не показать, как устраиваются они в одной из самых важных для человека сфер отношений — в любви, в браке? Не показать, как разрешают они коллизии, казалось бы, неразрешимые, всегда доставлявшие людям столько мучений?.. Человек может и должен быть счастливым. Надобно только желать быть счастливым. Кто пожелает, тот с наслаждением будет заботиться о своем развитии: оно дает счастье. Только развитому человеку, свободному и честному, отзывчивому на счастье и несчастье других, доступно чистое наслаждение жизнью...

Своим романом он обратился бы и к этому немногочисленному меньшинству. Перед этими людьми, уже сложившимися практическими деятелями, материалистами и социалистами по коренным убеждениям, республиканцами по ближайшим политическим устремлениям, тожо стоял общий русский вопрос: что же делать в безнадежных российских условиях? Он знал, что́ им ответить: действовать в том же роде, в каком действовали конспираторы «Земли и Воли»,— составлять тайные кружки, стремиться к соединению в общероссийскую организацию, более важного дела теперь не было для достойных людей. Весь вопрос в том, каким образом можно было бы передать опыт землевольцев в подцензурном журнале? Впрочем, это был не важный вопрос: начал бы писать — придумал бы, как это сделать...

Еще бы важно было в романе обратиться к тем, для кого не существовало вопроса, что делать, кто знал, всегда знал, что делать, и действовал, насколько позволяли действовать обстоятельства, к тем, уж и вовсе редким, русским, кого можно было бы назвать не просто новыми, но особенными людьми. Высоко стояли над массой обыкновенных порядочных людей новые люди, на высоте, недосягаемой для многих, стояли особенные люди. Когда новые люди только еще решали для себя, готовы ли они к жертвам и длительным лишениям, к страданиям ради осуществления своих социальных и политических идеалов, особенные люди раздавали свое имущество, отказывались от наследственных прав и привилегий и всех личных радостей и надежд и делали то, что считали нужным для осуществления тех же идеалов. Эти люди были революционеры по призванию и по роду своих основных занятий, расходовать свою жизнь для других, для всех было их специальностью. Мало таких, да, но ими расцветает жизнь всех, без них она заглохла бы, прокисла бы; мало их, но они дают всем людям дышать, без них люди задохнулись бы.

В массе честных и добрых людей таких людей немного, но они в этой массе — букет в благородном вине; это цвет лучших людей, это двигатели двигателей, это соль соли земли. Такими были Добролюбов, Обручевы, Серно-Соловьевичи, Слепцов, кое-кто из бывших саратовских учеников Николая Гавриловича, например Бахметев, несколько лет назад предлагавший ему принять на нужды революции деньги, вырученные от продажи родового имения.

Этот Бахметев был большой оригинал. Еще гимназистом решив сделаться революционером, он принялся за дело основательно. Поставив себе целью прежде всего изучить все социальные теории, года два или три подряд запоем читал все, что только мог найти по этому предмету в Петербурге, на любом из европейских языков, читал с самоотвержением, удивительным даже для Николая Гавриловича. Уже во время этого чтения он ограничил свои физические потребности до пределов, почти невозможных для человека, по целым неделям, например, обходясь одной водой и черным хлебом и почти совсем отучившись спать, приучив себя спать на ходу, во время вынужденных выходов в библиотеки и к знакомым для обмена прочитанных книг. А когда он кончил чтение и сделал вывод, что должен быть «практическим» революционером и для этого должен приготовить себя ко всем возможным испытаниям, он с еще бо́льшим рвением занялся самообузданием. «Я не могу позволить себе ни одной из обыкновенных человеческих слабостей или прихотей, вроде вот этой вашей привычки к табаку, или пристрастия к вину, роскошному столу, даже сердечного увлечения не могу себе позволить. Не могу, потому что это связывало бы мне руки,— однажды объявил он Николаю Гавриловичу пылко, разгоряченный каким-то его ироническим замечанием.— Вы спросите: да зачем такая крайность? Нужна ли она? Нужна. Мы требуем для людей полного наслаждения

жизнью, и мы должны своею жизнью свидетельствовать, что мы требуем этого не для того, чтоб потрафить своим личным страстям, не для себя лично, не потому, что мы обделены счастьем, нет, мы требуем этого по принципу, по убеждению, а не по личной надобности... Спросите: для кого мы должны это свидетельствовать, для других? Нет, для себя. Для себя, чтоб всегда знать, всегда быть уверенными: мы служим истине, а не мамоне...» Может быть, и не нужен был такой крайний ригоризм, и даже скорее всего, что не нужен. Но сам-то этот ригорист был таков. И тем, конечно, был привлекателен.

Решив, что должен быть физически здоровым и крепким, ригорист стал усердно заниматься гимнастикой, по какой-то особенной системе, которая требовала чуть ли не спать на гвоздях, потом он отправился странствовать по Руси как чернорабочий, нанимаясь на работы, требующие силы, и часто меняя род работы, все с той же целью развития физической силы: рубил дрова, пилил лес, тесал камни, копал землю, был пахарем, кузнецом, плотником, грузчиком, раз даже прошел бурлаком всю Волгу и заслужил от товарищей по лямке прозвище Никитушки Ломова, знаменитого бурлака, гиганта геркулесовской силы, ходившего по Волге лет за двадцать перед тем.

Конечно, странствовал Бахметев, а странствовал он года два, не только с целью развития физической силы, странствовал и с той целью, чтобы присмотреться к народу, ближе сойтись с ним, это уже для того, чтобы, если когда-нибудь придет время действовать в народе в качестве революционера, то действовать со знанием дела. Были у него во время этих странствий и какие-то конспиративные дела, о которых он не мог говорить с Николаем Гавриловичем открыто, связанный словом, но Николай Гаврилович догадывался: он, кажется, был посредником между лондонскими издателями и некоторыми их здешними корреспондентами, устраивал пересылку корреспонденций

за границу и распространял в России «Колокол» и другие герценовские издания.

Но была у него и еще цель. Ему нужно было освоить разнообразные ремесла, приобрести навыки простого труда, они могли ему пригодиться, когда бы судьба дала ему возможность осуществить один его проект. Проект заключался в том, что он намеревался, конечно, в случае, если бы так и не появилось надежд на скорую революцию в России, собрать группу энтузиастов, отправиться куда-нибудь на Маркизовы острова и там, в стороне от контроля полицейских государств, попытаться на практике осуществить идею коммуны. Причем важно было поставить опыт в чистом виде: устроить коммуну на таких основаниях, какие были бы под силу любой группе современных работников в любом цивилизованном государстве,— основать дело без начального капитала, только на энтузиазме коммунаров, на их трудолюбии и ремесленной выучке и на преимуществах свободного коллективного труда. Поэтому ему не нужны были деньги, оказавшиеся у него на руках, когда он собрался в свое заморское странствование, и он предложил их Николаю Гавриловичу. Николай Гаврилович отказался тогда принять эти деньги, посоветовал передать их Герцену, в то время Герцен мог в Лондоне использовать их эффективнее. С тем и уехал Бахметев...

Вывести в романе этого ригориста — тоже было дело. Уж пора добрым людям разобраться наконец в том, каким должно быть революционеру, какие свойства натуры важно ему в себе развивать, а какие лучше вытравить, чтоб деятельность его была максимально производительной. Настоятельная необходимость в этом возникла весной, когда в обеих столицах появилось несколько новых прокламаций, выпущенных разными тайными кружками, и тон этих листков, особенно одного из них, самого задиристого, под названием «Молодая Россия», выпущенного московским кружком Заичневского (и отпечатанного едва

ли не на том же самом станке, на котором весной прошедшего года печаталась прокламация самого Николая Гавриловича и который Николай Гаврилович видел тогда же у Костомарова в Марьиной роще, станок этот потом был выкуплен у Костомарова именно кружком Заичневского), заставлял задумываться. «Молодая Россия» в запальчивости выражений шла еще дальше прошлогодней прокламации Михайлова, здесь с непонятным ухарством и вызывающей назойливостью рассуждали о крови, о надобности «кровавых реформ для доставления торжества рабочим», «кровавых мер», которыми «одними можно только» ниспровергнуть современный порядок. Появление этого листка совпало по времени с возникшими в Петербурге сильными пожарами, говорили о каких-то поджигателях, и в сознании публики, даже самой ее образованной части, в тяжелой атмосфере панических слухов авторы этой и других прокламаций, молодежь, студенты и поджигатели города связались в одно целое. Смешно вспомнить, но в те грустные дни пожаров и диких слухов к Николаю Гавриловичу однажды даже явился посланец этой образованнейшей части публики, прибежал растревоженный, подавленный Достоевский именно с просьбой повлиять на молодежь, остановить пожары.

Но вред, нанесенный делу дурно составленной прокламацией,— это еще полбеды. Хуже было то, что выраженное в прокламации (это можно было отнести и на счет некоторых других прокламаций, но всего резче это сказалось в «Молодой России») пристрастие к крайним и простейшим способам решения отнюдь не простых вопросов, вызывающая безразборчивость в средствах были не случайностью, следствием необдуманности или беззаботности составителей прокламации, это бы можно было поправить, но именно выражали позицию, исходили из самой натуры молодых радикалов, авторов листка, Заичневского и его друзей. В этом Николая Гавриловича убеждали сведения,

собранные им о Заичневском, между прочим, и через Сленцова, который по его просьбе ездил весной в Москву для переговоров с Заичневским и его друзьями в надежде убедить их в очередных изданиях кружка как-то смягчить тон «Молодой России». Переговоры эти ни к чему не привели, москвичам были смешны призывы к осмотрительности и моральной выдержанности, моральной чистоплотности в революционных действиях. «По существу, мы с правительством находимся в состоянии войны, а на войне как на войне,— говорил Заичневский Сленцову, им удалось повидаться: Заичневский все еще был под следствием, но против него так и не сыскалось серьезных улик, и содержался он нестрого.— О какой морали можно говорить на войне, когда сама по себе война аморальна?»

Конечно, рассуждал Чернышевский, в нынешних обстоятельствах России и такая активность, какую проявляли Заичневский и его друзья, была важна и заслуживала поддержки, во всяком случае конечно же не представляла собою *пока* опасности для судьбы русской революции, об этом нечего было и говорить. Если о чем и стоило теперь говорить, то лишь о большей или меньшей эффективности того способа действия, каким действовал или собирался действовать кружок Заичневского. Но опасные следствия могли выйти из этого в будущем, и, может быть, уже недалеком. Когда развернется движение, выльется в какие-то общенациональные формы, когда в революцию все больше будет приходить вместе с честными людьми и людей случайных, временных попутчиков или даже чистых плутов, и разовьются противоречия внутри движения,— пренебрежение естественным нравственным законом, моральная невыдержанность скажутся уже прямо самоубийственным образом, разложат движение, развалят его изнутри еще прежде, чем за дело возьмется контрреволюция, сколько раз уж это было в истории и будет до тех пор, покуда мы не научимся обращать себе на пользу ее уроки... К буду-

щему надобно готовиться. Будущие деятели складываются сегодня. Какими они сложатся сегодня — от этого зависит будущее. Будут ли это Заичневские, или это будут Бахметевы?..

Важно было в романе обратиться к особенным людям. Важно было показать их портрет. Их идеальный портрет. Каким должно быть революционеру? Каковы должны быть его правила?..

Революционером можно назвать того из нас, кто сделал своею специальностью борьбу с несправедливым порядком вещей в мире. Быть социально активным и действовать или, во всяком случае, быть готовым решительно действовать обязательно для всякого революционера. Но не всякая революционность безусловно полезна в истории. Для революционера полезнейшего, высшего типа не довольно только действовать, должно и сильно и оригинально мыслить — быть способным свободно, независимо и просвещенно судить о вещах, критически судить и о своей способности судить. Должно и сильно любить — быть способным сострадать, чувствовать боль другого, как свою боль... Это определить было бы важно...

Если ввести в роман ригориста, пожалуй, эту задачу можно было, хотя бы частью, решить...

Да, это было важно...

8

Утром 14 декабря он проснулся в сильном возбуждении. Еще не открывая глаз, понял, что не спит и что уже знает, как будет писать роман. Трудно было сказать, во сне ли он увидел или уж так сложилось в уме, но в минуту пробуждения он ясно видел весь роман, со всеми основными персонажами и сюжетными линиями, завязкой и развязкой. Первым его побуждением было вскочить и броситься к столу, немедленно записать интересную мысль,

пока она не ушла, не забылась. Но он тут же и понял, что спешить с этим нет надобности, мысль прочная, это не сон. Напротив, даже нужно было сперва, прежде чем записывать, перебрать все узелки завязавшейся истории, проверить, достаточно ли прочны они,— это лучше делать, когда ты не связан уже написанным текстом, когда не жалко, перебирая варианты, отбрасывать худшие.

Не торопясь, он поднялся, оделся, постучал солдату, потребовал чаю и принялся ходить по каземату.

Это будет история женщины, вышедшей из социальной трущобы к сознательной, свободной жизни. Частью — история Анны Аркадьевны, частью — история Марии Александровны Обручевой, теперь уж Боковой, отчасти — история его собственных отношений с Ольгой Сократовной, Савицким и Анной Аркадьевной, история того, что уж между ними было и что еще только, возможно, будет,— история, перестроенная, конечно, сообразно логике придуманного. В романе будут две семьи. Имена героев давно сложились. Лопухов Андрей (или Дмитрий?) Сергеевич, Кирсанов Иван (или Александр?) Матвеевич, Вера Павловна Лопухова-Кирсанова, Катерина Васильевна Хвойницкая-Полозова, или, проще, Хвойницкая, или Полозова... Это — то, что относится к сюжету. Главным в сюжете будет история мастерской Анны Аркадьевны, то есть в романе мастерской Катерины Васильевны или, может быть, Веры Павловны. Только нужно найти иные основания для объединения работников в подобные ассоциации — без начального капитала, тут ближе то, как понимал дело Бахметев, чем то, как понимали Анна Аркадьевна и ее тетушка... Нужно подумать, как ввести в сюжет Бахметева. Решить, к какому времени отнести развязку истории — к прошедшему? к будущему?.. Приходилось сдерживать себя, чтобы не отвлекаться на частности, сначала перебрать главные линии, самые общие темы. К столу не следовало спешить.

И все-таки он не удержался, подошел к столу, сел и торопливо стал записывать начальные фразы, как они стояли перед глазами,— жалко было потерять их. Писал быстро, но рука не поспевала за ходом мысли. Невольно подумал о Студенском: диктовать бы теперь — дело пошло бы веселее... Почти исписав лист, вернулся к началу текста, поставил единицу, нумер подглавки, и написал общее название: «Что делать?».

Стукнула фортка в двери, солдат подал чайник с кипятком.

9

Только 16 марта 1863 года Чернышевского вызвали в Следственную комиссию на второй допрос.

Он шел в комиссию с твердым намерением не отвечать ни слова, о чем бы его ни спрашивали, если прежде не получит ясного и удовлетворительного ответа на свои требования, с которыми обращался к правительству в письмах в последнее время. Он требовал, во-первых, дать ему точный ответ, когда же его освободят, и, во-вторых, предоставить ему в ближайшие дни второе свидание с женой, обещанное ему комиссией,— первое свидание, которого он добился десятидневной голодовкой, состоялось 23 февраля и происходило в присутствии членов комиссии. В письмах он предупреждал правительство, что больше не намерен терпеть и ждать, как поступал в первые месяцы заключения, до голодовки, что, если его положение не изменится в ближайшие дни, он вновь прибегнет к крайнему средству, голодовке или чему-нибудь в этом роде, и уж теперь пойдет до конца. Он решил повторить эту угрозу в комиссии, если увидит, что по-прежнему в его деле нет движения,— увидит это, назначит предельный срок, когда должны быть исполнены его требования, и уж больше не произнесет ни слова...

Конечно, неопределенность положения раздражала, угнетала. У кого угодно могло лопнуть терпение! Восемь месяцев в одиночном заключении, арестован по случайному поводу, без достаточных юридических оснований, следовательно, незаконно, незаконно даже по логике и букве законов этого государства. И вот эта очевидная несправедливость тянется и тянется, и неизвестно, сколько еще протянется. Это было досадно, да. Но не только это вынудило его изменить прежнюю линию хладнокровного выжидания, заставило-таки возмущаться и протестовать, как ни казались бессмысленными в его положении протесты, протестовать даже с риском потерять все, и самую жизнь. Дело было не столько в том, что лопнуло терпение, сколько в том, что нужно было *показать* правительству, что оно лопнуло. Нужно было показать, что лопнувшее терпение — главное, что волнует его, а все, чем он занимается, коротая вынужденный досуг,— все неважно, так, безделки. Нужно было прежде всего, чтобы внимание правительства не остановилось на романе, который хорошо шел, положительно удавался и который он частями передавал на волю,— пусть останавливается на чем угодно, на его скандальных требованиях, на голодовке, но скользит мимо романа, мимо. Роман — это было главное, что теперь его занимало.

Действовать подобным образом он решил еще в январе, когда отдал крепостному начальству для передачи на волю первые главы романа, листов восемь, не меньше, и еще не знал, пропустят ли их. Он лишь надеялся на это, рассчитывая, что рукопись романа пойдет уже проторенным путем, тем, каким прошел за месяц до этого законченный им перевод пятнадцатого тома Шлоссера, благополучно достигший типографии и в январе уже, как знал Николай Гаврилович (об этом его счел нужным известить комендант крепости), печатавшийся. Путь был не короткий: сначала рукопись читали в Третьем отделении, ее

просматривал сам Потапов, не найдя в ней ничего подозрительного, передавал в Следственную комиссию с трафаретной резолюцией, что-нибудь вроде того, что передается для рассмотрения возможности напечатания с соблюдением установленных законом правил для цензуры, в Следственной комиссии тоже читали, и поскольку Потапов не возражал против печатания, то, также не найдя ничего подозрительного, рассматривали возможность напечатания положительно и отправляли рукопись через столичного полицмейстера к издателю все с тою же обыкновенною в таких случаях оговоркою о соблюдении при печатании правил для цензуры. Так именно и было с пятнадцатым томом Шлоссера, и Николай Гаврилович надеялся, что так же будет с романом. Обнадеживало и то обстоятельство, что, когда он в декабре, начав писать роман и известив об этом Следственную комиссию, запросил ее, нет ли у комиссии возражений против его занятий беллетристикой, возражений не последовало. А о том, чтобы роман, во всяком случае самое начало его, выглядел безупречно в цензурном отношении, он уж позаботился.

Но как было знать, что взойдет на ум тем, кто будет читать рукопись, когда она будет двигаться по инстанциям, не придет ли кому-нибудь из этих читателей в голову, например, что ведь это подозрительно — то, что автор, заявляющий себя жертвой беззакония, ядовитый писатель, так смирно держит себя в своем многомесячном уединении? Да не оттого ли он такой смирный, что весь свой яд и всю горечь изливает в своем сочинении? И примутся искать этот яд в рукописи, и будут его находить в каждой строке и между строк, и будут вычитывать между строк даже то, о чем и не думал автор. Чтобы предупредить это, и надо было нарушить привычное течение жизни, пошуметь, что ли...

Может быть, это было и лишнее, может быть, это мог-

ло только ухудшить его положение, повредить и роману, может быть; но ждать с покорностию, как сложится судьба его творения, обещающего стать, быть может, самым значительным из всего, что ему удалось написать до сих пор, это было уже выше его сил. Нет уж, будь что будет. Или сделается дело, или пропадай все вместе с головою... И в январе, вскоре после того, как он отдал первые главы романа, он начал требовать ускорения хода своего дела, требовать немедленного свидания с женой, начал голодать...

Как ни была ничтожно мала надежда и как все это ни было удивительно, а все же первые главы романа прошли все грозные инстанции и уже в конце января находились в редакции возобновленного «Современника», к концу февраля были набраны, прочитаны в корректурах и даже, кажется, подписаны цензором, все тем же прежним цензором «Современника» Бекетовым, готовились для помещения в третьем нумере. Об этом Николай Гаврилович узнал 23 февраля от Ольги Сократовны. Должно быть, сработала-таки инерция канцелярской рутины, и в самом деле роман пошел проторенным путем, и Потапов, поверивший, должно быть, объяснению Чернышевского, которое тот давал в декабре в своем запросе-заявлении в Следственную комиссию, и собственному впечатлению от рукописи, что это лишь невинная семейно-бытовая история, поручил Следственной комиссии «рассмотреть возможность напечатания», и комиссия рассмотрела,— да и что же было рассматривать, когда Третье отделение уже рассмотрело и не сочло нужным остановить движение рукописи? И уж тем меньше имел оснований противодействовать движению рукописи, прошедшей через фильтры Третьего отделения и Следственной комиссии, цензор «Современника» Бекетов... Но эту удачу надо было закрепить! Теперь, к середине марта, роман был вчерне закончен, бо́льшая часть написанного уже передана Некрасову, оставалось сделать

совсем немного, дописать две-три сцены и финал и все перебелить — совсем немного...

Следственная комиссия заседала в Петропавловской крепости, для нее было отведено несколько комнат в одном из административных зданий возле собора. В низковатой комнате сидели в креслах вокруг овального стола звездоносные статские и военные чины, народ немолодой, исключая Потапова, полноправного члена комиссии. На вошедшего Чернышевского все смотрели с каким-то особенным выражением, торжествующим и злорадным, должно быть, случилось что-то, что было не к выгоде Чернышевского. При первом допросе, несколько месяцев назад, и во время разговора Николая Гавриловича с членами комиссии 23 февраля, перед самым свиданием с Ольгой Сократовной, на лицах этих господ лежал отпечаток вины и смущения, чувствовалось, что господа следователи сознавали нелепость своего положения, вынужденные вести дело, вздорное в юридическом смысле. Перед ним тогда извинялись в ответ на его протесты, просили не класть ответственность за его арестование на комиссию, это, мол, действовала не она. Теперь, похоже, никто из них не намерен был ни просить, ни извиняться... Неужели у них появились против него улики? Но какие же у них могли быть улики? Никаких улик не могло быть...

Пришлось, однако, отказаться от мысли сразу же предъявить свой ультиматум, надо было сначала послушать, что скажут господа следователи.

И все то время, пока председатель комиссии князь Голицын ставил предварительные, не важные вопросы, которые уже ставил при первом допросе Чернышевского, в октябре, вопросы о письме Огарева и Герцена и характере отношений Чернышевского с лондонскими издателями и Николай Гаврилович, как и тогда, отрицал все, что могло послужить к его уличению, чувствовалось, что Голицын держал за пазухой камень против него. Голицын слегка

вытащил этот камень, когда вдруг стал спрашивать о характере отношений Чернышевского с Михайловым, Шелгуновым и Костомаровым, не открывая, впрочем, что́ следствию известно об этих отношениях. Николай Гаврилович отвечал лаконично, что эти отношения ограничивались журнальными делами только. И уж вовсе вытащил Голицын свой камень и угрожающе размахнулся им, когда спросил, уставив на Чернышевского красный, воспаленный глаз: в комиссии имеются сведения, что именно Чернышевский написал прокламацию под названием «Барским крестьянам» и передал ее для отпечатания и распространения Костомарову и его друзьям, московским студентам,— что по этому поводу Чернышевский может объяснить комиссии? При этом фраки и мундиры, сидевшие вокруг стола, подались вперед, и лицо Николая Гавриловича с откровенным любопытством уперлась дюжина выцветших и, как у председателя, тоже почему-то воспаленных глаз... Это уже было серьезно. И все-таки не могло быть у них фактических данных, подтверждающих эти сведения, не могло!.. Чернышевский назвал сведения комиссии неосновательными.

И тогда Голицын швырнул в него камень; велев ему подойти ближе к столу, со странной осторожностью, с напряжением, от которого вдруг вспотел, страшно волнуясь, вытащил из какого-то дела и положил перед Чернышевским на столе исписанный карандашом клочок бумаги, предложил прочитать написанное, но в руки не брать. Это была написанная почерком, сходным с почерком Чернышевского, как бы его собственноручная записка к Костомарову с просьбой изменить в тексте прокламации выражение «срочнообязанные» на «временнообязанные»...

Теперь все стало понятно. Так вот каким способом они решили расправиться с ним — подлогом! Ясно было: записка поддельная, может быть, изготовленная самим Костомаровым, это очень могло быть, если вспомнить, как

Костомаров вел себя в деле Михайлова и московских студентов, вынуждал своих товарищей делать опасные признания, представляя какие-то подложные письма. «Это не мой почерк,— сказал Чернышевский.— Это подделка под мой почерк».— «Категорически отказываетесь признать записку своею?» — спросил Голицын насмешливо, заглядывая в лицо Чернышевскому снизу вверх, как-то странно изогнувшись над столом, почти касаясь затылком стола. «Категорически».— «А что вы скажете, если мы вам устроим очную ставку с Костомаровым?» — вдруг спросил генерал Дренякин, тот самый знаменитый «храбрый Дренякин», отличившийся при усмирении Кандеевки, истребитель безоружных мужиков, спросил с ехидством и, вероятно, неожиданно для самого себя, потому что вдруг испуганно оглянулся на Голицына. «Как вам будет угодно»,— ответил Чернышевский. На этом и кончился допрос.

Значит, правда, Костомаров. Выболтал «герой» Кандеевки, по солдатской своей простоте, следовательскую тайну. И на том спасибо, будем готовиться ко встрече с Костомаровым. И уж не позволим себе попасть впросак, как попал впросак на очной ставке с этим милым юношей простодушный Михайлов. Будем готовиться... И скорее, скорее надо заканчивать роман, скорее...

С Костомаровым он увиделся прежде, чем их свели перед столом Следственной комиссии. 19 марта, утром, Чернышевского привели из Алексеевского равелина несколько раньше того времени, когда начинались заседания комиссии, и оставили одного в какой-то большой низкой комнате с двумя входными дверьми и длинным рядом окон с матовыми стеклами, смотревших, должно быть, на соборную площадь, из-за окон доносился характерный шум, какой бывает по окончании церковной службы, грохот старинных тяжелых карет, преувеличенно оживленный разговор толпы, выходящей на дневной свет из полумрака собора. Почти одновременно с Чернышевским из двери,

противоположной той, в которую ввели его самого, в комнату вошел в сопровождении жандарма Катков. Конечно, это был не Катков, это был сделавшийся удивительно похожим на Каткова постаревший, отпустивший бороду, осунувшийся, почерневший и как бы уменьшившийся в росте Всеволод Костомаров. Странно поразило, что однажды уже это было, вот так же бросилось в глаза сходство между Катковым и Костомаровым, это было два года назад в Москве.

Узнав Чернышевского, Костомаров на мгновение обомлел, растерялся, никак, должно быть, не был готов увидеть Чернышевского здесь, в этой комнате, теперь, но уже в следующее мгновение его лицо вспыхнуло радостью, да, радостью, он бурно и радостно взволновался и, не обращая внимания на сопровождавшего его унтера, оставив его у двери, быстро пошел через всю комнату к Чернышевскому, при этом заметно приволакивая левую ногу. Он издали стал поднимать руку как бы для того, чтобы подать ее Чернышевскому, но, подходя ближе и ближе, стал ее опускать. Он остановился метрах в трех от Чернышевского внезапно, будто наткнулся на какую-то стенку, и, весь клонясь вперед, с жадным интересом, и удовольствием, и сочувствием всматриваясь в лицо Чернышевского, заговорил возбужденно, без тени смущения:

— Николай Гаврилович, вот как мы встретились... вот какая судьба у нас, а? Ведь судьба, не правда ли? Одна судьба, а?.. не правда ли?.. Но как я рад вас видеть, если б вы знали! То есть, конечно, лучше б не здесь... видеть... Но я рад... так рад!

Он весь светился радостью, как будто и в самом деле был рад встрече, бескорыстно рад. Заметив, однако, холодное недоумение в лице Чернышевского и, очевидно, почувствовав неуместность своей радости, легко изменил тон, заговорил быстро, с горечью и с отчаянной, вызывающей открытостью:

— Я понимаю, вы на меня в претензии, должно быть. На меня многие в претензии. Что ж, я понимаю. Я был откровенен на допросах, да. Из-за этого те из наших, кто не желал давать откровенных показаний, не смогли оправдаться перед судом. Это ужасно, да. Но кто же в этом виноват? Разве я в этом виноват? Разве я виноват в том, что мы все оказались в этих стенах? Как можно за это винить человека? Почему-то считают, что я должен был молчать или лгать и изворачиваться, отрицать даже очевидные факты. Должен был! А кому, скажите, должен? И за что? Никто из нас никому ничего не должен. Каждый вправе поступать так, как считает выгодным для себя. Мы так и поступаем сплошь и рядом, только боимся об этом прямо и честно заявить. А я не боюсь и заявляю об этом... Вы меня понимаете, да? Понимаете? Мы зависим от обстоятельств, не правда ли? И никуда от этого не денешься. Одно только не зависит от обстоятельств — моя воля, конечно, если я человек свободный... Да если я не желаю лгать и изворачиваться, если я, гордый человек, считаю для себя недостойным лгать, кто же заставит меня лгать, кто в силах внушить мне, что я *должен* лгать? Кто?

Он сделал едва заметную паузу, сделал не для того, чтобы дать возможность вставить слово Николаю Гавриловичу, а как бы для того, чтобы показать, что он ожидает от Николая Гавриловича участия в этом разговоре, но не сию секунду, потому что сию секунду он еще не все сказал, о чем ему надобно теперь же сказать. Он не только не давал вставить слово, он говорил с такой странной, навязчивой непосредственностью, что как-то неловко было отвернуться от него, отойти в сторону, да он все равно не перестал бы говорить. Он продолжал:

— Скажут: а зачем тогда мешаться в конспирации? Не лучше ли всем сидеть по своим углам, и пусть все идет, как идет?.. Нет, зачем же так? Кто же из нас не желает, чтоб прогресс шел скорее, чтоб жизнь делалась лучше?

Обстоятельства обстоятельствами, но и наша воля что-то значит. Моя индивидуальная и наша коллективная воля. Воля меняет обстоятельства. И притом не всегда же открываются конспирации... Так вот до тех пор, покуда они не открыты — и надобно действовать! Попался — ну, что делать? Попался — имей мужество ответить за свои действия. Плати по счету. А врать — низко. Вы согласны со мной? Покуда мы не открыты — действуем. Вы согласны?..

— Вы больны. Вы сами не понимаете, что вы говорите,— строго сказал Чернышевский.

— Нет, я здоров,— спокойно ответил Костомаров.— Просто мы с вами давно не виделись... не беседовали. Кроме того, может быть, я говорю не совсем строго. Но вы поймете меня, я уверен... Мы должны быть искренни, вот что! Все мы. Этим облагородим движение. Вспомните поведение декабристов на следствии. Вспомните Пестеля...

— Скажите мне прямо,— перебил его Чернышевский.— Как же вы решились на подлог? Какую выгоду надеялись получить подлогом? Зачем вы на это пошли?

Несколько мгновений Костомаров смотрел на Чернышевского с недоумением, как бы не понимая, о чем это он. Поняв, померк, омрачился.

— Вот вы о чем,— сказал он разочарованно, с сожалением и устало.— Не хотите понять. Ну-с, как угодно.

Лицо его застыло, он выпрямился, четко повернулся налево кругом и зашагал к своему унтеру, дожидавшемуся его в другом конце комнаты без видимого беспокойства. «Он сумасшедший»,— подумал Николай Гаврилович, глядя в спину Костомарову, шагавшему широко, несмотря на приволакивавшуюся ногу.

Вошел офицер, сопровождавший Чернышевского от ворот Алексеевского равелина, увидев, что арестант не один в комнате, сильно смутился, встревожился, усатое рябое лицо его вытянулось в запоздалый вопрос: как же могла произойти такая оплошность, что арестанта остави-

ли в комнате с незапертою второю дверью? Подбежав к Чернышевскому, забежав за него, как бы загородив собою от другого арестанта, офицер торопливым шепотом предложил ему пожаловать к выходу.

Мысль о том, что Костомаров не совсем в здравом рассудке, не оставляла Николая Гавриловича и во время очной ставки, на которой Костомаров держался очень уверенно, был сух, немногословен, не смущался тем, что Николай Гаврилович отвергал его показания, коротко и деловито снова их повторял; называя выдуманные факты, смотрел в глаза Николаю Гавриловичу ясными глазами, со спокойствием человека, который верит в то, что говорит. Его показания представляли собой причудливую смесь правды и вымысла. Он признал факт печатания у себя в доме прокламации «Барским крестьянам» и участия в этом деле Чернышевского, это было главным пунктом его показаний; уликою, подтверждавшей это признание, служила карандашная записка с просьбой внести исправления в текст прокламации, записка, якобы полученная им от Чернышевского. Но ему мало было придумать и более или менее искусно изготовить подложную записку, он позволял себе свободно фантазировать, выдумывал уж вовсе неправдоподобные факты, вроде того, например, что будто бы в апреле 1861 года, когда он примчался в Петербург после ликвидации тайной типографии и встречался с Чернышевским, Чернышевский продиктовал ему в Знаменской гостинице еще одно воззвание — к раскольникам, и для этой, мол, диктовки Чернышевский нанял в гостинице комнату, куда и был приглашен Костомаров, в тот свой приезд будто бы остановившийся у отца. Зачем нужно было выдумывать комнату Чернышевского в гостинице, когда комиссия легко могла проверить этот факт? И не только этот, конечно. Могла бы, например, сравнить почерк, которым была написана карандашная записка к Костомарову, с почерком самого Костомарова. Могла бы за-

дать себе вопрос, почему обвинение Чернышевского в составлении прокламации «Барским крестьянам» предъявлено ему только теперь, спустя почти восемь месяцев после ареста?

Но, конечно, комиссия вовсе не намерена была заниматься такого рода проверками.

10

Следствие по делу Чернышевского закончилось в мае 1863 года, тогда же все материалы, подготовленные голицынской комиссией, были переданы в сенат. В конце мая Чернышевский предстал перед судом шести сенаторов, снова были допросы, очные ставки, новые попытки Чернышевского доказать незаконность самого характера дела и новые подлоги Костомарова. Суду не хватало вещественных доказательств и обличительных материалов, и Костомаров представил несколько новых документов, в том числе подложное письмо к Плещееву якобы от Чернышевского, которое Костомаров составил еще год назад, в Москве.

Тем временем вышел в свет роман Чернышевского, он печатался в трех весенних книжках «Современника» и произвел небывалую ажиотацию в обществе. Власти спохватились слишком поздно, когда книжки «Современника» с текстом «Что делать?» уже разошлись. Роман попал в список запрещенных произведений, но это только обострило интерес публики к необычному сочинению. Его невозможно было купить на книжном рынке, нельзя было получить в публичной библиотеке, тем не менее все, кто хотел прочитать роман, могли его достать,— роман ходил по рукам, в журнальных книжках и в рукописных копиях. Чернышевскому вздумали было, а вздумал Валуев, вменить в вину этот роман как проповедующий нигилизм в общественных отношениях и в семье, обвинить и вообще

на основании его литературной деятельности последних пяти-шести лет, но, сообразив, что эта форма расправы могла иметь обратный эффект, не решились на это. Его обвинили на основании костомаровских подложных бумаг.

5 февраля 1864 года сенат вынес приговор: «Николая Чернышевского, 35 лет, за злоумышление к ниспровержению существующего порядка, за принятие мер к возмущению и за сочинение возмутительного воззвания к барским крестьянам и передачу оного для напечатания в видах распространения — лишить всех прав состояния и сослать в каторжную работу в рудниках на четырнадцать лет, а затем поселить в Сибири навсегда». В апреле Государственный совет утвердил приговор сената, на «Мнении» Государственного совета Александр Второй наложил резолюцию: «Быть по сему, но с тем, чтобы срок каторжной работы был сокращен наполовину».

А 19 мая на Мытнинской площади состоялся обряд гражданской казни. Чернышевского четверть часа продержали привязанным цепями к позорному столбу, потом отвели от столба к середине эшафота, поставили на колени, и палач разломил над его головой шпагу — знак лишения прав состояния — и обломки бросил в разные стороны.

Когда над Чернышевским проделывали эти процедуры, из публики, из-за спин солдат и жандармов, в несколько рядов окружавших помост с черным столбом, вылетел букет цветов и упал перед эшафотом. Чернышевский в эту минуту смотрел как раз в ту сторону и заметил букет, но разобрать, кто бросил цветы, не смог, было довольно далеко, и шел дождь, стекла очков заливала вода, мешала смотреть, только на какие-то мгновения все вдруг делалось ясным и отчетливым, и он лишь успел заметить, что бросила как будто какая-то девица (это была, как узнал он позже, Машенька Михаэлис, сестрица Людмилы Петровны Шелгуновой). Не разглядел девицу, бросившую букет, зато тут же увидел своих, Ольгу Сократовну и Пыпиных,

которых безуспешно искал в толпе все время с той самой минуты, как взошел на эшафот. Он несколько раз покивал в ту сторону — и девушке, бросившей букет, и своим. А в следующее мгновение, когда он снова мог что-то видеть сквозь мокрые стекла очков, он увидел рядом с Пыпиными высокую молодую даму, и вдруг ему показалось, что это Анна Аркадьевна. Но, конечно, это только показалось, ее не могло быть здесь, ее не было в Петербурге, вовсе не было в России, она так и осталась за границей,— это он знал от Надежды Яковлевны, передавшей ему коротенькую записку через Пыпиных, с которыми ему в последнее время разрешали свидания в крепости. Надежда Яковлевна сообщала в этой записке, что летом 1862 года Анна Аркадьевна приезжала, как обещала, в Петербург, но приехала она уже после арестования Николая Гавриловича, прожила в Петербурге всю осень и часть зимы, ожидая, что Николай Гаврилович вот-вот выйдет на свободу, очень хотела его видеть, а когда не осталось на это никаких надежд, уехала назад в Швейцарию...

На другой день после исполнения обряда гражданской казни, вечером, Чернышевский был отправлен из Петербурга в сопровождении двух жандармов в тряской почтовой телеге в Сибирь, за Байкал, на Нерчинские рудники, там, у самой китайской границы, назначено было ему отбывать каторгу. Семь лет каторги... А потом, что будет потом? Где назначено будет ему отбывать вечную сибирскую ссылку?..

Назначено будет ему после каторги отбывать ссылку в Вилюйске. Но не вечно он будет томиться в Вилюйске. Спустя двенадцать лет, уже в новое царствование, якутскую ссылку заменят астраханской. Потом, спустя еще шесть лет, разрешат вернуться в родной Саратов. Потом...

Но это будет потом. Этого он еще не мог знать.

Одно теперь знал верно: никогда уже ему не бывать здесь, в последний раз он проезжал по этим светлым, пря-

мым, как стрела, строгим улицам, этим гранитным набережным, в последний раз видел со стрелки Васильевского острова захватывающую дух невскую перспективу, слышал острый, дразнящий, пробирающий и ранящий, свежий морской запах этого странного города, в последний раз...

11

После окончания процесса Чернышевского Всеволод Костомаров жил в Петербурге с матерью и одной из сестер, Екатериной, деятельно занимался литературными трудами. Закончил второй том «Истории литературы древнего и нового мира», который тут же был отпечатан, как и обещал ему Потапов, в типографии Третьего отделения на счет секретных сумм отделения. Много переводил из английских поэтов, особенно из Байрона и Шекспира, задумал издать полное собрание сочинений Шекспира в русских переводах. Писал лирические стихотворения, иногда помещал их в журналах — под псевдонимами. Весной 1865 года был помещен в Мариинскую больницу, в отделение для бедных, отсюда ему уже не суждено было выйти.

Прошение Н. Н. Костомаровой

«Г. управляющему Третьим отделением полковнику Мезенцову.

Известный Вам сын мой, рядовой Всеволод Костомаров, страдает тяжкою болезнью ноги с прошедшего февраля месяца. Не имея никаких средств к существованию, кроме литературных трудов его, которые в прошедшие времена он помещал во всех издаваемых журналах и получал большие гонорарии за свои работы. Теперь же участие моего сына в процессах против Михайлова, Чер-

нышевского, Шелгунова и других поставило его в такие неприятные отношения к обществу петербургских литераторов, что даже самое имя его изгнано из их круга: они не только не принимают его стихотворений и переводов, но даже стараются разгадать и разгадывают его псевдонимы и везде, чем только можно, вредят ему.

Ему удалось напечатать несколько стихотворений в «Библиотеке для чтения» под именем В. Д-цкой. Но, наконец, управляющий редакциею, узнавши, что это псевдоним Костомарова, возвратил мне назад рукопись драмы Шекспира «Король Генрих IV», напечатавши уже два акта, и сказал прямо, что он ничего не может печатать из произведений противника Чернышевского, под страхом потерять всех своих сотрудников, и ко всему этому не заплатил сыну моему до сих пор еще денег за предшествовавшие работы. Теперь сын мой приготовил для печати несколько драм Шекспира в стихотворном переводе с английского. Но в настоящее время, не имея денег даже для хлеба насущного, а не только для издания, я осмеливаюсь прибегнуть к Вам с всепокорнейшей просьбою употребить Ваше милостивое ходатайство у г. шефа жандармов на испрошение нам денежного вспомоществования.

Надежда Николаева Костомарова.

Жительство имею на Кирочной, дом 94, Гаугера».

«Москва, Марьина слободка, дом свой, М. Д. Костомаровой.

Милая Маха! Уж после того, как мы отослали тебе письмо о кончине брата, к нам явилось удивительное существо по имени Настя, не знаю, знакомо ли тебе это имя, может быть и знакомо. Но мы с маман были поражены, когда обнаружилось, что эта Настя, вообрази, была близка Всеволоду и он собирался на ней жениться, а мы ничего не знали. Настя уверяет, будто он выпил морфий с тою целью, чтоб прекратить мучения — боли ноги. Она виде-

лась с ним в этой ужасной больнице за два часа до того, как он уснул навеки, и он наказал ей навестить нас и все рассказать.

Он, видишь, беспокоился, что мы будем думать, будто он умер нехорошей смертью, был не в ладу с собою и с богом. Нет, он умер со спокойной совестью и если о чем жалел, то о том, что не добился пенсиона для нас, об этом он больше всего сокрушался. Ему обещали и обманули его. Надеюсь, ты догадываешься, кто обманул. И еще он жалел о том, что не кончил какой-то поэмы. Он требовал, чтоб Настя точно передала его слова: ему не хватило времени добиться пенсиона и всего,— он не успел, только. Очень настаивал, чтоб Настя это точно передала. Это все-таки странно, не правда ли?

Бедный брат! Ужасно жаль его. И жаль маман, она каждый день плачет. Бедные мы, бедные.

Твоя Катя.

Петербург, на Кирочной, дом 94, Гаугера».

Справка третьего отделения
(к прошению Н. Н. Костомаровой)

«Во внимание к услугам Костомарова, оказанным им правительству при разыскании злоумышленных действий некоторых лиц, а также в уважение беспомощного положения его матери и сестры, Всемилостивейше пожаловано ему в июне месяце 1863 года пятьсот рублей серебром. Кроме сего на счет сумм Третьего отделения приняты расходы по изданию сочинения Костомарова «История литературы древнего и нового мира». Расход этот составлял 1366 р. 35 к., и сверх этого выдано ему в разное время из секретной (шефской) суммы 125 р. с.»

На полях рукой начальника Третьего отделения, шефа жандармов князя Долгорукова: «Высочайше разрешено

дать триста руб. сер., истребовав эти деньги из Гос. казначейства на известное Его Величеству употребление».

Его же рукой, ниже: «Выдать из наличных сумм».

12

В декабре 1871 года, когда Чернышевского увозили из Забайкалья в Вилюйск, уже за Иркутском на второй или третий день езды по снежной пустыне его возок с сопровождавшими его жандармами нагнал колонну этапных. Колодников гнали куда-то за Лену, как объяснял казак с пикой, замыкавший колонну. Но шли в колонне не только колодники, шла партия ссыльнопоселенцев, крестьян, двигавшихся со всем своим скарбом и семействами на санях и колесных подводах, благо дорога была хорошо раскатана. Дорога была недурна, настоящий тракт с нешироким, но довольно гладким полотном, вдоль дороги были установлены вешки, как бы на месте будущих верстовых столбов.

Проезжая мимо крестьянских подвод, Николай Гаврилович обратил внимание на крытую заплатанной мешковиной телегу, в телеге сидел, придерживая рукою полог, чернобородый, еще не старый мужик с узким красивым лицом, в черной овчине. Подводу вела высокая баба в разбитых мужицких сапогах, она шагала вровень с задком телеги, разговаривала с чернобородым. Чем-то они оба показались Николаю Гавриловичу знакомыми. В это время впереди на дороге образовался какой-то затор, было не видно, что там случилось, дорога поворачивала налево за крутой бугор и там как будто шла под уклон, колонна остановилась. Возок Николая Гавриловича тоже остановился, путь ему преградили мужицкие подводы, нелепо вылезшие из ряда и занявшие собою все полотно дороги, так что нельзя было ни объехать их, ни осадить их назад, подходившие сзади подводы тут же занимали их места в

колонне. Чернобородый сильно высунулся из своей кибитки, загляпул вперед, любопытствуя узнать, отчего произошла остановка, и Николай Гаврилович вдруг узнал в нем лужского мужика, вожака крестьян-переселенцев, с которым виделся десять лет назад, в Петербурге, в таборе переселенцев, куда его привез Михеев.

Этот крестьянский вожак тогда поразил воображение Николая Гавриловича, о нем Николай Гаврилович много думал потом, долго его помнил. От Михеева знал его историю. Не всегда он был таким, как в то время, когда с ним говорил Николай Гаврилович, до поры был тих, смирен, никто и не слыхал его никогда, на сходках или где помалкивал. Михеев его хорошо знал, они вместе оброчили в Питере, спали на одних полатях, рядом. Кроткий был мужик, что ему ни скажут, со всем согласный. И вдруг будто подменили мужика, как прорвало его что. Это уж было во время питейных бунтов, за два года до освобождения, тогда мужики отказывались покупать в кабаках откупщиков безбожно вздорожавшее вино, связывая каким-то образом это вздорожание вина с чистой волей, будто бы скрываемой от народа помещиками. Тут-то Власов, так звали мужика, и объявился. Этого Власова видел Николай Гаврилович перед собою, когда писал осенью шестьдесят первого года статью о народе, его роли в истории, характере его воздействия на ход истории — «Не начало ли перемены?». Писал о большинстве народа, людях, лишенных инициативы, невежественных и апатичных, и о людях, подобных Власову, недюжинных по уму и силе характера, способных принимать решения и действовать самостоятельно и инициативно и увлекать за собою других, большинство. На этих-то, писал, и надобно опираться образованным людям, мечтающим изменить жизнь народа...

Николай Гаврилович соскочил на землю как бы для того, чтобы размять ноги. Один из жандармов тоже вылез из возка, с другой стороны, громко ругая бестолковых

мужиков, устроивших беспорядок на дороге, пошел к бугру узнавать, отчего задержка, второй жандарм спал. Николай Гаврилович подошел к кибитке чернобородого, поклонился хозяйке, сказал хозяину, смотревшему на него с живейшим интересом:

— Здравствуй, брат. А ведь я тебя знаю. Власов твоя фамилия?

— Власов. Откуда же ты меня, добрый человек, знаешь?

— В тот год, когда вам, мужикам, вышла воля, вел ты односельчан — летом — за иною волею и пришел в Петербург, там мы с тобою и виделись. Я приезжал в ваш табор. А привозил меня к вам Михеев, ваш же, лужский. Тогда он от вас отстал, по зимою пошел за вами вслед...

— Михеев Федор! Верно,— радостно отозвался Власов.

— Что же, дошел он до вас?

— Дошел, батюшка. Как не дошел? Чудесно дошел.

— Да где он теперь? Не с вами ли тут идет? — повел Николай Гаврилович взглядом на другие подводы.

— Не,— засмеялся Власов.— Где ему быть? Должно, там и остался, где мы, значит, сели на землю. На Урале, значит...

— На Урале? Да ведь вы, помнится, шли за Онегу, в Емецк, что ли, или в Холмогоры? Или не нашли за Онегой вольную землю?

— Будто на Урале нашли? — возразил Власов.— Нет такого места, где есть такая земля. Много мы тот год истопали — не попалась. На Урале сели на землю, точно. Да была крепость и осталась: были барские, сделались заводские. Там, видишь, мы переписались в заводские крестьяне, при казенных заводах бывших графа Строганова.

— И другие ваши лужские остались на Урале?

— Должно, и другие.

— Да ты давно, что ли, оттуда?

— А давненько.

— Вот как. А уж я было подумал, как увидал тебя: эк куда притащил Власов свою паству. Ведь они тогда не хотели идти без тебя. А за тобою готовы были идти на край земли.

Власов засмеялся:

— Не, сюда не всех пущают, на казенные харчи. Только по особой милости кого. На этапах нас продовольствуют, знаешь ли?.. Да ты сам, часом, не тем ли манером едешь? Эти-то,— кивнул Власов на сани со спящим жандармом,— ты над ними начальствуешь али они над тобою?

— А ты как думаешь?

Власов внимательно смотрел в лицо Николаю Гавриловичу.

— А пожалуй, они над тобою,— сказал задумчиво и сам же подивился своему выводу.— Вона! Одной, значит, дорожкой ходим?

— Одной. Да не вместе.

Власова озадачил такой ответ, в этом ответе прозвучало как бы какое-то сожаление, но смысл этих слов и этого сожаления был темен для него. Спросил с сочувствием:

— Жалеешь небось?..

— О чем?

— Как жа, был важный господин, и на тебе, едешь куда...

— Нет, ни о чем не жалею.

— Будто?

— Не жалею. Я, видишь, книги писал. Их читали. Они производили свое действие. А теперь без моей воли и заслуги им придано впятеро, вдесятеро больше прежнего силы и авторитетности — и этим книгам, и тем, которые еще, быть может, напишу. О чем же жалеть? Еще все впереди.

Власов по-своему понял эту мудреную речь:

— Да что впереди? Впереди — пустыня,— показал он рукой на снежные равнины слева и справа от дороги.

— Сегодня — пустыня, завтра — цветущий сад. Пустыни поддаются разуму и воле человека.

— Поддаются,— охотно согласился Власов.— Эта поддалась. Проторили, видишь, в этой пустыне тракт. И что жа? Теперь гонют издесь ссыльных и зимою, и летом, и осенью, и весною. А прежде только по зимнику гнали. Вот тебе и поддалась.

Чернышевский засмеялся. Ему доставляло особенное удовольствие говорить с этим мужиком так, как говорил бы с человеком образованным, Власов понимал его, пусть по-своему, но понимал, в *существенном* они сходились пониманием, и он, кажется, тоже получал удовольствие от этого нечаянного диалога.

— Не всегда так будет,— сказал Чернышевский.

— Надеешься?

— Надеюсь. А ты не надеешься?

Власов, усмехнувшись, ничего не сказал, посмотрел на жену, прислушивавшуюся к их разговору, потом снова на Чернышевского.

— И ты тоже надеешься,— сказал за него Чернышевский.— Ты свою волю ищешь. Я хорошо запомнил твои слова: воля там, где мы сами есть. Так?

— А где ж ей быть?

— Вот то-то. Теперь скажи, за что тебя выслали сюда. Бунтовал?

— Бунтовал.

— И болезнь не мешала?

— Что болесть? Болесть и есть болесть. То схватит, то отпустит. Теперь уж, в дороге, схватило.

— Так почему бунтовал? Начальство обижало, обсчитывало? Управляющий или там приказчик давил?

— Известно, давил. А бунтуй не бунтуй — лучше не бывает. Нечаго надеяться.

— Зачем же бунтовал?

— Так сил жа нету терпеть такую жизнь! Воли нету и не будет, бунтуй не бунтуй. А я свое заявить волен, и никто мне не указ. Как жа терпеть?

— Вот. Сил нет терпеть. А говоришь — нечего надеяться... А вот еще я спрошу твою жену...— вздумал было Николай Гаврилович втянуть в разговор жену Власова и повернулся к ней, но тут задвигалась колонна и появился жандарм, который ходил узнавать о причине задержки, он шел назад к возку и, заметив своего поднадзорного, беседующего с мужиком, забеспокоился, стал прибавлять ходу.

Разговору не суждено было кончиться. Пора была прощаться.

— Однако мне пора. Ну, прощай, брат. Прощайте,— поклонился и жене Власова.— Счастливо вам.

— Счастливо...

За бугром оказался овражек с узким мостом через него, перед мостом и замедлилось движение колонны.

Переехали овражек, обогнали колодников, шагавших во главе колонны, и снова дорога была безлюдна.

Впереди, насколько хватало глаз, лежала белая пустыня.

Савченко В. И.
С13 Властью разума: Повесть о Николае Чернышевском.— М.: Политиздат, 1982.—396 с., ил.— (Пламенные революционеры)

С $\frac{0202000000-021}{079(02)-82}$ 234—82

84Р7+87.3
Р2+1ФС